

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000054189835

Бернхард ШЛИНК

ВНУЧКА



Книги
БЕРНХАРДА ШЛИНКА,
опубликованные
Издательской Группой
«Азбука-Аттикус»

ЧТЕЦ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ЛЕТНИЕ ОБМАНЫ

ГОРДИЕВ УЗЕЛ

ЖЕНЩИНА НА ЛЕСТНИЦЕ

ДЕЗЕРТИРЫ ЛЮБВИ

ОЛЬГА

ЦВЕТА РАССТАВАНИЙ

ВНУЧКА

Бернхард
ШЛИНК
ВНУЧКА



Издательство «Иностранка»
Москва

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44
Ш 69

Bernhard Schlink
DIE ENKELIN
Copyright © 2021 by Diogenes Verlag AG, Zürich
All rights reserved

Перевод с немецкого Романа Эйвадиса

Оформление обложки Вадима Пожидаева

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

ISBN 978-5-389-21459-0

© Р. С. Эйвадис, перевод, 2022
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство Иностранка®

Часть первая

Он пришел домой. Было уже десять часов. По четвергам его книжный магазин закрывался позже обычного, в девять, и он, опустив в половине десятого решетки на окнах и входной двери, пошел через парк. Этот маршрут был длиннее, но после долгого рабочего дня ему хотелось немного пройтись и подышать свежим воздухом. В запущенном, одичавшем парке клумбы с розами заросли плющом, живую изгородь из бирючины давно никто не подстригал. Зато здесь всегда так хорошо пахло: рододендронам или сиренью, липой или китайским ясенем, скошенной травой или сырой землей. Он ходил этой дорогой и зимой и летом, в хорошую и в плохую погоду. Пока он шел, все заботы и огорчения словно улетучивались, растворяясь в воздухе.

Он жил со своей женой в бельэтаже многоквартирного дома в стиле модерн, купленного пару десятилетий назад по смешной цене, которая за прошедшие годы выросла в несколько раз, так что теперь этот дом стал их надежной финансовой подушкой на старость. Широкая лестница, изогнутые перила, лепнина, обнаженная красавица, осеняющая своими

длинными волосами каждый пролет, — он всегда с удовольствием входил в подъезд, поднимался по лестнице и открывал дверь с маленьким витражом в виде цветочных орнаментов. Даже когда знал, что ничего хорошего его за этой дверью не ждет.

В прихожей на полу лежало пальто Биргит, рядом — два небрежно брошенных полиэтиленовых пакета с продуктами. Дверь в гостиную была открыта. Ноутбук Биргит сполз с дивана на пол вместе с пледом, которым она любила укрываться. Рядом с бутылкой лежал опрокинутый бокал, на ковре темнела лужица вина. Одна туфля лежала на пороге, другая у кафельной печки. Видимо, Биргит по привычке раздраженно сбросила их на ходу.

Он повесил пальто в шкаф, поставил ботинки у комода и прошел в гостиную. Только теперь он заметил, что опрокинута и ваза с тюльпанами; осколки стекла и завядшие цветы лежали в луже рядом с роялем. Он прошел в кухню. Перед микроволновкой валялась пустая упаковка от риса с курицей, а в раковине стояла тарелка Биргит с недоеденным рисом и грязная посуда, оставшаяся от их совместного завтрака. Опять ему все это мыть, убирать осколки, вытирать лужи.

Он почувствовал, как в нем медленно поднимается холодная злость. Но это была усталая злость. Он слишком часто испытывал эти приливы и отливы гнева. Да и что он мог сделать? Утром, когда он выразит Биргит свое возмущение, она пристыженно и в то же время упрямо посмотрит на него, отвернется и потребует, чтобы ее оставили в покое, мол, она

выпила чуть-чуть; что, ей уже и выпить нельзя? И это ее дело, сколько пить, а если ему не нравится, что она пьет, его никто не держит — скатертью дорога. Или разрыдается и начнет сама себя осуждать и унижаться, пока он не успокоит ее, не скажет, что любит ее, что она хорошая, что все хорошо.

Есть ему не хотелось. Он разогрел в микроволновке оставшийся рис и съел его за кухонным столом. Потом положил купленные продукты в холодильник, отнес бутылку и бокал в кухню, убрал осколки и цветы, побрызгал лимонным соком на винное пятно на ковре, закрыл ноутбук, сложил плед и вымыл посуду. К кухне примыкала маленькая комната — бывшая кладовая, переоборудованная в прачечную. Он вынул из стиральной машины белье и сунул его в сушилку, а содержимое корзины для грязного белья — в стиральную машину. Потом вскипятил воду и, заварив чай, сел за кухонный стол.

Этот вечер не был чем-то из ряда вон выходящим. Иногда Биргит приступала к возлияниям раньше, еще днем, и тогда двумя брошенными на пол пакетами с продуктами, опрокинутым бокалом и разбитой вазой дело не ограничивалось. А когда Биргит выпивала первый бокал перед самым его приходом, она встречала его веселой, разговорчивой, ласковой, а если это был бокал не просто вина, а шампанского, в ней появлялась какая-то трогательная живость, наполнявшая его грудь тихой радостью и тоской, как все хорошее, о котором мы знаем, что это всего лишь иллюзия. В такие вечера они обычно ложились спать вместе. В остальные дни она чаще всего уже была

в постели. А иногда лежала на диване или на полу, и он относил ее в спальню.

Уложив ее в постель, он еще некоторое время сидел на пуфе рядом с кроватью перед туалетным столиком и смотрел на нее. На ее морщинистое лицо, дряблую кожу, на волоски в носу, на капельки слюны в уголках рта, на потрескавшиеся губы. Время от времени ее веки или руки подрагивали, она бормотала какие-то несвязные слова, лишённые смысла, стонала или вздыхала. Иногда тихонько похрапывала, и от этого храпа или сопения ему не сразу удавалось заснуть, когда он через какое-то время тоже ложился в постель.

Неприятен был ему и ее запах. От нее пахло алкоголем и больным желудком, и этот острый запах напоминал ему нафталин, который клала в шкафы его бабка. Когда ее рвало в кровати, что, к счастью, случалось редко, он широко раскрывал окно и, пока обтирал ее салфетками и убирал рвоту, задерживал дыхание, периодически набирая в легкие воздух перед окном.

Но эти несколько минут на пуфе были неизменным ритуалом. Он смотрел на нее и видел сквозь это выцветшее и потухшее лицо его прообраз, лицо прежних счастливых дней, которое было таким разным, в зависимости от настроения, которое иногда поражало его, но всегда — даже будучи заспанным, усталым или мрачным — дышало жизнью. Каким безжизненным становился ее взгляд, когда она была пьяна! Иногда в ее сегодняшнем лице вспыхивали, как зарницы, эти прежние лица — решительное лицо студентки в синей рубаше, лицо молодой продав-

щицы книжного магазина, осторожное, сдержанное, часто исполненное тайны и волшебства; лицо, когда она начала писать, — сосредоточенное, словно она каждую минуту обдумывает замысел своего романа или просто не может избавиться от мыслей о нем; ее розовое лицо, когда она, уже в возрасте, открыла для себя езду на велосипеде и возвращалась домой после часовых или даже двухчасовых поездок по городу или окрестностям.

У нее было состарившееся лицо. Она состарилась. Но это было лицо, которое он любил. С которым ему хотелось говорить. Эти теплые карие глаза грели ему сердце, а веселые искры в них заставляли его смеяться. Это было лицо, которое он любил брать в ладони и целовать, которое трогало его душу. Она трогала его душу. Ее поиски своего места в жизни, туман загадочности, которым она окутывала свое творчество, ее мечты о запоздалом литературном успехе, ее страдания, связанные с алкоголем, ее восторженная любовь к детям и собакам — во всем этом заключалось столько боли о том, что не сбылось и не может сбыться. И эта боль приводила его в умиление. Может быть, умиление — это облегченный вариант любви? Возможно. Если любовь — это всё. Для него это было не всё.

С пуфа он вставал непримиренным. Он никогда не переставал желать другого, большего. Но он был человеком спокойным. Так уж сложилось. Он шел в гостиную, садился на диван и читал новинки. Этот неиссякаемый поток новых книг и сделал его книго-торговцем.

Но в этот вечер в спальне ее не оказалось. Он вышел в прихожую, поднялся по лестнице в бывшую комнату для прислуги, располагавшуюся над кухней. Она была тесной и низкой, крохотные окна выходили во двор, но Биргит нравилась эта теснота, нравились две двери — одна внизу, другая наверху, — и она устроила себе в этой каморке кабинет. Он постучал. Биргит не любила, когда ее беспокоили, особенно неожиданными визитами. Не дождавшись ответа, он открыл дверь. На письменном столе царил образцовый порядок. Слева высилась стопка бумаги, справа лежала авторучка, которую он подарил ей много лет назад. На стене у окна висела записка, написанная ее почерком. Он знал, что не должен ее читать. «Ты получил...» Он не стал читать дальше.

Биргит лежала в ванне, голова ее была под водой, волосы свисали с края ванны. Он приподнял ее голову. Вода давно остыла. Судя по всему, она лежала здесь уже несколько часов. Он вытащил ее из воды настолько, чтобы положить голову на край ванны. В современной ванне она не смогла бы так глубоко погрузиться в воду. Почему они не завели себе совре-

менную ванну? Им обоим нравилась эта глубокая длинная ванна в стиле модерн, они часто вместе лежали в ней и не пожалели денег на ее ремонт.

Он стоял и смотрел на нее. На ее груди — левая была чуть больше правой, — на ее живот со шрамом, на вытянутые руки и ноги, на ладони, словно парившие в воздухе над дном ванны. Он вспомнил, как она несколько раз собиралась сделать пластическую операцию и уменьшить левую грудь, но так и не собралась, вспомнил, как испугался, когда ее увезли в больницу с острым аппендицитом, как она играла на рояле своими длинными пальцами. Он смотрел на нее и понимал, что она мертва. Но у него было такое чувство, что он потом расскажет ей обо всем этом, — о том, как увидел ее мертвой, лежащей в ванне. Словно она умерла не навсегда, ненадолго.

Ему следовало вызвать «скорую помощь». Но спасти было уже некого, так что он мог не торопиться. К тому же он терпеть не мог шума и суеты; ему стало не по себе при мысли о машине «скорой помощи», въезжающей во двор с мигалкой и сиреной, о санитарах с носилками, полицейских, пристающих к нему со своими вопросами, криминалистов со своей дактилоскопией, любопытного домоправителя. Он сел на край ванны. Хорошо, что глаза у Биргит закрыты. Он представил себе, как она смотрит на него застывшим, пустым взглядом, и поежился. Если бы она умерла от инфаркта или апоплексического удара, они были бы открыты. Но она уснула. Просто уснула? Просто слишком много выпила? Или вдобавок к алкоголю что-то приняла? Он встал, подошел к ап-

течке; не найдя в ней пачки валиума, которая там обычно лежала, нажал ногой на педаль мусорного ведра и увидел на дне пустую коробку и выпотрошенную алюминиевую фольгу. Сколько же таблеток она приняла? Может, она просто никак не могла уснуть? А может, не хотела больше просыпаться? Он снова сел на край ванны. Чего же ты хотела, Биргит?..

Он уже много лет с тревогой наблюдал за ее депрессиями. Несколько раз пытался отправить ее к психотерапевту или психиатру. У него были друзья-врачи, которые могли бы ей помочь. Но она не хотела никакой помощи. Это вовсе не депрессии, говорила она, никаких депрессий вообще нет, есть люди с меланхолическим темпераментом, и это как раз ее случай. Она не хочет, чтобы ее с помощью таблеток превращали в другого человека. А то, что каждый может и должен быть уравновешенным и уверенным в себе, — это новомодная чушь. Она и в самом деле даже в обычном состоянии была задумчивей, серьезней и печальней других. С юмором у нее все было в порядке, ее вполне могла развеселить какая-нибудь курьезная ситуация или шутка. Но ей чужда была та игривая легкость, то иронично-надменное выражение, с которым друзья или коллеги обсуждали книги и фильмы, говорили об общественной жизни или политике. Еще более чуждым было ей то, что политики и художники не принимали всерьез сами себя и то, чем они занимались, а довольствовались тем, что их деятельность была объектом внимания, не важно какого — восторженного, удивленного или возмущенного. Все серьезное она принимала всерьез. Только

потом, после падения Берлинской стены, когда он поближе познакомился с книготорговцами из Восточного Берлина и Бранденбурга, он понял, что в этом Биргит была дочерью, плотью от плоти ГДР, пролетарского мира, которая пыталась сочетать буржуазность с прусским социалистическим энтузиазмом и всерьез относилась к культуре и политике, как когда-то буржуазия, со временем утратившая этот навык. С тех пор он смотрел на нее другими глазами, с уважением и с печалью о том, что имел, но потерял *его* мир.

Нет, это не меланхолия довела ее до самоубийства. Меланхолия и красное вино лишь наполнили ее члены усталостью, погрузили ее в полусон. И она не захотела ждать, когда наступит сон, решила поторопить его. И он пришел и убил ее. Куда тебе было торопиться, Биргит? Но он хорошо знал ее болезненную нетерпеливость. Именно эта нетерпеливость и не давала ей спокойно снять туфли, положить в холодильник продукты, вымыть посуду, приготовить ужин, разобраться с выстиранным бельем. Смерть от нетерпения...

Он рассмеялся, пытаясь проглотить комок в горле. Потом встал и позвонил в «скорую помощь». Затем вызвал полицию. Зачем ждать, что это сделает врач «скорой помощи»? Ему хотелось покончить с этим как можно скорее.

Все это продлилось два часа. Сначала приехала и уехала «скорая помощь». Потом была полиция, двое в штатском и двое в форме. Они осмотрели «место происшествия» на предмет следов преступления. Он рассказал им, как обнаружил Биргит, объяснил, почему вымыл бокал, из которого она пила, показал коробку из-под валиума и алюминиевую фольгу в мусорном ведре, долго смотрел, как они ищут прощальное письмо. Вызванные ими работники фирмы ритуальных услуг погрузили Биргит в мешок для перевозки трупов и повезли в отдел судебно-медицинской экспертизы. Потом его спрашивали, когда он обнаружил Биргит и что делал днем и вечером. Когда он рассказал, что до девяти часов находился в книжном магазине и это могут подтвердить его сотрудницы и клиенты, полицейские сменили тон и стали приветливей. Вежливо попросив его зайти завтра в управление, они ушли. Он закрыл за ними дверь и навесил цепочку. Ни спать, ни читать, ни слушать музыку он не мог. Его душили слезы. Он выложил на стол в кухне сухое белье и принялся загружать в сушилку выстиранное. Когда ему в руки попала лю-

бимая футболка Биргит, он почувствовал, что и это занятие ему сейчас не по силам.

Поднявшись по лестнице в кабинет Биргит, он сел за письменный стол. Только теперь он прочел до конца висевшую на стене записку: «Ты получил то, что тебе дал суровый Бог». Чьи это слова? Почему Биргит их записала? О чем они должны были напоминать ей? Он придвинул к себе стопку бумаги, которая оказалась рукописью. Имя автора на первой странице было ему знакомо. С этой женщиной Биргит ходила в одно литературное объединение. Но ему хотелось прочесть что-нибудь написанное самой Биргит. Он стал один за другим открывать ящики стола. В верхнем лежали чистая писчая бумага, ручки и карандаши, ластики, точилки, скрепки и прозрачная клейкая лента, в двух нижних — папки с разрозненными машинописными текстами, иногда всего несколько строк, иногда целые абзацы, записки, написанные почерком Биргит, письма, вырезки из газет, ксерокопии, фотографии брошюры. Папки не были надписаны, и их содержимое, судя по всему, имело случайный характер. Но он знал Биргит; это был лишь кажущийся хаос, и в папках хранились какие-то формулировки, понятия, фрагменты отдельных глав. Однако он не мог сосредоточиться и разглядеть какой-то порядок.

Среди папок лежала открытка с репродукцией «Шоколадницы» Жана Этьена Лиотара из Дрезденской картинной галереи. Он перевернул ее — почтовая марка ГДР, но адрес отправителя не указан. «Дорогая Биргит, я недавно ее видела. Веселая девочка.

Похожа на тебя. Твоя Паула». Он еще раз внимательно всмотрелся в лицо «Шоколадницы». Никакого сходства с Биргит. Внимательный взгляд? Пожалуй. Биргит тоже иногда так смотрела. Но этот остренький носик и этот ротик... Нет. Да и никакой особой веселости у этой шоколадницы не наблюдается.

Он подумал, что в квартире не висит ни одной фотографии Биргит, и на его письменном столе в магазине тоже нет ее снимка. У многих друзей дома имеется целая галерея фото в серебряных и черных рамках — свадьбы, каникулы, загородные поездки, родители, дети. У них с Биргит детей не было. А на своей более чем скромной свадьбе в 1969 году, за которую им было немного стыдно, потому что друзья считали это уже устаревшим и немодным ритуалом, они не фотографировались. Он достал из кармана брюк кошелек и удостоверился, что лежавшее в нем маленькое фото Биргит, сделанное для паспорта, которое он носил с собой уже много лет, по-прежнему там, рядом с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации машины. Надо будет его переснять и увеличить.

Он так и не нашел в столе Биргит того, что искал. Ни в одном из ящиков не было рукописи. В нижнем лежала бутылка водки, и он стал пить из нее, продолжая поиски в книжном шкафу. Уснул он уже под утро, когда стало светать. Вскоре его разбудил щебет птиц. Несколько секунд он не мог понять, где находится. Не сразу вспомнил он и о том, что произошло. Наконец в голове у него прояснилось, и он только теперь смог заплакать.

Прошли недели, прежде чем он вновь перешагнул порог комнаты Биргит. Он не мог заставить себя убрать из квартиры ее вещи, ее пальто и платья из шкафов, белье из комода, расчески, флаконы и тюбики с туалетного столика и из шкафчика над раковиной в ванной, зубную щетку из стакана. Он не открывал дверцы, за которыми находились ее вещи, и не решался войти в ее кабинет. Ему трудно было представить себе, как это можно — как он видел в каком-то фильме — зарыться лицом в платья умершей жены и вдыхать ее запах, смотреть на ее вещи, прикасаться к ним, нюхать их. Это было выше его сил. Ему хватало той боли, которую он испытывал, глядя на все, что имело отношение к Биргит, на тот маленький мир, в котором она еще недавно жила и из которого навсегда исчезла. Он испытывал эту боль в квартире, в книжном магазине и даже подумывал о том, чтобы расстаться и с тем и с другим. Но поскольку боль не покидала его и на улице, он сомневался, что сможет начать все сначала на новом месте. Биргит будет всюду мучить его своим незримым присутствием и остро ощутимым отсутствием, куда бы он ни сбежал.

И тут он получил письмо от баденского издательства. Автор письма, директор издательства Клаус Эттлинг, представился другом Биргит и сообщил, что давно состоит с ней в переписке по поводу ее работы. Те немногие тексты Биргит, что ему довелось прочесть, не оставляют сомнения в ее таланте, и он часто говорил с ней о ее рукописях, в частности о ее романе. Выразив свою скорбь и свои соболезнования, он поинтересовался судьбой рукописи Биргит, законченной или незаконченной. Незаконченные книги, как и незаконченные симфонии, нередко оказываются образцом совершенства и вполне достойными внимания публики.

Он знал это маленькое, но солидное издательство, выпускающее хорошие книги, которые он охотно продавал у себя в магазине, недоумевая при этом по поводу их рентабельности для издателя. Директора издательства он никогда не видел. Интересно, как и когда тот познакомился с Биргит?

Он вопросительно посмотрел на ее портрет. Она ответила ему неопределенным взглядом. Это фото даже в увеличенном виде осталось всего лишь снимком для паспорта. Но у нее здесь волосы были заколоты на затылке, как он любил, а лицо полнее, чем в последние годы, более женственное, мягкое; уголки губ чуть приподняты, как бы предвеляя улыбку, а карие глаза — видимо, от вспышки — выражали удивление, не испуганное, а радостное, словно от неожиданной приятной встречи. Что за тексты ты ему посылала, Биргит? И о каких рукописях вы с ним говорили?

Письмо пришло во вторник. В субботу он поднялся в кабинет Биргит, сел за письменный стол, вынул из ящичков папки, аккуратно сложил их стопкой и открыл первую. На первой странице было написано почерком Биргит: «Как ей научиться быть самой собой? Если она не может жить для себя, если она ни на минуту не может остаться наедине с собой? Всегда и всюду голоса, шепот, лепет, крик, вой, день и ночь. Шум, запах, свет». Затем с новой строки, после абзаца: «Ослепление. Из теплой тьмы на яркий свет. Рождение — это ослепление. Когда дети в роддоме ночью не спят, свет не выключают. Или включают и выключают, включают и выключают, щелк, щелк, щелк... Солнце слепит. Снег слепит. Лампа под потолком слепит. Карманный фонарик слепит. Луч фонаря в лицо — спит или не спит? Луч фонаря на живот — кричит или не кричит? Ослепленное лицо. Ослепленный живот. Ослепление до слепоты».

Дальше пошли вырезки из газет, ксерокопии и брошюры о сиротах в ГДР, об усыновлении и удочерении, о принудительном усыновлении и удочерении, о домашнем воспитании, о воспитании в детских домах, о специальных детских домах для трудно-воспитуемых, о воспитательно-трудовых колониях, о борьбе с безнадзорностью и о предупреждении детской преступности.

В следующей папке был собран материал о безнадзорных подростках, о подростковой преступности, о ксенофобии и праворадикализме, скинхедах и фашистских группировках в ГДР и других странах; опять вырезки из газет, ксерокопии и брошюры,

кроме того, письма журналистам и научно-исследовательским организациям, их ответы. И еще одна записка, написанная рукой Биргит: «Наконец-то / бить, лупить, резать / свобода. / Наконец-то / как они глушат водку / сразу / Наконец-то / пот и кровь и слезы / братья». Еще в одной папке он нашел фотографии улиц, домов, садов, пейзажей. Это были незнакомые ему места, и, глядя на них, он не видел ничего особенного и не понимал, зачем их надо было фотографировать. На оборотной стороне некоторых из них стояли разные даты пятидесятих годов, но никаких комментариев или пояснений.

Он открыл очередную папку и стал перебирать ксерокопии статей из «Зэксише цайтунг» за 1964 год. Лео Вайзе на открытии канализационной насосной станции, Лео Вайзе на открытии коровника в СПК¹, Лео Вайзе на вагоностроительном заводе в Ниски, Лео Вайзе общается с членами студенческой бригады. Лео Вайзе — высокий мужчина с открытым лицом; в отличие от других функционеров, позирующих на официальных мероприятиях с непроницаемыми минами, он ведет себя непринужденно, на встрече со студентами даже улыбается. Улыбаются и студенты. Среди них — Биргит. В рабочем халате и в косынке. Плохая печать и пожелтевшая от времени бумага лишили ее лицо свежести. Но это она. Потом он нашел листок бумаги, на котором под заголовком «Рост кадров» она записала этапы карьеры Лео Вайзе: рабоче-

¹ Сельскохозяйственный производственный кооператив (нем. LPG — Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft). — Здесь и далее примеч. перев.

крестьянский факультет, инструктор ССНМ¹ в Вайсвассере, Высшая школа ССНМ, первый секретарь районного комитета ССНМ Гёрлитца, Центральный комитет ССНМ, Высшая партийная школа, диплом специалиста в области общественных наук, второй секретарь районного комитета СЕПГ² Гёрлитца, первый секретарь районного комитета СЕПГ Ниски.

В последней папке лежал довольно большой машинописный текст без заглавия и автора, по-видимому написанный самой Биргит. «За 40 лет своего существования ГДР отправила за решетку 120 000 подростков. В детдома — обычные, специальные, особые, — в воспитательно-исправительные и трудовые колонии, в детприемники. При поступлении во все эти заведения их обыскивали, осматривали — в том числе естественные отверстия в теле, — стригли наголо. Сажали сначала в одиночную камеру-изолятор с табуреткой, нарами и ведром. Затем переводили в общую камеру, строптивцев — к злобным хулиганам, недовольных партией и правительством — к уголовникам, жертв физического насилия — к садистам, жертв сексуального насилия — к насильникам. Туда, где их ломали. Их ломали, потому что они были не такими, как другие. А те ломали их, потому что могли сломать, потому что сами были сломаны. Если ты не так заправил койку, или неправильно поставил зубную щетку в стакан, или

¹ Союз свободной немецкой молодежи (ГДР) (нем. — FDJ, Freie Deutsche Jugend).

² Социалистическая единая партия Германии (нем. — SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands).

сказал что-нибудь, когда нужно было молчать, или промолчал, когда должен был говорить, начальство наказывало коллектив, а коллектив наказывал тебя. Многие пытались бежать. Если не удавалось, они пытались бороться. Если борьба оказывалась бесполезной, они внутренне застывали. Замерзали. И многие не смогли оттаять даже после освобождения. Они страдали амнезией, клаустрофобией, агорафобией, страдали душой или телом, импотенцией или фригидностью, не могли родить детей, становились алкоголиками. Так же воспитывали-ломали детей в детдомах и до 1945 года, а после 1945 года эту эстафету приняла ГДР...» И так далее, сначала в общих чертах, потом подробно, на примерах конкретных детдомов и их карательно-воспитательной педагогики. Чем бы ни был этот текст — заимствованием из других источников или результатом изучения материалов из первой папки, для личного пользования или для публикации, — это было не то, что он искал.

Он открыл окно. Каштан во дворе был еще голым, но в воздухе, полившемся в комнату, уже чувствовалось дыхание весны. Он послушал звонкую перекличку двух дроздов, поискал их глазами, обнаружил одного вблизи, на коньке крыши соседнего дома, потом другого, чуть дальше, на шпиле колокольни, и вспомнил, как Биргит разбудила его однажды утром, много лет назад, чтобы он послушал первого весеннего дрозда. И вообще, он узнал, как поют дрозды, только благодаря Биргит.

Когда же Биргит начала работать над своим романом? В один прекрасный день она бросила работу

в книжном магазине. «Тайм-аут», растянувшийся на месяцы и проведенный в Индии, закончился уходом из книготорговли. Биргит закончила курсы ювелиров, потом поваров, проработала и в той и в другой области считанные дни, после этого посвятила себя борьбе за охрану окружающей среды и занялась организацией митингов, акций, демонстраций. Она с удовольствием рассказывала о своей общественной работе. О романе — ни слова. Ни о том, почему писала его, ни о его содержании. Говорила лишь, что работает. Давно? Шесть или семь лет? А может, десять? Чем же ты занималась все эти годы, уединяясь в своем кабинете? Сочиняла в голове? Писала на бумаге, рвала и бросала лист за листом в корзину? Смотрела в окно, слушая гомон дроздов и воробьев в кроне каштана, голоса игравших во дворе детей, звуки скрипки или рояля в соседних квартирах, шорох дождя в листве и барабанную дробь капель на подоконнике? Мечтала?

В своей скорби, всегда и везде болезненно ощущая отсутствие Биргит, как будто она всегда и везде была с ним, он забыл, как часто она была очень далека от него.

Ему не хотелось выставлять Биргит в неприглядном свете, и он написал директору издательства, что еще разбирает и систематизирует ее творческое наследие. «Вы спрашиваете о рукописи романа. При разборе архива жены мне очень помогли бы хоть какие-нибудь сведения о теме романа, если, конечно, Вы располагаете таковыми. Дело в том, что Биргит была очень скрытна в вопросах, касающихся ее литературной работы, а я с пониманием относился к этому и не спрашивал ее ни о романе, ни о других текстах. Сейчас, когда я занимаюсь ее творческим наследием, мне очень пригодилась бы любая информация о ее проектах».

Ответ пришел на удивление быстро. Директор издательства писал, что познакомился с Биргит пять лет назад на недельных курсах йоги на Балтийском море. Во время своих регулярных прогулок по берегу он обратил внимание на Биргит, которая часто сидела на дюнах и что-то писала, и однажды, подсев к ней, спросил, что она пишет. Биргит, не смутившись, прочла ему стихотворение, над которым рабо-

тала, а потом с готовностью показала и другие свои стихи. Он никогда не забудет эту тетрадь в кожаном переплете с кожаной лентой-застежкой. Свои стихи она ему так и не прислала, сколько он ее ни просил. Но он хорошо их помнит, их своеобразный, скупой и в то же время лирический и оттого волнующий тон, странные, неожиданные образы, порой пугающие мысли. Когда он предложил издать их в виде сборника, она рассмеялась и сказала, что она не поэт, а прозаик и пишет роман. А на вопрос, о чем он, ответила, что тема ее романа — жизнь как бегство. Ее жизнь как бегство, вообще жизнь как бегство. Его это заинтересовало, и когда потом они с Биргит изредка беседовали по телефону — раза два в год — и он интересовался ее работой над романом, она отвечала, что работа подходит к концу. «Если Вы пришлете мне рукопись — законченную или незаконченную, — я ее напечатаю. И если найдете тетрадь в кожаном переплете с кожаной лентой-застежкой, я буду рад наконец-то издать сборник стихов Биргит Веттнер».

Он никогда не видел никакой тетради в кожаном переплете и даже не знал о ее существовании, не знал, что Биргит пишет стихи и дописывает роман. Его переполняла горечь обиды. Биргит писала стихи и охотно, без всякого стеснения, показывала их чужому мужчине, а ему — нет. Говорила с этим мужчиной о своей работе, а с ним — нет. Писала о жизни как бегстве — о своей жизни как бегстве, — хотя он помог ей не только бежать, но и спастись! Ему по-прежнему остро не хватало ее. Ее присутствия, ее

тела, к которому он больше не мог прижаться ночью, ее лиц — радостного, серьезного, упрямого, грустного, — ее смеха, разговоров о будничных делах, или о какой-нибудь планируемой ею акции или демонстрации, или о новой книге, которую он читал; не хватало ритуала, когда она лежала на кровати, а он сидел рядом на пуфе. Но в его любовь и скорбь вкрадось болезненное чувство неприязни.

После нескольких тщетных попыток включить ноутбук Биргит он отнес его своему программисту, который отвечал за работу компьютеров у него в книжном магазине и их программное обеспечение, с просьбой поколдовать над ним. Тот подключил к нему другой монитор, и на нем появилось окошко с требованием кода. Каспар не знал его. Программист принялся выяснять, где и когда он познакомился с Биргит, где и когда родилась Биргит, просил назвать ее девичью фамилию, имена ее родителей, братьев и сестер, вспомнить какие-нибудь важные для нее даты, места и имена, какие у нее могли быть тайны. Берлин, 17 мая 1964 года, Берлин, 6 апреля 1943 года, Хагер, Эберхард и Ирма, Гизела и Хельга... Потом он вспомнил про 16 января 1965 года, когда Биргит попала в Берлин. Но ни одна из этих дат, ни одно из имен не приблизило их к разгадке кода; не помогли и его имя, Каспар Веттнер, и его дата рождения: 2 июля 1944 года. Программист не знал, как проникнуть в недра компьютера, и оставил его пока у себя, пообещав подумать, что еще можно предпринять.

Да, 16 января 1965 года Биргит прилетела в Берлин, в аэропорт Темпельхоф. Прилетела к нему. Тогда и началась их совместная жизнь, и у него было такое чувство, что его жизнь вообще только тогда и началась. Его взрослая жизнь после детства и юности, после несчастной первой любви и неудачного выбора вуза. Или она началась еще 17 мая 1964 года?

Два семестра Каспар отучился в своем родном городе, а потом, летом 1964 года, отправился в Берлин. Он бежал от своей юношеской любви, хотел уехать подальше от той, которая предпочла ему другого. Ему захотелось сутолоки большого города, захотелось учиться в университете, основанном студентами, он надеялся, что жизнь и учеба в эпицентре конфликта Востока и Запада будет интересней. А еще ему хотелось увидеть Германию — всю Германию, а не только Западную, где он до этого жил в уютно-неторопливой католической Рейнской области. Его отец был протестантским пастором, и он вырос с Лютером, Бахом и Цинцендорфом¹, а каникулы проводил у деда с бабкой, читая книги по отечественной истории, в которых Германия своим завершающим этапом развития была обязана Пруссии. Восточный и Западный Берлин, Бранденбург, Саксония, Тюрингия, вся страна восточней Эльбы и ее западные и южные земли — все это было его Германией.

¹ *Николай Людвиг фон Цинцендорф и Поттендорф* (1700–1760) — один из крупнейших богословов XVIII в., епископ и реформатор Моравской церкви.

И вот в один прекрасный день, в субботу, он прибыл на поезде межзонального сообщения в Берлин и поселился в студенческой общине в Далеме. На следующее утро он рано встал и два с половиной часа прошагал по городу, объятому воскресной тишиной, до Бранденбургских ворот, чтобы посмотреть на другую сторону через стену. Потом доехал на городской электричке до Фридрихштрассе, прошел паспортный контроль, предъявив документы пограничникам в зеленой форме, поменял западногерманские марки на восточногерманские и ступил на чужую землю с твердым намерением сделать своей родиной весь Берлин, всю Германию.

Он ходил по городу целый день. У него не было ни планов, ни цели, он просто плыл по течению. Он приехал на метро в восточную часть города, прошел по Карл-Маркс-аллее, с востока на запад, от домов пятидесятих годов постройки с их характерными фасадами и аркадами, с их архитектурным декором до гладких панельных домов шестидесятих, посмотрел на Александерплац, на собор и университет на Унтер-ден-Линден, перешел через Музейный остров в Пренцлауер-Берг с его широкими булыжными мостовыми, некогда роскошными, а теперь невзрачными бюргерскими домами, беспорядочно разбросанными парками и скверами. Восточный Берлин был более серым, чем Западный, в нем зияло больше незастроенных участков, было меньше машин, и они по-другому пахли. Но во время своего утреннего марша по пустым улицам с серыми домами он увидел достаточно, чтобы убедиться в том, что разница несмер-

тельна. К тому же он приехал сюда не для того, чтобы выискивать различия, а для того, чтобы находить общее. В общем он «записал» и огромные плакаты — на Востоке они возвещали о Троицком слете немецкой молодежи, на Западе рекламировали «Персил», сигареты «Цубан» или чулки «Эльбео».

После обеда город оживился. Прохладное, пасмурное утро перешло в теплый, солнечный, по-настоящему весенний день. На краю народного парка Фридрихсхайн он увидел киоск, где продавали жареные колбаски с картофельным салатом и лимонад. Купив себе и то и другое, он устроился на бетонной скамье за бетонным столом и принялся есть, наблюдая за играющими детьми и их коротающими время в беседах мамашами. Напротив него, поздоровавшись, присел мужчина. Когда Каспар все доел и допил, он обратился к нему с вопросом, нельзя ли его кое о чем попросить. Каспар кивнул. Выяснилось, что мужчина не приглянулась шариковая авторучка, торчавшая у него из кармана рубашки. Он работает в министерстве, сообщил тот, ему приходится подписывать много важных документов, а отечественные ручки пишут плохо — пачкают бумагу.

Каспар внимательней всмотрелся в его черты. Средний возраст, жидкие волосы, выражение досады и служебного рвения на лице, бежевая штормовка поверх бежевой рубашки. Как странно, подумал Каспар: чтобы лучше служить своему государству и своему классу, этот бедняга клянчит у своего классового врага из враждебной страны шариковую ручку. Социалистическое чиновничье рвение. Но таких

хватает и на Западе. Каспар, настроенный находить общее, нашел общие признаки и в своей первой встрече с гражданином ГДР. Он улыбнулся собеседнику и отдал ему свою шариковую ручку.

В кинотеатре рядом с парком он посмотрел детектив под названием «Черный бархат» о борьбе восточных и западных спецслужб за строительный кран уникальной конструкции. Созданный специалистами ГДР, он должен был быть представлен на Лейпцигской ярмарке, но западные агенты пытались его уничтожить, чтобы нанести удар по престижу ГДР. Каспар и в этом нашел нечто общее между Западом и Востоком: гэдээровский агент был своего рода Джеймсом Бондом, только более простодушным, проще одетым, непритязательным в техническом плане, неприхотливым в гастрономическом и напроць лишеным чувства юмора.

Уже на следующий день он опять поехал в Восточный Берлин, на этот раз прямо в Университет имени Гумбольдта, и стал так настойчиво добиваться на проходной, чтобы его пропустили к декану философского факультета, что вахтеру пришлось вызвать какого-то студента, который и проводил его в деканат. Там он сообщил, что изучает германистику и историю и хотел бы в течение одного семестра изучать здесь философию. Декан перечислил множество причин, по которым это было невозможно, — от проблем административного характера, связанных с правилами приема студентов, до статуса Берлина и отсутствия мирного сосуществования двух немецких государств.

Зато студент, которому надлежало проводить его обратно к проходной, сначала взял его с собой в студенческую столовую и за обедом охотно поделился с ним мыслями о настоящем как начале будущего, предсказанного Марксом и Энгельсом, о свободе как осознанной необходимости, о недопустимости эксплуатации человека человеком и о равноправии мужчин и женщин в ГДР. Каспар тщетно пытался говорить о личном, об учебной нагрузке, о перспективах трудоустройства, о целях путешествий во время каникул. Но его собеседник старался держаться в рамках обозначенных тем: Маркс, Энгельс и ГДР.

Каспар приуныл. Как в таких условиях сделать своей родиной весь Берлин, всю Германию? В ближайшие недели он ограничился в этом плане визитами в «Берлинер ансамбль»¹. На лекциях и семинарах в Свободном университете он познакомился со студентами, которые, как и он, ждали Троицкого слета немецкой молодежи как редкой возможности пообщаться со своими ровесниками из Восточной Германии. Слет этот начался шестнадцатого мая.

¹ «Берлинер ансамбль» — драматический театр в Берлине, основанный в 1949 г., один из самых знаменитых театров Германии.

Праздничное шествие со знаменами, лозунгами и плакатами на Маркс-Энгельс-плац скоро наскучило Каспару. Он бесцельно слонялся по площади. Природная робость мешала ему заговорить с кем-нибудь из девушек или юношей в синих рубашках. Они стояли или гуляли группами, сидели на площадях или в парках, слушали музыку, смотрели уличные театрализованные представления, танцевали. Многие были его ровесниками. Но он не мог избавиться от чувства, что эти молодые люди в своих синих рубашках и в своих группах совершенно не нуждаются в его обществе и что, если он заговорит с ними, они встретят его с настороженной неприязнью.

И все же он смотрел на них с любопытством, как бы прикидывая, с кем из них можно было бы заговорить. Многим из этих студентов явно было наплевать, что эти синие рубашки им слишком велики или малы или плохо сидят. Одни носили их как надоевшую униформу, другие — с гордостью, с таким видом, словно воспринимали свою спецодежду как прелегию к военной форме. Некоторые девушки в рубашках в обтяжку, подчеркивавших груди, расстегивали

верхние пуговицы и выглядели соблазнительно. Но это была какая-то другая соблазнительность, не такая, как у западных немцев. Кое-кто прятал свою синюю рубашку под наброшенным на плечи тонким пуловером или пестрым платком. Готовы ли они к открытому общению со студентом из Западной Германии?

В первый вечер он вернулся домой недовольным — прошедшим днем, собой. Завтра все будет иначе, думал он. Он еще раз поедет туда. Он преодолеет свою робость, заговорит с кем-нибудь. Если не получится с первого раза, он будет пытаться еще и еще.

На Бебельплац он увидел студентов, вместе с которыми сидел на лекции. Они беседовали с синими рубашками, и Каспар присоединился к ним. Запад спорил с Востоком, Восток с Западом — привычная ожесточенная перепалка, которую Каспар слушал вполуха, потому что одна студентка в синей рубашке хотя и говорила в унисон со своими товарищами, но как-то очень обаятельно. К тому же она, со своими волнистыми каштановыми волосами, карими глазами, крепкими щеками и большим, красиво очерченным ртом, была сногшибательно хороша. Чуть позже они снова случайно встретились на Александерплац, разговорились, заинтересовались друг другом и провели оставшееся время слета вместе — смотрели, слушали, говорили, смеялись, танцевали и знакомились с другими студентами из Восточной и Западной Германии. Из этих встреч образовался небольшой круг друзей.

Когда Каспар рассказывал, как он встретил и полюбил Биргит, это была любовь с первого взгляда. Увидев ее на Бебельплац, оживленную, сияющую,

острую на язык и, в отличие от других, не зашоренную идеологическими догмами, а исполненную полемического задора, он сразу потерял голову. Ему не удалось заговорить с ней, он ушел, проклиная себя за трусость, хотел тут же вернуться, но так и не решился. Поэтому чуть позже, увидев ее на Александерплац, он воспринял это как дар небес. Как будто Бог, в которого он не верил, послал ему еще раньше, на Бельеплац, свое благословение.

Каспар не мог похвастаться решительностью. Он медленно влюблялся в свою первую избранницу, которая не подходила ему и которой не подходил он, и, если бы она сама не бросила его, он бы еще долго отрывал от нее свое сердце. Он долго выбирал факультет, долго и мучительно выбирал новую одежду, или новую кофеварку, или новый велосипед. Но в этот раз все произошло быстро. Когда они прощались в конце семестра — он уезжал на практику в издательство, в свой родной город, а она со студенческой бригадой на работу в каком-то пансионе на Балтийском море, — они уже понимали, что будут вместе. Предложение Каспара эмигрировать в ГДР она решительно отклонила. Значит, ему придется забрать ее в ФРГ. Он еще не знал, как это сделает, но был уверен, что найдет способ.

В начале зимнего семестра, приложив определенные усилия, он вышел на студентов, которые занимались организацией побегов на Запад и знали людей, продававших фальшивые документы. Ему назначили встречу в кафе в Нойкёльне. Эти люди ездили на «мерседесе»-купе с белыми шинами, как Розмари

Нитрибит¹, носили пальто из верблюжьей шерсти, а их пальцы были унизаны огромными перстнями. Побег Биргит был назначен на пятнадцатое января. Через Прагу и Вену. Биргит должна была получить «путевку выходного дня» в Прагу, а Каспар — организовать фото на паспорт и раздобыть пять тысяч немецких марок. Фото потребовали сразу, деньги — к январю. Разговор длился несколько минут, сделку скрепили рукопожатием.

Когда Каспар вернулся домой, у него тряслись руки. Побег вдруг из идеи превратился в реальность. Воплотился в слово и в долг. Ему нужно было перенести через границу документы, за которые в случае неудачи им с Биргит обоим грозила тюрьма. А Биргит к тому же предстояло жить с этим страхом, пока она не пересечет Чехословакию и не окажется в Австрии. Опасность перестала быть теоретической. Она стала реальной. Каспара охватил страх.

Его вдруг покинули силы. Весь дрожа, он лег в постель, уснул и проснулся через два часа мокрый от пота. Но страх как рукой сняло. Потом, спустя годы, он не раз просыпался посреди ночи с бьющимся сердцем, потому что ему снилась проверка на границе, во время которой у него могли найти что-то запрещенное, или допрос, на котором он отчаянно старался скрыть какую-то тайну. До самого дня побега страх не возвращался к нему даже во сне. Все, что надо было сделать, он делал совершенно спокойно.

¹ *Мария Розалия Августа Нитрибит* (1933–1957) — известная немецкая проститутка, ставшая жертвой загадочного скандального убийства.

В то же время он воспринимал все происходящее с максимальной остротой. На следующий день он поехал в Восточный Берлин за фотографиями Биргит. У нее не было телефона, и он не мог позвонить ей и предупредить о своем визите. Оставалось лишь надеяться, что он застанет ее дома. Он был у нее в гостях лишь однажды, познакомился с ее бабушкой, матерью и сестрами — Хельгой, жившей, как и Биргит, пока еще дома, и Гизелой, которая как раз пришла навестить родных; его потчевали в гостинной кофе с пирогами. Сидя на диване, на котором спала Биргит, он чувствовал себя как под микроскопом, и облегченно вздохнул, когда настало время идти в театр и они с Биргит откланялись.

Он запомнил дорогу: от станции городской электрички под мост, на маленькую улочку, мимо кирпичного здания школы с арками и колоннами, за угол, куда с визгом и скрежетом поворачивали трамваи, мимо булочной. Дойдя до дома, он позвонил; не дождавшись ответного жужжания замка, надавил на дверь. Она не поддавалась.

Было три часа. Каспар обошел квартал и, вернувшись обратно, увидел на втором этаже женщину, которая стояла у окна, опершись на лежавшую на подоконнике подушку. Что ей сказать, если на звонок опять никто не ответит, а она спросит, кто ему нужен? Она сразу поймет, что он с Запада. Его друзья из Восточного Берлина однажды, когда он собрался в Потсдам осматривать Сан-Суси, шутки ради перечислили признаки, по которым его, Каспара, мгновенно можно распознать как «веси»¹, и надавали ему советов, как ему следует одеться и чего избегать. Надо было и сегодня одеться так же! Что подумает эта женщина, когда опять увидит перед дверью какого-то «веси»? Что она за человек? Подозрительный? Добродушный? Вдруг она почувствует классового врага и испугается, что он затевает что-то недоброе? А может, подумает, что это просто влюбленный студент? Ему хотелось взглянуть в ее лицо, чтобы понять это, но тогда ему пришлось бы подойти ближе, а это было рискованно. Он сделал еще один круг, обошел два квартала, а вернувшись и увидев, что она все еще торчит в окне, обошел еще три квартала и в конце концов остановился на набережной Шпрее.

Декабрьский туман серой пеленой висел над городом, приглушая звуки и размывая краски. Но Каспар как-то странно отчетливо видел дома, улицы, реку. Как будто опасность всей этой затеи обострила его взгляд и чувства: предметы приняли более резкие очертания, пила в соседней мастерской визжала как-

¹ Разг. «западный немец» (от *Westen*).

то особенно пронзительно, запах, исходивший от мусорных контейнеров, был на редкость едким, а дыхание ветра на его щеках так остро ощутимо, словно незримая стена, отделявшая его до этого от окружающего мира, вдруг растворилась в воздухе.

Он сел на берегу и стал смотреть на воду. Биргит как-то рассказывала ему о скучных воскресных днях своего детства, о ненавистных прогулках вдоль Шпрее в любую погоду, мимо одних и тех же речных ландшафтов с баржами и складами, домами с садиками и палисадниками, то подходившими прямо к воде, то отступавшими вглубь кварталов, до Кёльнише-Хайде¹ и обратно. Он тоже помнил воскресенья своего детства, когда его одолевала скука. Когда его ничто не привлекало и не интересовало — ни игры, ни книги, когда он бесцельно слонялся по дому, заходил в комнату сестры, заглядывал в кухню; взяв яблоко, выходил в садик, ложился на траву, но тут же опять вставал; разок-другой пнув мяч в стену, бросал его. Это были родные сердцу воспоминания о странном состоянии блаженно-дремотной пустоты. Вот и сейчас ему нечем было занять себя, свои мысли. Он бы с удовольствием выключил, погасил сознание и предался этой неге анабиоза. Но он был возбужден, напряжен, как зверь, готовящийся к прыжку.

Потом ему стало холодно. День выдался мягкий, над рекой реял теплый ветер. Но земля была холодная. Он встал и на негнущихся ногах пошел назад. Женщина в окне исчезла, хотя окно все еще было

¹ Кёльнише-Хайде — часть городского района Нойкёльн.

открыто, и когда он позвонил и ему опять никто не открыл, сверху раздался голос:

— Вы к кому, молодой человек?

Не поднимая головы, он пожал плечами и, выразив руками недоумение и сожаление, ушел.

Он отправился по описанному Биргит маршруту до Кёльнише-Хайде и обратно. Смотреть было не на что, и он понял ту скуку, которую она испытывала во время воскресных прогулок. Скукой можно наслаждаться только в одиночестве, только пустившись по ее волнам, а не идя за руку с матерью или старшей сестрой, которая тащит тебя за собой, как на веревке.

Потом стемнело. Когда Каспар снова подошел к дому, окно, из которого выглядывала женщина, было закрыто, а за тонкой занавеской горела яркая лампа. В предполагаемых окнах Биргит света не было, и дверь на его звонок опять никто не открыл. Ему вдруг стало страшно. Причин, по которым отсутствовали Биргит и Хельга, могло быть много. Но бабушка почти не покидала квартиру из-за больных ног, и если и ее не было дома, то это могло означать какой-нибудь несчастный случай, собравший всю семью в больнице у постели пострадавшего. И когда кто-нибудь из них появится, оставалось загадкой. А ему нужно было до полуночи быть на Фридрихштрассе.

Он купил в булочной две булочки и сунул их в карман пальто. Нерешительно постоял на тротуаре. Школа напротив была погружена во мрак. Он пересек улицу, нашел в подворотне нишу за колонной, в которой можно было стоять или кое-как примос-

титься на цоколе колонны и наблюдать за домом Биргит, и принялся за булочки.

Улица была пустынна. Лишь изредка проезжала какая-нибудь машина с трескучим мотором и вонючим выхлопом. Каждые десять минут мимо проползал битком набитый трамвай, а через десять минут возвращался почти пустым. Люди тоже появлялись из-за угла с интервалом в десять минут; электричка привозила их на отдых с фабрик и из контор. Каспар видел их в свете фонарей в пальто, куртках, в платках, рабочих комбинезонах, с шарфами на шее, с папками под мышкой; они размахивали при ходьбе руками или держали их в карманах, шагали с усталыми, бодрыми или невозмутимыми лицами. Кто-то из них исчезал в подъездах дома напротив, а через минуту-другую в одном из окон загорался свет. Чем больше времени проходило, тем меньше людей привозила электричка.

Каспару еще не доводилось наблюдать за спешащими мимо людьми. Конечно, ему случалось сидеть или стоять где-нибудь и видеть прохожих. Но он обычно с кем-нибудь беседовал, или читал книгу, или был занят своими мыслями. Сейчас он ничего не делал — он только наблюдал, и ему вдруг пришло в голову, сколько жизней проходит в эти минуты мимо него и в каждой — какая-то работа, квартира, семья или одиночество, свое счастье, свои заботы; каждая их этих жизней как-то приспособилась к миру или вступила с ним конфликт. Он жил своей жизнью, и другие жизни были для него как окружавшие его

дома, и улицы, и деревья. Только когда он вступал с ними во взаимодействие, у него появлялись определенные чувства в отношении этих жизней и того, что они для него означали. Сейчас же он впервые подумал о том, что они означали сами для себя: каждая из них была отдельным миром, целостным, совершенным. Да, он любил Биргит, и она любила его. Она не хотела, чтобы он переехал к ней в Восточную Германию, она хотела к нему, в Западную. Но у нее была своя жизнь, тоже по-своему целостная и совершенная, только она была ему незнакома, он не знал, что в ней хорошего, а что плохого. Она взяла его в свою жизнь. И все же он вдруг почувствовал себя пришельцем, инопланетянином и испугался.

Потом все стихло. Лишь изредка из-за угла появлялся одинокий прохожий или проезжала мимо машина, которую Каспар слышал еще издалека. Неподалеку от школы стояла церковь, которую он видел по дороге от станции и боя курантов которой он так и не дождался: они не работали. А может, часы на церковной башне просто несовместимы с социализмом. Зато трамваи работали как часы: теперь они проезжали с интервалом не в десять, а ровно в двадцать минут. Два соединенных друг с другом ярко освещенных аквариума на колесах с несколькими пассажирами или совершенно пустые. Свет в большинстве окон дома напротив стал голубым. Интересно, что они там смотрят?

Каспар вышел из-за колонны и прошел несколько метров без всякой цели. Было приятно немного размять ноги. Но какой-то энергично шагающий прохо-

жий окинул его подозрительным взглядом, и он поспешил ретироваться обратно в свою нишу. Ему вдруг пришло в голову, что иногда во время поездок на поезде он, приехав в пункт назначения, неохотно покидал вагон — не потому, что его манили неизведанные дали, а потому, что этот поезд на некоторое время заменял ему дом. Ниша за колонной, вечерняя тьма, скудный свет редких фонарей, немногочисленные звуки улицы, визг трамвайных колес — все это нравилось ему. Если бы его не мучил страх, что Биргит вовремя не вернется домой и он опоздает на Фридрихштрассе, он чувствовал бы себя в этой нише как дома.

Из-за угла вышла молодая женщина. Это была не Биргит, но она чем-то напоминала ее и направилась к тому самому подъезду. Каспар ринулся вслед за ней через улицу. Это была Хельга. Она коротко взглянула на него, но ничего не сказала, а молча открыв дверь, вошла в тускло освещенный подъезд. Каспар так же молча последовал за ней. Только открыв дверь квартиры и включив свет, она повернулась к нему. «Какая она красивая! — подумал он. — Красивая, загадочная и привлекательная... Почему я до сих пор не замечал этого?»

— Мне нужны фото Биргит на паспорт, — промямлил он смущенно.

Хельга кивнула, жестом велела ему подождать в прихожей и прошла вглубь квартиры. Где-то пробили часы — восемь ударов, таких же, какими Биг-Бен отмечал каждые полчаса. Половина одиннадцатого. Каспар наслаждался теплом. Только сейчас, в поме-

щении, он понял, как замерз и как жаждал тепла. Хельга вернулась через несколько минут с почтовым конвертом. Он сунул его в карман.

— Спасибо.

— Рост у нее метр семьдесят четыре, глаза карие.

Она обняла его. Каспар почувствовал ее тело и тоже хотел обнять ее, но не успел.

— Береги ее! — сказала Хельга и, отстранившись от него, открыла ему дверь.

За время всех этих приготовлений было еще кое-что, что произвело на Каспара сильное впечатление: женщина с желтым шарфом.

Они с Биргит хотели вместе отпраздновать Рождество в Берлине. Подруга Биргит уехала в Гарц¹ и оставила Биргит свою квартиру. Каспару пришлось бы каждый день въезжать в Восточный Берлин и выезжать из него, зато у них целую неделю была бы своя квартира! Но ему нужно было домой, чтобы одолжить у друзей недостающую сумму, необходимую для побега. Друзья не подвели — один дал пятьсот, другой триста марок. В начале января Каспар вручил своим гангстерам в пальто из верблюжьей шерсти конверт с пятью тысячами марок.

Две недели спустя они выдали ему документы для Биргит. И не только для нее. Через два дня должна была бежать еще одна женщина, и они попросили Каспара передать ей документы. С ней нужно встретиться завтра в два часа перед входом в оперный

¹ *Гарц* — горы в Германии, расположенные на территории земель Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

театр. На шее у нее будет желтый шарф, и, когда он заговорит с ней, она спросит: «Вы и в самом деле из Венеции?»

На пограничном КПП на Фридрихштрассе его уже несколько раз просили пройти в заднюю комнату и раздеться до трусов. Если проверка будет и завтра, сказал он себе, то уже не важно, сколько фальшивых паспортов при нем найдут, один или два, и, сразу успокоившись, благополучно прошел контроль.

Женщина с желтым шарфом стояла у подножия лестницы перед оперным театром, в углу между ступенями и основанием колоннады, вжавшись в стену, словно желая в ней раствориться.

— Вы и в самом деле из Венеции?

Она была высокая, плотная, с красивым настороженным лицом и решительным голосом. «Почему эта решительность в голосе кажется такой нарочитой?» — подумал Каспар и кивнул.

— Я не возьму паспорт, — произнесла она, понизив голос. — Я не поеду. Не могу.

— Я вас не понимаю. Все готово. Деньги уплачены, иначе бы эти люди не отдали мне документы. Ведь ваш...

— Жених.

Каспар подождал несколько секунд, но она не стала продолжать.

— А почему вы не можете?

Она смотрела в сторону.

— Праздник в среду не состоялся. Его перенесли на завтра. А мы рассчитывали, что он пройдет в среду.

— Какой праздник?

— Мы готовились к нему целый месяц. Дети так ждут его! Я подготовила с ними спектакль. Без меня они не смогут... — Голос ее пресекся, она достала носовой платок и отвернулась.

Каспар растерянно молчал. Она что, плачет? Что ему делать? Погладить ее по плечу? Или обнять?

— Детский праздник... — Она опять повернулась к нему и заговорила с той же фальшивой решительностью в голосе. — Я работаю заведующей в детском саду. Я не могу сорвать этот праздник. Я понимаю, что вам трудно это понять, и не осуждаю вас, я не осуждаю и Александра...

— Вы решили остаться?

— Остаться, бежать... Оставьте меня в покое! Завтра я не могу, вот и все. Не могу! — Она посмотрела на него отсутствующим взглядом, как упрямый ребенок. — Я пошла.

И, не сказав больше ни слова, она пошла прочь, перешла на другую сторону Унтер-ден-Линден. Каспар смотрел ей вслед, пока она не скрылась между Нойе Вахе¹ и Цейхгаузом. Ему хотелось понять, как такое возможно. «Когда вы решили бежать, вы ведь знали, что здесь для вас все кончится — и детский сад, и дети, и праздники, и все остальное? — думал он. — Как же можно перечеркнуть такое серьезное решение одним лишь нежеланием сорвать чей-то праздник?» Может, некоторым людям просто трудно перешагнуть порог своего будущего? Может, они

¹ *Нойе Вахе* — мемориал жертвам Наполеоновских войн, построенный в 1816–1818 гг. как караульное помещение для королевской гвардии.

способны принять его умом и душой, только когда оно еще далеко, когда, скажем, еще лето, а бегство запланировано на январь и воспринимается пока как нечто абстрактное? А когда оно приближается и обретает конкретные черты, они испуганно шарахаются от этой реальности. Может, именно так многие французские дворяне во время революции упустили возможность бегства, хотя им грозила гильотина? А этой заведующей детского сада грозит не гильотина, а всего-навсего лишение шанса на жизнь вместе с Александром в Западной Германии, которая, возможно, всегда была для нее некой абстракцией.

Времени у него было много: они с Биргит договорились встретиться в пять часов у церкви Святой Марии, неподалеку от здания экономического факультета, на котором училась Биргит. Она как ни в чем не бывало ходила в университет, словно и не собиралась никуда бежать. Каспар не мог даже представить себе, что и она в последний момент вдруг возьмет и передумает. Но Биргит считала, что бегство еще не повод прогуливать лекции и семинары.

«А что бы делал я, если бы знал, что завтра мне предстоит оставить позади старую жизнь и начать новую?» — думал Каспар. За день до смерти посадить дерево, жить так, словно ничего не случилось, — он тоже не знал более разумной программы. Если, конечно, эта программа не грозила перечеркнуть твои планы на новую жизнь.

Он бесцельно бродил по улицам. Восточный Берлин он знал уже хорошо и не боялся заблудиться и опоздать к пяти. Небо опять висело над городом се-

рой пеленой. Время от времени накрапывал дождь. В теплом воздухе Каспару чувствовалось дыхание весны. Со дня его первого приезда в Восточный Берлин ему здесь многое стало уже почти родным: булыжные мостовые, невзрачные старые дома, незастроенные участки, маленькие неказистые парки, немногочисленные вонючие автомобили. Теперь ему предстояла долгая разлука с Восточным Берлином. После побега Биргит служба госбезопасности основательно займется изучением ее друзей и знакомых, ее связь с ним, Каспаром, скоро обнаружится, и он станет в глазах властей главным организатором ее побега.

Он до сих пор так и не собрался посетить Доротеенштадтское кладбище. Сегодня была последняя возможность это сделать. Он бродил среди могил знаменитых философов и писателей, актеров и политиков. Когда-то при жизни многие из них были врагами, а теперь покоились рядом, в тесном соседстве друг с другом. Каспар представил себе множество книг, стоящих на полках библиотек и магазинов в таком же тесном соседстве — Гегель рядом с Кантом, Маркс рядом с Фейербахом, Гейне рядом с Платеном. «Книготорговец — вот кем ты должен стать!» — мелькнуло у него в голове.

Потом они встретились с Биргит. Он передал ей документы, дорожную сумку, косынку, пачку «Мальборо» и объяснил, как она должна была действовать. Оба чувствовали себя неловко. Каспар с того дня, когда прождал ее целую вечность, не мог избавиться от мысли, что вторгся в ее жизнь. Он чувствовал, что ей

страшно, что она боится даже думать о последствиях, которые ждут ее в случае неудачи, но старается не показать виду. Они обнялись и долго молча стояли так, не в силах оторваться друг от друга. Пока не услышали смех и свист каких-то проходивших мимо юнцов.

— Я люблю тебя, Биргит.

— Я тебя тоже.

— Увидимся в субботу в Темпельхофе.

Она кивнула, поцеловала его и пошла к станции городской электрички. Ему хотелось еще немного побыть с ней, погулять, может, выпить кофе или пива. Но она ушла. Что ж, если ей так легче... В субботу он снова обнимет ее в Темпельхофе.

Так и случилось. Шестнадцатого января 1965 года Биргит прилетела в аэропорт Темпельхоф, и с этого момента не просто началась их совместная жизнь. До того Каспар принимал жизнь такой, какой она была, подчинялся ее требованиям. То, что он забрал Биргит в Западную Германию, тоже было лишь следствием их взаимной любви. Но поиски и аренда маленькой квартиры, отказ от учебы, курсы книготорговцев, ответственность за книжный магазин, налаживание успешной торговли, приобретение большой квартиры — это уже было не покорное подчинение требованиям жизни, а управление ею. Это была *его* жизнь, и началась она шестнадцатого января 1965 года. 1611965... Если бы ему понадобилось какое-нибудь заветное число для лотереи, он бы воспользовался именно этой датой и наверняка выиграл бы.

Но и эти цифры не открыли ему доступ к компьютеру Биргит. Паролем в конце концов оказалась комбинация букв «кбаисрпгаирт», их имена, перемешанные друг с другом: Каспар и Биргит. Это его обрадовало. Монитор был поврежден; на компьютере можно было писать, но прочесть написанное не пред-

ставлялось возможным. Неужели Биргит это не мешало и она продолжала работать на неисправном компьютере?

Каспар попросил распечатать ему файлы. Все? Да, все, независимо от их количества, объема, краткости и степени банальности текстов. Он хотел знать, что собирала, хранила, писала и думала Биргит, что было в ее мозгу, а потом вошло в память компьютера, воплотившись в тексты.

Но когда он, получив внушительную стопку бумаги, поднялся в комнату Биргит и сел за ее стол, ему стало страшно. У него было такое чувство, как будто он, чтобы заглянуть в ее мозг, срезал верхнюю часть черепа и снял ее, как крышку, он пренебрег ее желанием защитить свой мозг и разрушил эту защиту. Он вспомнил, как, придя за ее фото и сидя в подворотне школы напротив ее дома в ожидании ее возвращения, чувствовал себя пришельцем, хотя она пригласила и впустила его в свою жизнь. Теперь он собирался прочесть то, что было сохранено в памяти компьютера и защищено кодом. Код удалось расшифровать, но это не давало ему права вторгаться в чужое хранилище. Даже поддавшись злости, поднимавшейся в нем при мысли о стихах и почти законченном романе, которые она от него утаила.

Взгляд его упал на первый лист — это была распечатка электронного письма, в котором Биргит полгода назад подтверждала получение из ремонта часов, — и он принялся за чтение. В мейлах не было тайн; в них разворачивалась картина их будней последних лет, будней Биргит и их общих будней. При-

глашения, согласия, отказы, поздравления с днем рождения, пожелания здоровья или скорейшего выздоровления, заказы билетов на концерт, в театр, в оперу, его письма, в которых он, будучи на Лейпцигской книжной ярмарке и не дозвонившись до нее, желал ей спокойной ночи, письма, в которых они обсуждали какие-то житейские мелочи или обменивались предложениями и проспектами по поводу предстоящего отпуска. Южный Тироль, винодельческая усадьба и пансион на склонах холма в Больцано, где они собирались отдыхать, путешествуя по окрестностям, Венеция и Триест, куда хотели отправиться в последние дни отпуска. Он любил каникулы с Биргит. Она мало пила, у нее была ясная голова и веселое, горячее сердце. Они много гуляли, плавали, читали вслух, лежа в постели.

Без Биргит он не поедет в отпуск. Он теперь вообще никогда не поедет в отпуск. Не пойдет на концерт, в театр. Без нее он не сможет даже просто радоваться будничной жизни с ее ритмичным чередованием дома и работы, утренних и вечерних прогулок, с ее привычными ритуалами и манипуляциями, с новыми книгами; жизни, в которой ему было так хорошо и покойно. Привычки «функционировать» он не утратил со смертью Биргит и никогда не утратит. Это было единственное, что у него еще осталось.

Он смотрел в ночную тьму, и эта тьма была не только за окном, но и в нем самом. Ему вспомнился Орфей, который спустился в царство теней и нашел Эвридику, потому что был исполнен света. Благодаря этому свету он своим пением и игрой на кифаре

очаровал перевозчика Харона, который перевез его на своей ладье на другой берег Стикса, а потом Цербера, охранявшего врата Аида. «Интересно, смог бы я найти Биргит, если бы и во мне был такой же свет, как в Орфее, если бы моя любовь к ней сияла так же, как его песни?» — подумал Каспар. Он на мгновение словно в зеркале увидел себя и Биргит в свете своей любви. «Пошла бы она за мной и за светом? Хватило бы у меня веры не оглядываться на обратном пути в жизнь? Или я малодушно захотел бы удостовериться в том, что она идет за мной? А может, возмущенный и обиженный ее скрытностью, сразу же призвал бы ее к ответу?»

Ему вдруг стало страшно, что Биргит при всей его тоске и скорби по ней ускользнет, исчезнет, как исчезла Эвридика на обратном пути в жизнь. Хотя она и умерла, она все еще была здесь, с ним, но, если он перестанет верить в нее и начнет злиться и обижаться на нее, она, возможно, умрет еще раз и уже навсегда.

Следующие несколько дней Каспар читал электронные письма Биргит. В них были не только будни последних лет, но и дружеские связи в ее литературном объединении, ее участие в охране окружающей среды, переговоры по поводу предстоящих акций. На следующее лето она на несколько дней забронировала какую-то хижину на дереве в лесу, который должны были выкорчевать, чтобы на его месте построить трассу. Об этом она тоже ничего ему не говорила.

После электронных писем пошли уже знакомые ему тексты; распечатки лежали в папках. Один большой текст он видел впервые. В отличие от других, он был озаглавлен: «Суровый Бог». Начинался он с вопроса о том, как сложилась бы судьба Биргит, если бы она осталась в ГДР, и, судя по всему, представлял собой фрагмент романа или воспоминаний, а может, автобиографического очерка. Во всяком случае, это не было чем-то будничным, нейтральным, изучением чего он мог заняться с легким сердцем. Если он сейчас продолжит чтение, он вторгнется во внутреннюю жизнь Биргит против ее воли, откажется от той проникнутой любовью деликатности, с которой от-

носился к ее решениям внести в жизнь те или иные коррективы и к той тайне, которой она окружила свое литературное творчество.

Поскольку Эвридика в царстве мертвых была тенью, Орфей по дороге назад в жизнь не мог слышать звук ее шагов. Шла она за ним или нет, оставалось для Орфея мучительной тайной. Каспар знал, что вырвать у Биргит тайну ее текста означало оглянуться на нее. Сколько нового бы он о ней ни узнал, какие бы новые стороны ее души ни открыл, — она будет все больше отдаляться от него.

Он не стал читать дальше. И снова несколько недель не заходил в комнату Биргит. Он ждал, когда время заживит рану, нанесенную ее смертью, но рана не заживала. Утром он уходил в магазин, а вечером возвращался домой, ел обычно либо все тот же рис с курицей из микроволновки, либо, когда забывал его купить, пиццу у итальянца на углу, по воскресеньям заставлял себя выходить на прогулку, а если шел дождь, отсиживался в кинотеатре, несколько раз принимал приглашения своих озабоченных его состоянием сотрудников на семейный ужин, по вечерам, за чтением очередной новинки, пил больше, чем прежде. Кончилась весна, наступило грозное лето. Ему нравилось смотреть из окон магазина на черные тучи, на взметаемые ветром клубы пыли вперемешку с листьями и бумажками, бежать домой под проливным дождем, сквозь гром и молнии, промокнуть до костей, продрогнуть, а потом согреться под горячим душем — все это оказывало на него благотворное

действие. А когда, вытершись после душа и надев махровый халат, он ходил по квартире, в голове у него мелькало: «Еще не погасла в тебе, старый мерин, искра жизни!»

Как-то раз вечером он вдруг почувствовал полное безразличие к судьбе Эвридики. Он много выпил, и в нем вдруг вскипел гнев на Биргит, гнев, в который превращается скорбь, которая больше не может терпеть свое бессилие. Этот эгоцентризм, эта беспощадность, это ослиное упрямство, это вечное нытье! Почему он всегда должен был ей угождать, терпеть все эти ее порывы и взрывы, убирать ее блевотину?

Качаясь и держась за стену, он поднялся по лестнице в комнату Биргит, грузно опустился на стул перед письменным столом и принялся читать. Но он был пьян, а текст оказался сложным, у него стали слипаться глаза. Взяв рукопись с собой, он пошел вниз, споткнулся на лестнице, с трудом удержался на ногах, но выронил бумаги, и они разлетелись во все стороны, усыпав ступени и пол в прихожей.

Утром он собрал их. Эвридика была потеряна. Но теперь это уже не имело значения. Он опять поднялся с рукописью в комнату Биргит, сел за стол и начал читать.

Суровый Бог

Что было бы со мной, если бы я осталась? Если бы не встретила Каспара, не влюбилась в него, не решила связать с ним свою жизнь? Если бы мне не пришла эта мысль, это понятие — «уйти», если бы я знала только его антоним — «остаться»?

На комодe стояло фото отца в серебряной рамке с черной траурной полосой над нижним правым углом. На петлице мундира — череп и кости. Маленькая девочка смотрела снизу вверх на фото, на это приветливое крепкое лицо, на добрые, излучающие тепло глаза, и с болью думала об отце, не вернувшемся с войны. Не вернувшемся с войны? Нет, он был здесь и каждый день требовал самодисциплины, верности долгу и выдержки. Так говорила мать. Еще она говорила, что он был героем, о чем сейчас лучше помалкивать, хорошим мужем и хорошим отцом. Это лицо грозно возвышалось над маленькой девочкой, оно возвышалось над ней, когда она выросла. Где бы она ни была, оно стояло у нее за спиной, куда бы ни пошла, оно следовало за ней по пятам, бросало на нее свою тень. Тень смерти.

Девочка переворачивала фото лицом вниз, но отец снова поднимался, снова вставал за ее спиной, снова бросал на нее свою тень. Тень мрачного прошлого. Девочка хотела стать частью новой эры. В которой люди, боровшиеся с ее отцом и освободившие страну, создавали новую страну и нового человека. Заслуживала ли эта девочка, окутанная тенью прошлого, быть новым человеком в новой стране? Может быть. Если она выдержит испытание, если станет кроткой и послушной.

Я старалась. Если бы я осталась, продолжала бы я стараться и дальше? А если бы мои старания не принесли результата? Я обвинила бы в этом себя? Потому что носила на себе печать прошлого? Пото-

му что новая эра не могла быть виновна в моей неудаче? Потому что новая эра — это добрая эра?

Если бы в один прекрасный день я окончательно убедилась, что наш корабль идет неверным курсом, что задачи, которые нужно решать, ложны, а все старания бессмысленны, — я и тогда не восстала бы против этой «новой эры»? И она так и осталась бы для меня «доброй эрой»? И я бы вместе с другими продолжила ткать этот мягкий, заглушающий все звуки ковер лживых надежд? Экономика новой страны в упадке, зато в ней покончено с ненавистным игом частной собственности, она обеспечивает каждого всем необходимым, гарантирует каждому работу и никого не эксплуатирует. Культура новой страны застыла, окаменела — вожди поседели в борьбе со злом, не согнулись перед врагами, а то, что не гнется, должно застыть, окаменеть. Вожди новой страны не доверяют гражданам; недоверию их научила борьба, а научившись ему однажды, они уже не могут от него освободиться. Если они не могут привести нас в светлое будущее так быстро, как нам бы этого хотелось, то мы обязаны проявить по отношению к ним как минимум уважение и терпение. Мы не имеем права вырывать у них из рук факел. Наш долг — помочь им нести его, пока они, обессилев, сами не отдадут его в наши руки. И тогда все будет зависеть от нас — пойдём ли мы дальше, достигнем ли цели, завершим ли строительство.

А мое чувство вины, связанное с тенью отца, не позволявшее мне противиться всему этому? Неужели оно не позволило бы мне и элементарного често-

любия? Неужели я удовольствовалась бы малым — работой библиотекаря или делопроизводителя? А если бы эта библиотека, или контора, или фабрика выжила после объединения, я бы адаптировалась к новым законам, к новой технике и к новому началству и в то же время продолжала скорбеть о старых несбывшихся надеждах? О моей прежней маленькой стране, которая хотела стать новой страной для новых людей? Обо всем, что могло бы свершиться, если бы... не знаю что, но что-то ведь должно было быть, ведь должно же было все получиться как-то иначе, лучше...

Нет, не так. Я была не такой уж маленькой, глупой и послушной. Я не осталась девочкой, окутанной тенью прошлого. Я избавилась от власти фото с траурной лентой, оставила позади тень отца и слова матери. Я поверила в новую эру, которая рождает новую страну и нового человека, и в свое право быть этим новым человеком в новой стране. Я старалась всячески способствовать тому, чтобы новая эра стала светлой эрой. Я всегда была кроткой. Но не всегда послушной.

Если бы я поняла, что экономика в упадке, что инициативу и творческую фантазию душат, что руководство страны строго контролирует граждан, что корабль идет неверным курсом, что поставленные задачи ложны, а все старания бессмысленны, я бы не восстала против новой эры. Но я бы надеялась, что факел вырвут из рук старых вождей и отдадут в молодые руки. Я бы по-прежнему верила в цель, но искала бы другой путь. Весной 1968 года я бы реши-

ла, что пражские события и есть тот самый путь, в 1985–1986 годах приняла бы за него перестройку Горбачева в Москве. Наконец, в ноябре 1989 года приветствовала бы Берлинскую весну и немецкую надежду на гласность и перестройку.

Как бы я жила при всех этих перипетиях? Сделала бы карьеру — в какой-нибудь школе, в каком-нибудь издательстве или культурном, а может, научном учреждении? Потом встала бы им поперек горла, нажила себе кучу проблем, загремела на два-три года на производство? Нашла бы в конце концов свою нишу, как это сделали многие? Мне нравились иностранные языки, девочкой я переписывалась с казахским школьником. Я могла бы выучить казахский язык и переводить казахскую литературу на немецкий, а параллельно писать стихи. Неплохая жизнь? Вполне возможно, я благополучно жила бы в своей нише, в спокойствии и печали, а в ноябре 1989 года даже смогла бы стать счастливой.

Но в 1990 году и Берлинская весна, и гласность, и перестройка в Германии тоже кончились. И про «нишу» в 1990 году тоже пришлось бы забыть. Казахская литература в немецком переводе никому бы уже не нужна, маленькое издательство, которое печатало бы мои стихи, обанкротилось бы, а дом в Пренцлауэрберге, в котором я снимала бы дешевую квартиру, купил и превратил бы в элитарное жилье какой-нибудь инвестор. Что бы я тогда делала? Переехала бы в Марцан¹ и стала бы жить на социальную помощь?

¹ *Марцан* — спальный район в бывшем Восточном Берлине.

Или стала бы в 1990 году очень востребованной переводчицей, работающей на немецкую фирму, которая сотрудничала бы с Казахстаном? И хорошо зарабатывала бы. Настолько хорошо, что смогла бы взять ссуду и выкупить свою квартиру, воспользовавшись преимущественным правом приобретения? И, бросив писать стихи, перешла бы на шлягеры или рекламные тексты? И умножила бы число тех, для кого объединение стало счастливым билетом в новую, сытую жизнь?

Или все сложилось бы совершенно иначе? Может, после любви к Лео, после его обмана и рождения дочери я стала бы совсем другой? Разочарованной, раздавленной, озлобленной? Внебрачный ребенок в то время не был такой уж проблемой, если мать сама была морально готова к этой ситуации. А была ли я морально готова к этой ситуации? Или в фальши Лео я бы увидела фальшивость системы, а в цинизме, с которым он хотел меня использовать в своих целях, цинизм, с которым использовала людей система? Порвала бы я с этой системой, оспорила бы права того мира, в котором мы жили, на меня и на моего ребенка? Поняла бы я свою мать — не ее любовь к человеку со зловещей эмблемой на петлице, а ее жизнь вне и против этого мира? Осталась бы я с дочерью под одной крышей с ней и бабушкой?

Мне было бы безразлично, как я зарабатываю себе на жизнь в нелюбимой эре в нелюбимой стране. Уж я, наверное, что-нибудь придумала бы, нашла бы что-нибудь.

Я как-нибудь продержалась бы на плаву, ничего не ожидая и потому не боясь разочарований, даже от своей дочери. С объединением ничего бы не изменилось. Да и что могло измениться? Я по-прежнему жила бы вне и против мира, упорно топя вперед и чертыхаясь себе под нос. Обрадовалась бы я тому, что алкоголь стал лучше? Или уже не заметила бы этого?

Я рада, что не осталась. Рада, что уехала. Я не хочу ни одной из этих непрожитых жизней. Но я не могу от них избавиться. Мои непрожитые, как и прожитые жизни всегда со мной. Они печальны, и я несу эту печаль жизни с чувством вины, печаль жизни в нише, печаль жизни вне и против мира.

Источник моей печали — ГДР. Восторг перед новой эрой, надежда на новую жизнь и нового человека, былая готовность к действию и к самопожертвованию... Пусть от начала ничего не осталось, но оно было. Пусть ничего не осталось от попыток развивать страну, несмотря на систему и вопреки системе, от уверенности, что социализм и свобода неотделимы друг от друга и что будущее за ними, — это было, и это была реальность, добрая реальность как антипод злой реальности реального социализма. Ее исчезновение наполняет меня печалью, хотя я и знаю, что добрая реальность могла существовать лишь как антипод злой реальности и без нее должна была исчезнуть.

Когда живешь в стране со злым режимом, то надеешься на перемены, и однажды эти перемены наступают. Злой режим сменяется добрым. Если ты был

против этого, теперь можно быть за. Если тебе пришлось отправиться в изгнание, теперь ты можешь вернуться. Эта страна будет и для тех, кто уехал, и для тех, кто остался, это будет страна, о которой они мечтали. ГДР никогда не будет страной, о которой мечтали. Ее больше нет. Те, что остались, не могут больше радоваться за нее, те, что уехали, не могут больше в нее вернуться. Их изгнание не будет иметь конца. Отсюда эта пустота. И страна, и мечта утрачены навсегда.

Меня печалит не невосполнимость утраты. Меня печалит пустота. Пустота, боль, пустота, боль...

*

Январь. Субботняя прогулка к плотине Квитцдорф. С утра была мягкая погода, к обеду похолодало, и мы развели костер. Когда появился Лео, мы подумали, что сейчас будет скандал. Но он рассмеялся. И посоветовал в следующий раз получить разрешение на разведение огня, а когда будем уходить, как следует залить костер и все убрать. Сказал, что пришел вовсе не для того, чтобы контролировать нас; просто хотел узнать, как мы поживаем. Мы его первая студенческая бригада. Он всего лишь год как секретарь районного комитета. Потом он подсел к костру. Ел и пил и пел с нами.

Интересно, он и в самом деле намеренно подошел ко мне, как потом мне сказал? Или это все же была случайность? И он просто решил пройтись, размять ноги, когда я села у воды, в стороне от компании?

Сначала он остановился рядом, потом присел на корточки, предложил мне сигарету и, щелкнув зажигалкой, дал мне прикурить. Я хорошо запомнила, как он встряхнул пачку, чтобы выскочили две сигареты; одну взяла я, вторую он вытащил губами.

У костра мы говорили о собаках, и он продолжил эту тему.

— У моего брата была собака, помесь овчарки с фокстерьером, жутко некрасивый, но милейший и преданнейший пес. Настоящий товарищ. А товарищ — это ведь значит, что у него такие же права, как у тебя, верно? И мы иногда шли в лесу налево, а не направо, потому что Като хотел налево, и покорно смотрели, как он плавает в вонючем болоте, зная, что потом придется его мыть, а это, прямо скажем, не самое наше любимое занятие. И все же *мы* распоряжались его жизнью. Когда ему хотелось гулять, а у нас не было желания тащиться на улицу, ему приходилось сидеть дома. Когда ему нужно было изучить все «записки» на деревьях и столбах, а нам нужно было торопиться, мы тащили его за собой на поводке. Мы решали, что ему есть. А потом мой брат решил, что его нужно усыпить. Я бы не смог иметь собаку. Иметь товарища и распоряжаться его жизнью...

— А разве секретарь районного комитета не похож в этом плане на собачника? Ведь его подчиненные и граждане — тоже в какой-то мере товарищи, а он распоряжается их жизнью.

Он рассмеялся, и мне понравился его смех. Идущий не из горла, а из живота. Он сел рядом со мной на землю.

— Я надеюсь, что я их увлекаю. Я говорю с ними. Я их убеждаю.

— А если их не удастся убедить?

— Тогда их жизнью распоряжаюсь не я, а партия.

— А подчиненные и граждане — собаки...

— Когда я тороплюсь и тащу собаку на поводке, я думаю о себе. Партия думает не о себе. Она думает о нас.

Он говорил это каким-то особенным, серьезным и в то же время приветливым тоном, не вызывающим сомнений в его искренности. Мне было немного холодно. Я зябко поежилась, и он положил мне руку на плечо, как бы желая согреть. Ненавязчиво, ненахально. К тому же он сразу сказал:

— Идемте к огню.

Но я продолжала сидеть. И даже прислонилась к нему. Именно так мне хотелось, чтобы меня любили — как равноправного товарища.

Тогда я в него и влюбилась.

*

То, что от себя никуда не скроешься, что приходится всегда и везде носить с собой свое «я», я знала. Но я не знала, что приходится всегда и везде носить с собой других.

Бабушка. Как она сидела в нашей гостиной, так она сидит и в моей голове. В кресле, с открытыми глазами и сложенными на коленях руками; ноги и живот укрыты пледом; ни книги, ни радио, ни телевизор ей были не нужны; и всегда во всеоружии каких-нибудь злых замечаний или комментариев.

Мать. Зажатая, запуганная, воспитывающая своих трех дочерей в той же строгости, в какой воспитывал ее отец, — суровые увещевания, угрозы, упреки; любая мелочь — прекрасный повод для гневной проповеди.

Гизела. Которая всегда все делала правильно, выбрала правильную профессию, правильного мужа, родила правильных детей, мальчика и девочку. Которая после развода потеряла почву под ногами и которая неустанно заклинала меня никому и ничему не верить.

Хельга. Отгородившаяся от всех — от бабушки, от матери, от Гизелы и от меня — и на примере своей собственной жизни показавшая мне, что, если хочешь сохранить себя как личность, нужно наглухо закрыться.

Они не остались где-то позади, как наша общая квартира и фото отца на комод. Они уехали вместе со мной и продолжают меня мучить — бабушкино злопыхательство, ругань матери, ожесточенность Гизелы, пример Хельги. Они со мной, хотя бабушка умерла вскоре после моего бегства, и матери тоже давно уже нет в живых. Если бы я сама ожесточилась, это были бы ростки ожесточения Гизелы. Но я не ожесточилась. Я впала в глубокое уныние. Пример Хельги не пошел мне на пользу: я слишком усердно ему следовала.

Как сбросить с себя это бремя чужих жизней? Решительно жить своей собственной жизнью. Может, я недостаточно решительно жила своей собственной жизнью?

Потому что и бабушка, и мать, и ГДР, и ССНМ учили меня угождать другим? Потому что я не на-

училась угождать самой себе, искать свое счастье? Но я освободилась от того, чему меня учили. Я начала искать свое счастье. За счет дочери, за счет Каспара. Я предала их и бросила на произвол судьбы, предоставила Каспару одному тащить наше общее ярмо — магазин, занялась тем, что мне было по душе, поехала в Индию, потом пошла на курсы ювелиров, потом поваров и в конце концов начала писать. Когда пишешь, совсем не думаешь о том, как бы угодить другим. Думаешь только о себе. Нельзя писать для других — для читателей, или критиков, или издателей, для матери или бабушки. Пишешь для себя. Поэтому у меня ничего не получается с романом? Потому что другие не отстают от меня и продолжают меня мучить? Потому что я все же не смогла освободиться от того, чему меня научили? Потому что я до сих пор так и не научилась этому «для себя»?

Поэтому я и должна писать роман. Потому что должна научиться этому «для себя». И еще я должна бросить пить. Когда я пью, у меня такое чувство, как будто я пью *для себя*, как будто я уже — *у себя*. Как будто завтра или прямо сейчас я сяду за стол — и роман сам хлынет из меня, а может, этого вообще не понадобится, потому что я уже — *у себя*.

*

Интересно, нашла бы я кого-нибудь, кто помог бы мне избавиться от ребенка? Или я сама смогла бы это сделать? Пока такая возможность существовала, мне это не приходило в голову.

Вернее, приходило, но Лео не хотел об этом и слышать. Ему нужна она, говорил он, нужен ребенок; нужно только подождать. Они с женой давно уже чужие люди. Оба готовы к разводу. Но из-за его высокого положения развод должен быть безупречным, без копания в грязном белье, без риска, что его обвинят в непростительно легкомысленном отношении к браку. Если он сейчас бросит жену и сойдется со мной, это будет в глазах партии и судьи поступком, противоречащим моральным принципам строителя социализма. Он взял мое лицо в ладони, поцеловал меня и улыбнулся.

— Они не понимают, насколько это для нас серьезно. Я и сам не знал, что такая любовь вообще существует.

Что лучше — слабый Лео, который не способен постоять за свою любовь, или фальшивый Лео, который затеял со мной некую игру? Когда он сказал мне, что не может развестись с женой, — сейчас, когда она больна раком груди и справедливо упрекнула бы его, что он бросает ее в тяжелую минуту, он, как мне показалось, был в таком отчаянии, что я принялась утешать его. Он приехал в Берлин на какое-то заседание, мы встретились в кафе-мороженом, а потом сидели на скамейке в парке Монбизу, и он наконец заговорил об этом. Поскольку в кафе и по пути в парк он был в хорошем настроении и только на скамейке вдруг помрачнел, я отнеслась к его сообщению философски. Я подумала: либо его жене сделают операцию, либо она умрет от рака. Нам просто придется

ся набраться терпения и подождать. Это, конечно, не повод для веселья, но и не трагедия.

Уже через неделю он снова приехал в Берлин. Просто чтобы увидеть меня, и я обрадовалась этому и выпросила у Ингрид ключ от ее квартиры до вечера. Я встретила его на Восточном вокзале, мы поехали на Александерплац, прогулялись до Красной рагуши и пообедали в ресторанчике, расположенном в полуподвальном этаже. Я не спрашивала о том, что нас ждет, а он был таким веселым, что я подумала: он явно приехал с хорошими новостями и сам рано или поздно все расскажет. Мы пошли в квартиру Ингрид, и только в постели, когда он сказал, что мне не следует курить, ведь я жду ребенка, я наконец спросила, как нам быть дальше.

— Ты можешь ни о чем не беспокоиться. Я сам все организую.

— Что организуешь?

— Аборт делать уже поздно, ты не найдешь врача, который бы взялся за это на такой поздней стадии, и домашние средства тоже уже не помогут. Ты будешь рожать. В крайнем случае я возьму ребенка.

— Ты?

Я ничего не понимала. Я не понимала смысл сказанного, не понимала его вдруг изменившийся тон, его странную позу. Он сидел рядом на кровати, как совершенно чужой человек, и говорил со мной, как совершенно чужой.

— Даже не знаю, как тебе это сказать, Биргит... То, о чем мы с тобой мечтали, — утопия. Партия не поймет и не простит этого, а Ирма... Мы с ней отдали-

лись друг от друга, но она всегда была хорошей женой и была бы счастлива иметь детей и испытать радость материнства, и я не могу причинить ей такую боль — быть счастливым с тобой, построить полноценную семью. Это все равно что отнять у нее ребенка, о котором она так долго мечтала.

— Ты говоришь о моем ребенке?

Я вдруг почувствовала, что после его слов рухнуло, развалилось на куски что-то, во что я верила и что радостно предвкушала. Но я еще не понимала, что именно рухнуло, как рухнуло и что лежит под обломками. Он говорит о моем ребенке? Кто и у кого его отнимает? Что происходит с ним и с его женой? Что ему нужно от меня? Хочет ли он продолжения наших отношений, или это наша последняя встреча?

— Я позабочусь о тебе. Ты уже не можешь избавиться от ребенка. Ты должна рожать. Но тебе нужно закончить учебу, начать работать, сделать хорошую карьеру, и ребенок тебе сейчас совсем ни к чему. Мы с Ирмой возьмем его. Мы будем ему хорошими родителями. Я говорил с Ирмой. Она согласна.

— Ты хочешь отдать моего ребенка своей жене?

— Я думаю, я сумею уговорить Ирму, чтобы ты изредка могла его навещать. Сейчас мне трудно завести этот разговор, ты должна ее понять: ее переполняет обида, ревность. Но когда появится ребенок, все будет иначе.

Я покачала головой. Потом меня охватила нервная дрожь, я дрожала всем телом — от возмущения, от отвращения, от омерзения. Меня тошнило от Лео, от его лысины, от его интриг. Меня тошнило от его

предложения, и от его жены, и от мысли о том, что мой ребенок мог бы жить у этой парочки. Меня тошнило от себя самой. С этим человеком я хотела связать свою судьбу. Этого человека я любила.

У меня даже не хватило силы выдворить его из квартиры. Я молча оделась под его причитания — в чем дело, что случилось, напрасно я так себя веду, что он такого сказал, ведь в его предложении нет ничего оскорбительного — и ушла. Я оделась быстрее его и, промчавшись по лестнице вниз, спряталась во дворе. Я слышала, как он меня звал, что-то кричал мне вслед, спеша за мной, потом щелкнул замок на двери подъезда, и когда я через какое-то время вышла на улицу, его уже не было.

Он не мог мне позвонить, потому что у нас не было телефона. Он написал мне письмо, мол, я неправильно его поняла, он ведь просто хотел мне помочь, нам нужно встретиться и объяснить, он любит меня, нам не суждено жить нашей любовью так, как мы мечтали, но мы можем жить ею, как прежде, он попытается сделать мне квартиру. Я не ответила ни на одно из его писем, а когда он подкараулил меня у выхода из университета, я молча, гордясь своей выдержкой, прошла мимо с таким отсутствующим и неприступным видом, что через несколько шагов, после нескольких повисших в воздухе реплик он отстал.

Он был прав: делать аборт было уже поздно. Все врачи, к которым меня посылали подруги, отказались. Прыганье со стола и чай из можжевельника, болотного багульника и якобеи не помогли. Ковырять

себя вязальным спицами я не смогла. О поправках в закон, облегчающих аборт, еще только говорили, их приняли лишь через несколько лет.

Какое-то время я была близка к отчаянию. Тем более что тошнота и рвота мучили меня сильнее, чем я это представляла себе по рассказам подруг, имевших детей. Я даже задумалась, не принять ли его мерзкое предложение: Лео организовал бы квалифицированную медицинскую помощь, безопасные роды и все юридические процедуры, связанные с передачей родительских прав. Но потом вдруг как-то неожиданно, за субботу-воскресенье, наступила весна. И когда я в понедельник ехала в университет — под голубым небом и молодой листвой лип на Фридрихштрассе, — все мои страхи и сомнения как ветром сдуло. Сияло солнце, вместо запаха угля, стоявшего над городом всю зиму, в воздухе разливался аромат свежего весеннего утра, и было так тепло, что я сняла куртку и повесила ее на сумку. Я справлюсь. Я со всем этим разберусь — с беременностью, с родами, с учебой, с работой. И даже если мне придется отдать ребенка в чужие руки, я сделаю все, чтобы он не достался Лео. И сообщу ему, что родила его, но отдала не ему.

*

Часто ли влюбляются беременные женщины? Сначала меня мучили угрызения совести. Ведь мои чувства должны принадлежать ребенку, который растет во мне? Не обделяю ли я его?

Но как я чувствовала себя как женщина! Я всегда была довольна своим телом, насколько женщина вообще может быть довольна своим телом. Телом как чем-то принадлежащим мне. Теперь я была своим телом. Мои формы стали мягче, груди увеличились, волосы приобрели особый блеск, лицо светилось. Я с удовольствием смотрела на себя в зеркале и радовалась, когда мужчины смотрели на меня. А они смотрели на меня и не могли отвести глаз. Они вождедели меня. Я была воплощением жизни.

В мае моя беременность была незаметна. Она и потом еще долго оставалась незаметной. Не только потому, что я так одевалась, а еще и потому, что у меня был маленький живот. Я всегда занималась спортом, мышцы живота у меня были крепкими и эластичными. И ела я не больше, чем обычно. Определенную роль, возможно, сыграло и оттеснение беременности на периферию сознания. Когда живот все же стал заметен, начались каникулы. Я поехала к Пауле на Балтийское море и вернулась уже, когда все было позади.

Но об этом я пока писать не хочу. Я хочу писать о том, как я влюбилась. Я была беременна; после любви к Лео и отворачивания к нему я чувствовала себя выжженной пустыней, я не могла себе представить, что мне еще когда-нибудь понравится мужчина и я смогу влюбиться. Я наслаждалась этим чувством — что мужчины вождеделют меня. Но это была холодная радость. Если бы я и подпустила к себе кого-нибудь, то только для того, чтобы сделать ему больно.

В мае, на Троицу, был Слет немецкой молодежи. Пропаганды — хоть отбавляй: шествия колонн строевым шагом, процессии со знаменами, показательные выступления гимнастов, танцы, митинги с воззваниями и торжественными обещаниями и приветствия делегаций. Но была и молодежная радиостанция ДТ 64 с бит-музыкой и — впервые в ГДР — «Битлз», и народ танцевал на улицах и площадях. Из Западного Берлина пришли сотни студентов, которым было очень интересно пообщаться с нами, как и нам с ними. Кто-то пришел, чтобы поговорить о политике, о Берлинской стене, об объединении, свободе передвижения и свободе выборов, и мы как члены ССНМ доказали свою идеологическую твердость. Западные гости хотели знать, как мы живем, что нас интересует, как мы общаемся, что делаем во время каникул, как относимся к политике и кем хотим стать. Они задавали нам вопросы, которые мы и сами себе задавали, и это быстро сближало нас. В то же время наши ответы волновали их больше, чем нас, и поэтому мы тоже были взволнованы. Мы знакомились и вместе бродили по городу, сидели на Бебельплац, и в парке Монбизу, и на берегу Шпрее, говорили, танцевали и были очарованы друг другом. Это было острое, пряное чувство — сознание того, что ты в своей синей рубашке ССНМ вызываешь восторженное удивление и вожделение западногерманских студентов.

Каспара я встретила на второй день утром. Хельмут, мой секретарь ССНМ, велел мне явиться на Бебельплац для участия в дискуссиях. Он не без осно-

вания предполагал, что члены КХДС¹ захотят вступить здесь, перед Университетом имени Гумбольдта, в полемику со студентами ГДР. Так что мне пришлось обосновывать необходимость «антифашистского оборонительного вала» для защиты от переманивания кадров, подрывной и диверсионной деятельности, шпионажа и саботажа со стороны Запада, разъяснять важность мирного сосуществования как предпосылки объединения Германии, говорить о свободе выборов в ГДР. Каспар стоял, слушал, а потом вдруг вмешался в разговор.

— Зачем вы вообще говорите друг с другом? — спросил он удивленно. — Вы ведь уже всё знаете — что вы скажете в следующую минуту и что вам ответят. А если кто-то окажется не таким красноречивым, как его собеседник... — Он посмотрел на меня. — Или собеседница... Что это изменит?

Все растерянно уставились на него. Но тут же продолжили дискуссию, словно он ничего не говорил. Каспар еще немного постоял, как бы не желая слишком демонстративно уходить, а потом пошел дальше. Я проводила его взглядом. Он был в джинсах и рубашке; рукава наброшенного на плечи пуловера были завязаны узлом на груди. Он шел выпрямившись, небрежной походкой. Мне понравилась его походка и то, как он смотрел на меня и что он отметил мое красноречие.

¹ *Кольцо христианско-демократических студентов* — немецкая политическая студенческая ассоциация (нем. — Ring Christlich-Demokratischer Studenten, RCDS).

Потом я еще раз увидела его на Александерплац. У меня был талон на питание, который надо было предъявить у полевой кухни. Он не знал, что нужен талон, и встал в длинную очередь, а когда женщина с поварешкой объяснила ему, что без талона он ничего не получит, у него был такой разочарованный вид, что я не выдержала и попросила женщину дать ему порцию супа в виде исключения. Он поблагодарил ее, потом меня и пошел за мной с миской на площадь к Дому учителя, где сидело и ело уже много народу. Он стоял, как бы выбирая место, где устроиться, и я видела, что он медлит не потому, что ищет более интересных соседей, а потому что не хочет навязывать мне свое общество. Потом он все же сел рядом со мной, а когда подошли другие, он, потеснившись, придвинулся ко мне и по-свойски мне улыбнулся. Таков уж он был. Он никому не хотел навязывать свое общество, но, встретив ответное внимание, быстро находил с этим человеком общий язык и привязывался к нему.

— У вас просто перерыв или вы уже закончили работу?

— Вы имеете в виду дискуссию на Бебельплац?

— Да. Это ведь работа. И для КХДС, и для ССНМ. Полемика, которая ничего не меняет... Но вы молодец. Я с удовольствием вас слушал.

— Я не просто так говорила — я верю в то, что говорю.

— О, я совсем не хотел вас обидеть! — произнес он извиняющимся тоном, поставив миску на землю

и подняв обе руки. — Разумеется, вы верите в то, что говорите. И другие тоже верят в то, что говорят. Но мне кажется, дискуссии ничего не дают, если не говорить о том, почему ты веришь в то, что говоришь. И на что при этом надеешься, чего боишься, кто ты есть с этим мнением и кем бы ты был без него... Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Вы имеете в виду мечты людей?

— И их тоже. Не политические мечты, а личные.

Я молча работала ложкой, задумавшись о том, можно ли вообще отделить одно от другого, вспомнила о своей печальной истории с Лео. Каспар тоже снова принялся за свой суп.

— А у вас есть личные мечты? — спросила я наконец.

Он рассмеялся.

— Есть. Сидеть, например, вот как сейчас, и говорить не о социализме и капитализме, а просто беседовать и обедать в приятной компании.

— А на каком факультете вы учитесь? Кстати, обращение на «вы» для вас принципиально важно? У нас здесь все студенты друг с другом на «ты».

Для него это не было принципиально важно. Когда он представился, я подумала, может, он стесняется своего имени и потому предпочитает вежливую форму обращения. Но он тут же рассказал о трех волхвах, одного из которых звали Каспар, и о том, что он с детства привык и защищать свое имя, и гордиться им. Изучал он германистику и историю.

— Я люблю книги восемнадцатого и девятнадцатого веков, которые сегодня никто не читает, напри-

мер, таких авторов, как Карл Филипп Мориц или Фридрих Теодор Фишер. Я немного не вписываюсь в нашу эпоху.

— Поэтому и мечтаешь так, как будто политики вообще не существует. Мы не можем просто беседовать и обедать в приятной компании, пока вы отказываетесь от мирного сосуществования.

Он улыбнулся, и я прочла в его глазах: «Но мы же беседуем и обедаем вместе».

— Мы, в сущности, одно целое. Мы говорим на одном языке, и если тебе не по душе Мориц и Фишер, которые, может быть, не настолько приятны для читателя, насколько интересны, то уж Фонтане, или Дёблин, или Франк тебе наверняка нравятся. Ты на каком факультете?

Я тоже хотела изучать германистику, но мне выпал экономический факультет, и после двух семестров марксизма-ленинизма я начала изучать социалистический учет и бухгалтерию народных предприятий. Я много читала современную литературу, но Каспар был прав: мне нравились и Франк, и Дёблин, и Фонтане.

— А как насчет поэзии? Ты любишь стихи?

Он посмотрел на меня, понял, что я люблю стихи, просиял и начал декламировать:

Синь-лазурь весенних волн
Вновь сквозь ветры лентой вьется,
Дух знакомый, сладкий льется
По земле, предчувствий полн.
И фиалки видят сон:
Скоро сбросят снега крышу.

— Чуешь дальний тихий арфы звон?
О, Весна! Ты здесь!
Тебя я слышу!¹

Его не смущали удивленно-насмешливые взгляды окружающих, он был весь поглощен стихотворением — и мной. Декламируя, он не сводил с меня глаз, он не просто читал — он дарил мне это стихотворение, а вместе с ним — себя. Когда мы встали и пошли, он взял меня за руку, и я не отняла ее.

*

С полудня следующего дня и до конца слета мы почти не расставались. Я больше не показывалась на глаза Хельмуту и не принимала участия в диспутах. Мы с Каспаром бродили по городу, слушали выступления музыкальных групп, смотрели театрализованные представления, танцевали. Увидев группу гэдээровских и западногерманских студентов, одни — в синих рубашках, другие — в джинсах, мы присоединились к ним и за несколько дней завели множество интересных знакомств. Один вечер мы провели на квартире у Ингрид.

За этим вечером последовали другие. Чаще всего мы встречались у Ингрид, иногда ходили в театр или в кино, потом в пивную. Обычно нас было человек десять, иногда больше, иногда меньше. Среди них две парочки, остальные просто товарищи. Мы гово-

¹ Стихотворение немецкого поэта Эдуарда Мёрике (1804–1875).
Перевод Светланы Валиковой.

рили обо всем на свете, от любви до политики, обсуждали книги, которые они приносили с собой из Западного Берлина, и наши книги, которые мы давали им. Мы читали вслух любимые стихи и слушали любимую музыку. Благодаря пластинкам, которые приносил Штефан, я познакомилась с джазом, пластинки Маттиаса открыли мне Бенна¹, которого у нас не печатали, а Вестфаль так читал Гейне, что у меня сердце колотилось как бешеное.

Прочитав «Немного Южного моря» Канта, «След камней» Нойтша и «Описание одного лета» Якобса, наши западные друзья спросили нас, встречали ли мы когда-нибудь таких коммунистов, какими они предстают в книгах — преданных партии и с нерушимой верой в груди, но при этом не узколобых, прямых и честных, строгих к другим и к себе и всегда готовых выручить в беде, скорых на суровую критику, но и щедрых на поддержку и помощь, не помешанных на карьере, не жаждущих чинов и постов, свободных от тщеславия? Мы долго думали. На предприятиях, где мы работали, нам такие не попадались; большинство рабочих, с которыми мы там имели дело, были толковыми и надежными тружениками, но они думали о чести рабочего и о заработной плате, а не о партии, попытки которой руководить ими вызывали у них добродушную или злую иронию. Наши учителя были либо узколобыми фанатиками, либо честными и здравомыслящими людьми, держащими по отношению к партии осторожную дистан-

¹ *Готтфрид Бени* (1886–1956) — немецкий эссеист, новеллист и поэт-экспрессионист.

цию. У некоторых из нас были отцы и матери, состоящие в СЕПГ. И хотя с политической точки зрения они уважали своих родителей, но все же не могли не видеть слишком явных противоречий между преданностью партии и верностью профессии, с одной стороны, и дружескими и родственными связями — с другой, чтобы считать их идеальными коммунистами. Нет, мы не могли назвать примеры, которых от нас ждали.

Но от веры в новую эру меня освободил не этот опыт, и не «Диалектика без догмы» Хавемана¹, и не его судьба, и не травля Бирмана². Я не сама порвала со своей верой. Я даже не осознавала, что отхожу от нее. Она просто кончилась, как кончается зима с наступлением лета или голод с приемом пищи. Было слишком много более важных вещей: разговоры с друзьями, новая литература и новая музыка и то, что рождалось между мной и Каспаром. К тому же вера в новую эру мне не нужна была больше как прибежище, в котором я спасалась от своего дома с отцом-убийцей, с бабушкой, с матерью и сестрами. Я нашла прибежище в другом месте. Жизнь была в другом месте.

*

На первый вечер в квартире Ингрид я шла с замираньем сердца. Я не была там с того самого дня, когда порвала с Лео. Каспар, словно чувствуя мое со-

¹ *Роберт Хавеман* (1910–1982) — немецкий химик, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

² *Вольф Бирман* (р. 1936) — немецкий бард, один из известнейших диссидентов в ГДР.

стояние, взял меня за руку, пожал ее и улыбнулся. Мы встретились на станции «Фридрихштрассе». Обнялись. Еще во время слета молодежи мы иногда ходили с ним за руку, а прощаясь по вечерам, коротко обнимались. Но ни разу не поцеловались.

Мы сблизились; было ясно, что между нами зреет что-то доброе, светлое, но мы еще не знали, что это. Когда перед домом Ингрид он сжал мою руку, я поняла: он мог бы меня приручить.

Мы встречались не только в компании, но и вдвоем. Мы стали тем, что называется гёрлфренд и бойфренд, но до конца летнего семестра не признавались в этом даже самим себе, не говоря уже о других. Когда-то я хотела, чтобы мы с Лео стали парой, но это было глупое и искусственное желание; мне больше не хотелось обрести этот статус. Каспару мешал переступить черту его страх показаться навязчивым; он боялся не только внешнего проявления навязчивости, но даже чувств, требующих от другого больше, чем тот сам готов дать. Но мы были влюблены друг в друга. Я — с тех пор, как он в праздничной сутолоке, посреди толпы, самозабвенно, не видя и не слыша ничего вокруг, кроме меня, возложил к моим ногам стихи. А он, по его словам, влюбился в меня на Бельплац.

— А почему именно там?

— Потому что ты говорила о политике не с остервенением, как другие, а с легкостью. Как будто это просто игра. — Он покраснел. — А еще потому, что ты потрясающе выглядела. То есть ты и сейчас выглядишь потрясающе, но тогда я видел тебя в первый

раз. — Он смущенно потупил глаза, потом опять посмотрел на меня и сказал: — Ты самая красивая женщина из всех, кого я когда-либо видел.

Я рассмеялась.

— Можешь смеяться, сколько хочешь, но это правда.

Мы лежали в Трептов-парке, у самого берега Шпрее, на его выдавшей виды американской военной куртке. Опершись на локти, он обвел взглядом окружающий пейзаж.

— Красота, конечно, не главное... — произнес он задумчиво. — В Берлине многое не назовешь красивым, и в Восточном, и в Западном. И все же это хороший город.

Меня немного обидело то, что он сразу же поспешил приглушить сделанный мне комплимент, но я не подала виду.

— А что, по-твоему, главное?

— Желание делать что-то снова и снова. Например, снова и снова идти по какой-то улице. Снова и снова перечитывать какую-то книгу или слушать какую-то музыку. — Он сел и повернулся ко мне. — Снова и снова смотреть на чье-то лицо.

— А что вызывает это желание?

— Не знаю, — ответил он, медленно качая головой. — Вернее, иногда знаю, иногда нет. Например, твой взгляд, несколько секунд назад еще мечтательный, рассеянный и вдруг сосредоточенный, как взгляд флейтистки или скрипача, когда во время телетрансляции концерта неожиданно попадает в кадр. Или то, как смеются твои глаза, когда ты смеешься... Как

твои губы становятся тонкими, когда ты возмущаешься. Как горят твои щеки, когда ты волнуешься или только что пробежала пару сотен метров... — Он рассмеялся. — Когда мы на Александерплац неслись на электричку, я уже предвкушал эти твои пылающие щеки.

Я была вполне удовлетворена услышанным. Я вообще была довольна всем, что происходило между нами в эти два месяца, с середины мая до середины июля. Ему нужно было до полуночи успеть вернуться в Западный Берлин, у нас не было ни одной ночи, он не мог показать мне свой мир, мы никуда не могли вместе поехать. Но мы радовались тому, что у нас было: ходили в театр, гуляли в Монбизу или в Трептовпарке, валялись на берегу Шпрее на моем пледе, курили его сигареты, читали, говорили, обнимались.

Мне вполне хватало того, что мы имели, и не хотелось больше ни о чем думать. Ни о том, что будет дальше, ни о ребенке, ни о себе, ни о нас с Каспаром.

*

Ни об одной книге мы не спорили так, как о «Расколотом небе» Кристи Вольф¹. Кто был прав — Рита, оставшаяся в ГДР, или покинувший ее Манфред. Главным защитником Риты был мой одноклассник

¹ *Криста Вольф* (1929–2011) — немецкая писательница, действительный член Академии искусств, лауреат многих литературных премий, широко известна и признана во всем мире. Большой читательский успех принесли Кристе Вольф ее исторические и мифологические повести.

Фолькер, который сразу же после возведения стены бежал на Запад, а через несколько дней вернулся назад. Некоторых людей, говорил он, невозможно вырвать из одной почвы и пересадить в другую; в родной земле — плоха она или хороша — их корни, и только на этой земле они могут расти и развиваться. Ему возражали, что Рита не имела в этой земле таких уж глубоких корней; она приехала в город из деревни, бросив свою конторскую жизнь и решив учиться и стать педагогом. Маттиас и Штефан с одобрением относились к тому, что она, несмотря на недостатки социалистической системы, сохранила веру в идею социализма; христиане, мол, тоже верят в справедливость Бога, хотя в реальной жизни со справедливостью все не так просто. Гэдээровским студентам эта вера Риты казалась идеализированной и романтизированной, а западногерманские считали, что автор, изображая разочарование Манфреда, явно перестарался в стремлении разжалобить читателей. Что же это было за чувство, которое объединяло Риту и Манфреда и которое не помешало им расстаться? Политическая противоположность Запада и Востока, несовместимость социалистического и капиталистического образа жизни, разница в происхождении, положении и возрасте? Разность характеров? Или они просто разлюбили друг друга и стали друг другу чужими, как это часто бывает? Может, их небо расколосось еще до возведения стены? Был ли этот раскол результатом политического развития или все зависит от людей — быть небу расколотым или целым?

Второго июля мы лежали на траве на берегу Шпрее. Каспар принес шампанское и бумажные стаканчики.

— А за что мы пьем?

— За мой день рождения. И за будущий год.

Мы чокнулись. Я пожелала ему счастья, поцеловала его и вопросительно на него посмотрела. Что же нас ждет в будущем году?

— Для меня небо не расколото. Это Божье небо, оно высится надо мной, где бы я ни был — ты же помнишь это стихотворение Гейне¹. Я перееду сюда.

Я покачала головой.

— Если я тебе нужен.

Я обняла его за шею.

— Ты забыл, как там у Гейне дальше? Что звезды горят над ним в этом ночном небе, как поминальные свечи... Божье небо укрыло его, лишь когда он умер, — эти строки написаны на его могиле.

— Я узнавал: многие западные немцы переезжают в ГДР. Сначала они попадают в фильтрационные лагеря, их там проверяют, и, если они не шпионы, не идиоты и не уголовники, их через пару недель выпускают, и они живут здесь, как все остальные. Я вряд ли стану бравым социалистом и вряд ли сделаю солидную карьеру, но мне это и не нужно. Я найду себе занятие. Мы найдем себе занятие.

Меня вдруг охватил ужас. Я с содроганием представила себе, что остаюсь в ГДР. И у меня перед глазами вдруг со всей отчетливостью вырисовалось все, что родилось во мне за эти полтора месяца и чего

¹ Речь идет о стихотворении «Где?» Генриха Гейне (1797–1856).

я еще сама не осознавала. С ГДР меня больше ничто не связывало. Я больше не хотела никаких стараний и испытаний. Не хотела изучать экономику, тратить драгоценное время на ССНМ, студенческие бригады и помощь в уборке урожая, не хотела постоянно контролировать себя, кому и что я говорю. Я не хотела ждать никакой новой эры, никакой новой страны и никакого нового человека. Я не хотела ждать, я хотела жить. Я не желала довольствоваться крохотным клочком земли между Рудными горами и Балтийским морем — мне нужен был весь мир.

Я уже почти не слушала Каспара. Он говорил о профессиях и городах, о том, где и чем мы могли бы вместе заняться.

— Я хочу быть с тобой, Биргит, — сказал он, обняв меня. — День за днем. Хочу вечером засыпать, а утром просыпаться рядом с тобой. Скажи, я тебе нужен?

«Что он говорит! — думала я. — Только-только исполнилось двадцать, в первый раз по-настоящему влюбился... Переехать сюда и жить со мной... Что он знает о том, чего сам хочет?.. День за днем, вместе засыпать и вместе просыпаться — легко сказать! Мы еще ни разу вместе не засыпали и ни разу вместе не просыпались. Он спрашивает, нужен ли он мне. Я рада его видеть, слышать его голос, мне нравится прикасаться к нему, нравится, что он так предан мне, я знаю, что на него можно положиться, но любовь ли это? И станет ли это любовью, если я скажу «да»? Я не могу сказать «да», если мне надо будет жить с ним здесь, это я знаю. Я не хочу жить здесь — ни без него, ни с ним... Сказать «да», любить его, желать его — как

это все не вовремя! Что он говорит в своей наивности, в своем простосердечии, в своей преданности! Что он говорит!»

— Я не хочу, чтобы ты переезжал сюда. Ты сам не понимаешь, что говоришь. Ты тут не сможешь жить. Может быть, и смог бы, если бы хотел строить социализм. Но ты ведь не хочешь его строить. Я тоже не хочу здесь больше ничего строить. Я хочу на свободу.

Он не отстранился, не посмотрел на меня вопросительно, не стал возражать. Он молча стоял, обняв меня.

— Ну что ж... Тоже неплохо, — произнес он наконец тихо. — Значит, я вытащу тебя отсюда.

*

Я знаю, в этот момент я должна была сказать ему всю правду о себе. Я и представить себе не могла последствий своего малодушия. Что мне придется постоянно быть начеку, постоянно держать включенным некий ограничитель, проявлять осторожность в отношении Каспара, которая будет стоять между нами незримой стеной. Не потому, что я боялась нечаянно проболтаться. Просто когда я собираюсь открыть сердце и поделиться чем-то сокровенным, этому всегда предшествует момент внутренней остановки: а надо ли? Или, может, лучше оставить это в тайнике, дверцу которого я всегда держу закрытой и содержимое которого хотела бы забыть? Даже когда мы любим друг друга, я всегда начеку и не отключаю «ограничитель». Нам до сих пор хорошо друг с другом, но мы не потерялись друг в друге.

После того как я не сказала ему, что беременна, мне пришлось потом скрыть и то, что я родила дочь и что я с ней сделала. Не могу я сказать ему и то, что хочу ее найти. Когда я ночью резко просыпаюсь, а потом не могу уснуть и он спрашивает, что со мной, я отмахиваюсь. Он радуется, глядя, как я играю с детьми, но не понимает, что во мне происходит. Не понимает он и моего нежелания рассказывать и вообще говорить о том, что я пишу; он страдает от этого, ему больно, и мне тоже больно, оттого что я причиняю ему боль, но я не могу сказать ему, о чем я пишу — о себе, о своей дочери, о своей тоске по ней.

Я не знала, какие разрушительные последствия может иметь молчание. А если бы и знала, если бы могла просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, — что бы это изменило? Он хотел жить со мной; если не там, то здесь. Он хотел вытащить меня оттуда. Меня, а не меня с ребенком. Да и насколько это было возможно? Я не раз слышала о людях, которые бежали на Запад, спрятавшись в машинах, в поездах или на судах, через туннели, по Балтийскому морю, через чешскую или венгерскую границу, — все эти варианты не годятся для бегства с детьми, которые не могут долго сидеть в укрытии и не шевелиться; риск слишком велик. Да и захотел бы он вообще продолжать отношения со мной, узнав, что я жду чужого ребенка? Или что я, желая уехать на Запад и не имея другой возможности, готова предать и бросить своего ребенка? Какая женщина, какая мать способна на такое?

Я знала, что Каспар не просто изъявил готовность вытащить меня из ГДР, потому что его обязывала

к этому ситуация; это и в самом деле было для него нечто само собой разумеющееся. Я была нужна ему, и то, что я не попыталась освободиться из его объятий, когда он сказал: «Тоже неплохо», он воспринял как подтверждение того, что и он был нужен мне. Я не решилась поставить это на карту. К тому же я подумала, что наша любовь перенесет меня через все трудности и препятствия. Четкость, уверенность и решительность Каспара были настолько убедительными, настолько подкупающими, что я решилась. Это был прыжок. Я сбросила с себя все сомнения, как одежду на берегу, и прыгнула в любовь к Каспару.

С того самого дня, со второго июля 1964 года, дня его рождения, я люблю его. После окончания семестра он собирался на практику в издательстве, в свой родной город. Я сказала ему, что еду со студенческой бригадой на Балтийское море, где мы будем работать в пансионе. Мы договорились не писать друг другу: нам не хотелось, чтобы цензоры читали наши письма. Мне было грустно от предстоящей долгой разлуки, но я ее не боялась. Я не сомневалась, что вновь увижу его и что он вытащит меня из ГДР. Я была уверена в этом. И уверенность в его любви ко мне вселила в меня уверенность в моей любви к нему.

Мы провалились на траве у Шпрее до темноты. Рассказывали друг другу о своих родителях, братьях и сестрах, о том, что для него значила церковь, а для меня партия, чем мы увлекались и кем восхищались, о первых школьных романах и поцелуях. Ревновали друг друга к прошлому и смеялись над собой. Я хотела рассказать ему о Лео — не о том, как все произошло, а просто, что это было, но не решилась.

До конца семестра мы встретились еще раз или два. Но для меня второе июля стало «свиданием и разлукой»¹. Нам предстояла разлука, но мы заключили союз на всю жизнь. День был жаркий, и ночь обещала быть теплой. Волны Шпрее плескались о берег, где-то вдалеке кричали и смеялись дети, пел дрозд. Потом стало тихо-тихо. Каспар вполголоса, почти шепотом произнес:

И всё, лучась приветом,
под сумеречным светом
обнял ночной уют.
Мир кажется светлицей
с пылающей жар-птицей,
где беды стихнут и заснут...²

Я, закрыв глаза, с тихой радостью подумала, что у него хватит для меня стихов на всю оставшуюся жизнь. Мне захотелось уснуть в его объятиях и проснуться утром.

*

У Паулы была дача на Дарсе³. Ее дед перед войной построил там сарай, где хранил лодку и рыболовные принадлежности, а она пристроила к нему маленькую ванную, кухню и еще одну комнату. Интересно, эта

¹ Намек на известное одноименное стихотворение И. В. Гёте.

² Отрывок из стихотворения «Вечерняя песня» немецкого поэта и публициста Маттиаса Клаудиуса (1740–1815). Перевод Владимира Кормана.

³ Дарс — центральная часть полуострова Фишланд-Дарс-Цингт на южном побережье Балтийского моря.

дача еще существует? Ее ведь должны были снести. Паула, занимаясь обустройством дачи, меньше всего думала о строительном законодательстве, а местные власти закрывали на это глаза, боясь громких конфликтов с многочисленными дачниками, которые тоже нарушали все строительные нормы.

Дача находилась на берегу Боддена¹, на опушке леса, довольно далеко от моря, от пляжей и пансионов. Людей мы там встречали, только когда ходили за покупками, катались на велосипедах или гуляли по дальним окрестностям. Я была этому рада. Когда мой живот заметно увеличился, Паула стала ходить в магазин одна. Я не хотела, чтобы меня видели беременной, а потом спрашивали о ребенке.

С Паулой мы были знакомы с детского сада. Мы держались вместе, потому что нас обеих дразнили — меня за длинные косы, которые меня заставляла носить мать, а ее за красное родимое пятно на пол-лица, от правой щеки до виска. В политехнической средней школе мы сидели за одной партой и были неразлучными подругами, пока она не поступила в медицинское училище в Эрфурте; я же осталась в Берлине и заканчивала двенадцатилетку. В этом году, в октябре, она должна была начать работу; все лето у нее было свободно, и она пригласила меня к себе на дачу, еще не зная о Лео, о моей беременности и о Каспаре. Позже она мне призналась, что, как только увидела меня, сразу же заметила, что я беременна. Но спра-

¹ *Грайфсвальдер-Бодден* — залив на юге Балтийского моря у берегов земли Мекленбург — Передняя Померания.

шивать ни о чем не стала. Через две недели я сама ей все рассказала.

В ее дружбе и понимании я не сомневалась, но все же со страхом думала о том, как она отреагирует на мой рассказ и на мои намерения. Мы сидели на длинных мостках, протянувшихся от берега через камыши, свесив ноги в воду. Она всегда старалась сидеть справа от меня, хотя я давно уже привыкла к ее родимому пятну, и оно мне даже нравилось: благодаря ему ее усеянное веснушками лицо в обрамлении рыжих волос как будто светилось. Такой я представляла себе ирландскую Кармен. Она сидела рядом со мной так красиво, так спокойно и уверенно, что я оробела. Как торопливо, лихорадочно я жила, как быстро оказалась в омуте и как неожиданно приняла решение!

Я рассказала ей все: о Лео, о беременности, о Каспаре, о том, что больше не хочу жить в ГДР, и о том, что он решил вытащить меня отсюда. О том, почему не могу оставить ребенка себе и не хочу отдавать его Лео.

— А что ты собираешься с ним сделать?

— Оставить на пороге какой-нибудь больницы или детского дома или подкинуть какому-нибудь священнику.

Она коротко взглянула на меня, словно желая удостовериться, что я все еще сижу рядом.

— И что будет с твоим ребенком? Кто-нибудь усыновит его, или он останется в детдоме... Если будет плохо себя вести, переведут в другой, потом в третий, один страшнее другого. Тебе это безразлично?

— Я об этом еще не думала.

— Ну так подумай. Я не знаю твоего Лео, то, что ты мне рассказала о нем, не вызывает у меня восторга, и я понимаю твое нежелание отдавать ему ребенка. Но речь идет не о тебе, а о ребенке.

— Любой приемный отец, любой детдом лучше, чем Лео. Лео — подонок!

— Ах, Биргит... — Она покачала головой. — Как ты себе это представляешь? Ты не хочешь ребенка, не хочешь даже видеть его, и взять на руки, и дать ему грудь. Ты хочешь сразу же после родов сесть на велосипед и отвезти его к ближайшему священнику? Ты этого сделать не сможешь, это придется сделать мне. Я должна буду сыграть роль акушерки, а потом увести ребенка прочь — с глаз долой, из сердца вон?

— Я же говорю: я еще не думала над этим как следует. Время еще есть.

Она посмотрела на мой живот.

— Три месяца?

— Три месяца. Может, два.

Она перевела взгляд на воду и прищурилась, словно стараясь рассмотреть лебедей, или лодку с рыбаком, или баклана, сидевшего на полусгнившем столбике в конце мостков.

— Думать тут нечего. Надо решать. Но без меня ты ничего решать не можешь, потому что я нужна тебе. Мне все это не нравится — ни идея с подкидышем, ни сама перспектива для него — вырасти в чужой семье и тем более в детдоме. Если ребенок не нужен тебе, значит он принадлежит отцу. А ему он нужен. Кто тебе сказал, что он будет плохим отцом?

Не такой уж он подонок, если ты смогла в него влюбиться и спать с ним.

С того дня Паула не давала мне покоя. Как бы я ни осуждала отца — разве не лучше было бы, если бы он не погиб, а вернулся с фронта живым? Пусть Лео использовал меня. Но разве это не говорит о том, что он и в самом деле мечтал о ребенке и что он будет любить его и заботиться о нем. Я хочу бежать. Но разве не лучше было бы сначала довести здесь все до конца, а потом уже бежать, со спокойной душой и чистой совестью? Лео — негодяй, а я — жертва. Так ли это на самом деле? Еще неизвестно, кто кого в большей мере соблазнил. И почему я не предохранялась? Хотела привязать его к себе ребенком?

Что я могла ей возразить? Я знала, что мой ребенок ни в коем случае не должен достаться Лео. Я знала это своей головой и своим телом. Знала настолько твердо, насколько вообще можно что-то знать. И знаю это до сих пор. Я не машина для производства детей, а мой ребенок не предмет, который достают из этой машины, бросив в монетоприемник фальшивую монету. Я знаю, что бывают плохие приемные родители и жуткие детдома. Но бывают и другие, добрые, любящие приемные родители и детдома, в которых работают достойные педагоги. А если ребенку не повезет, он может вырасти настоящим человеком и в плохом детдоме.

Я уверена, что моя дочь не пострадала. Что она, когда я ее найду, окажется сильной, жизнерадостной и счастливой молодой женщиной. Если я ее найду... Почему эти поиски — такое тяжелое дело, почему

я никак не могу их начать? К тому же мне надо найти ее не слишком рано. Она должна стать уже относительно зрелой женщиной с определившейся жизнью, с семьей, с профессией, уже получившей от судьбы кое-какие уроки. Иначе как она сможет меня понять?

В конце концов Паула сдалась.

— Ну, не можешь, значит не можешь. Я увезу ребенка. Надо будет заранее одолжить у кого-нибудь машину.

*

Это лето на Дарсе навсегда останется в моей памяти светлым пятном. Я вставала рано, варила кофе и шла с чашкой на мостки. Часто наблюдала восход солнца, которое расцветчивало туман над водой и камышом и окрашивало нежным румянцем небо. Оно вставало из дымки алым шаром, а потом разгоралось в лазури ослепительным золотом, и я ложилась на спину на теплые доски мостков и смотрела ввысь, искала глазами утреннюю звезду, ждала орланов и слушала пение птиц и кваканье лягушек. Иногда засыпала.

Днем я тоже часами сидела на мостках, с удовольствием читала «Войну и мир», но продвигалась медленно и до конца так и не дочитала. Я то и дело погружалась в грезы, потом, встрепенувшись, читала дальше, но вскоре Наташины надежды, или Сони-на скромность, или неловкость Пьера опять возвращали меня к моим собственным мыслям и чувствам, и я опять уплывала куда-то вдаль. Я представляла

себе прощение с бабушкой, с матерью и сестрами, рисовала себе картины мести Лео, думала о бегстве, о реакции моего профессора, который мне нравился и которому нравилась я, вспоминала разговор с Фолькером о бегстве, о жизни на чужбине и возвращении, пыталась представить свою жизнь на Западе с Каспаром и без него. Я вспоминала детство, игру в классики на улице, малиновые карамельки в высоком стеклянном стакане в нашем магазине, булочки с изюмом в соседней кондитерской, карусель на рождественской ярмарке, высокие каштаны на школьном дворе, прием в пионеры и горделивую радость обладания синим галстуком. Вспоминала мучительную скуку воскресных прогулок. Тогда меня удручало это замирание жизни, сейчас я была счастлива оттого, что мне не надо было ничего делать — только ждать. Причем это было даже не ожидание: ожидание — это тоже действие, а я бездействовала. За меня трудилось время: оно шло.

В дождливую погоду я грезила в домике, лежа в шезлонге. Паула сидела за столом и зубрила. Она хотела стать участковой сестрой и готовилась к курсам повышения квалификации. И к моим родам — практические акушерские навыки были частью ее учебной программы, и ей предстояло отработать их на мне. Я слушала дождь — сначала робкое стаккато, потом оглушительную барабанную дробь яростного ливня, потом последние капли, падающие на крышу с ветвей осеняющих дачу деревьев. Иногда мы выбегали под теплый дождь и, вымокнув до нитки, со

смехом стаскивали друг с друга мокрые платья и прыгали в воду с мостков.

Там я полюбила лес. Моя мать никогда не водила нас в лес. А когда мы ходили в лес уже пионерами или членами ССНМ, нам нужно было выполнять какие-то задания, и все шумели и суетились. В лесу неподалеку от нашей лагуны царила тишина. Я слушала шелест ветра в кронах деревьев, потрескивание сухих веток под копытами косули или кабана и под моими шагами. Я жадно пила дыхание леса, тонкий аромат сухих иголок, которыми была усыпана земля, утренний запах прелой древесины, смоляной дух, исходивший от поваленных стволов, тяжелый, крепкий, чувственный запах грибов. Когда мы ходили по лесу вместе с Паулой, она собирала грибы. Она хорошо знала, какие из них вкусные, какие невкусные, а какие ядовитые. Я рвала ягоды: лесную землянику, мелкую кислую малину и ежевику. В отличие от лесов в окрестностях Берлина, здесь был подлесок и не только сосны, но и буки и дубы. Солнце и ветер неустанно колдовали над листвой; я не могла насмотреться на игру светотени. Она ежесекундно менялась, оставаясь в то же время неизменной — как море, как огонь, как озеро.

Однажды ранним утром я вышла из домика и увидела лису. Она не спеша бежала через луг от опушки леса. Повернув голову, она посмотрела на меня, как хозяин смотрит на расквартированных в его доме солдат, до которых ему нет никакого дела и которые вскоре пойдут дальше, и скрылась в камышах, словно отправилась купаться. Я бы охотно с ней поговорила.

*

Когда я позже рассказала Каспару о Дарсе, он загорелся желанием поехать туда вместе со мной, как только это станет возможным. Я не ответила ни да ни нет. А когда это стало возможным — когда после заключения Договора об основах отношений между ГДР и ФРГ¹ мы наконец получили возможность поехать туда, не опасаясь последствий моего побега, он опять принялся активно обсуждать эту тему, и мне пришлось сказать ему, что я не хочу. То лето было таким прекрасным, а картины и образы в моей голове настолько свежими и четкими, — я не хотела, чтобы их заглушили новые образы и воспоминания. Каспар не понял меня: все, что он видел и испытал без меня, он всегда стремился еще раз увидеть и испытать вместе со мной.

Еще труднее ему было понять, что я вообще не хотела ехать в ГДР. Я сейчас не хочу ездить и в другие страны. Не из-за образов и воспоминаний, которые хотела сохранить незамутненными или, наоборот, поскорее забыть. На гэдээровских картах Берлина Западный Берлин был представлен в виде большого белого пятна — терра инкогнита. В такое же белое пятно, в такую же терра инкогнита превратилась для меня после побега ГДР. Мне следовало бы изучать это пятно, но у меня нет желания. Хотя должно было быть. Первые двадцать лет моей жизни неразрывно связаны с ГДР. Как я могу воспринимать, пони-

¹ Договор от 21 декабря 1972 г.

мать, выражать себя, не признавая это время как часть меня? Как я должна писать о себе, о своей дочери? Нельзя сказать, что я вообще не интересуюсь ГДР. Я изучаю материалы о том, как жили сироты в ГДР, проблемы, с которыми сталкивались трудновоспитуемые подростки, детские дома, в которые их отправляли. Но я не хочу туда ехать. Ни к Пауле, чтобы узнать, к какому порогу она положила моего ребенка, ни к священнику, ни в больницу или сиротский приют, ни к приемным родителям. Жива ли Паула вообще? В последний раз я написала ей в семьдесят девятом году, и она вскоре после того оборвала переписку. Я перестала писать бабушке, матери и сестрам, но знаю по некрологам, присланным мне Хельгой, что мать с бабушкой давно уже на том свете и что Гизела перед самым объединением умерла от рака груди. Вполне возможно, что и Хельги уже нет в живых.

Я не хочу туда ехать. Я бы чувствовала себя так, как будто побег мне еще только предстоит, как будто я только что родила ребенка и отвернулась, когда Паула хотела показать мне его, как будто еще несколько минут назад ждала, когда Паула заведет «трабант» и уедет, чтобы утилизировать ребенка в условиях анонимности, которая навсегда лишит меня прав на него. Я знаю: я должна туда поехать. Это было бы началом поиска ребенка, моей дочери, и частью поиска меня самой. Я не найду себя, если не найду ее или хотя бы не сделаю для этого все, что в моих силах.

Я перечитываю написанное, и оно мне не нравится. Да, у меня есть причина искать свою дочь. Но если

все это для меня чрезвычайно болезненно, если все мое нутро восстает против этого, у меня есть и причина не делать этого.

*

Услышав шум мотора «трабанта», я почувствовала себя свободной. Я вытолкнула из себя то, что во мне выросло, и освободилась от него. Я была пустой и легкой.

Я не чудовище. Я знаю, что подобные чувства испытывают даже роженицы, которые хотят ребенка. Что они воспринимают свой плод не как маленькое существо, которое они любят, которое хотели бы приласкать, с которым хотели бы поговорить и толчкам которого они рады, а как некое растение. Не вредное, а просто инородное, которому там не место. Которое должно оттуда исчезнуть. Они мучаются при родах не потому, что поскорее хотят взять на руки своего ребенка, а потому, что хотят поскорее освободиться от этого растения. Я не испытывала никаких чувств к тому, что во мне выросло. Паула время от времени пыталась заставить меня положить руки на живот и установить с ним некую связь, проникнуть в свое собственное чрево. Я не поддавалась на ее уговоры. Но прилежно усваивала все, чему она учила меня, готовя к родам. Говорят, что при первых родах схватки могут начаться очень не скоро. У меня они начались скоро, и ребенок появился на свет тоже скоро. Это были легкие роды.

Я родила в два или в три часа ночи. Когда стих шум мотора, я услышала голоса первых птиц. Потом

рассвело, и я увидела, что это будет день с белым небом и бледным солнцем, в лучах которого расплываются все контуры и меркнут все краски. Меня это устраивало. У меня было такое чувство, как будто я быстро уменьшалась в размерах, становясь пустой и легкой. Я уснула, проспала до возвращения Паулы, проснулась и снова уснула. Не помню, сколько дней я провела в этом полусонном состоянии. Паула помогала мне во время послеродового восстановительного периода, научила, как сделать так, чтобы молоко пропало через неделю. Когда у меня не выдерживали нервы и я начинала реветь, она заявляла, что я сама виновата, что я честно все это заслужила, и отворачивалась от меня. Я и сама понимала, что честно заслужила все это. Не в том смысле, что я согрешила и должна была понести заслуженную кару. Просто я вляпалась в неприятную историю и теперь расхлебывала кашу, которую сама же заварила, а когда человеку тошно, ему хочется реветь.

Времени у меня было не много. В середине октября, к началу зимнего семестра, я должна была вернуться в Берлин. Я не знала, когда мы увидимся с Каспаром, когда мне нужно будет бежать, когда у нас с ним дойдет до постели и он увидит меня голой. Я сделала все возможное, чтобы избавиться от послеродовых растяжек. Теперь мне нужно было сделать все возможное, чтобы он не увидел меня с обвисшим животом.

Вычитав где-то, что беременные крестьянки после начала схваток шли с поля домой, рожали, а уже на следующий день снова работали в поле, я решила, что тоже так смогу. Как бы то ни было, при первой нашей

встрече Каспар ничего не заметил, а к тому времени, когда я через три месяца сбежала на Запад, мои последние растяжки исчезли и живот снова стал плоским и упругим.

Я была горда собой. Теперь меня мучает вопрос, не лучше ли было рассказать все Каспару сразу после бегства или даже раньше, в октябре? Или еще в июле, перед каникулами? Увы, я промолчала, я все скрыла. Однако все, что об этом можно было написать, я уже написала.

*

Паула. Я не хочу смотреть ей в глаза, не хочу, чтобы она просвечивала меня насквозь своим рентгеновским взглядом, не хочу с ней говорить, не хочу ехать к ней, искать ее. Но как мне узнать, к какому порогу она подкинула мою дочь?

Паула вскоре ушла из больницы и стала участковой сестрой. В последний раз она писала мне из Бризена. В сущности, нам не обязательно встречаться. Может, вполне достаточно будет написать ей? Выяснив ее адрес в бризенской администрации?

Дорогая Паула!

Ты тогда осуждала меня. Ты считала мое решение ошибочным и пыталась меня переубедить. Но не увещеваниями и поучениями — ты предлагала мне заглянуть в самое себя, почувствовать себя. Я не захотела. Мне не нужен был ребенок. Теперь он мне нужен. Я хочу увидеть свою дочь, сильную, жизнерадостную, счастливую женщину, какой она стала за эти годы.

Я хочу объяснить ей, почему тогда вынуждена была отказаться от нее. Я не собираюсь ни о чем ее просить — боже упаси! Наоборот, я хочу предложить ей себя — себя и все, что у меня есть, и надеюсь, что, может быть, что-нибудь из всего этого ей придется по душе.

Я пытаюсь писать книгу. Конечно же, о себе — о чем же еще!

Что я тогда собой представляла? Была ли я слишком незрелой, чтобы взять на себя ответственность за ребенка? И может, я поступила правильно, переложив эту ответственность на других? Был ли это просто эгоизм? Окупила ли моя жизнь на Западе то, что я могла бы дать своей дочери в Восточной Германии и не дала? Все это я хочу понять, работая над книгой. Я хочу предстать перед своим собственным судом и услышать оправдательный приговор. Все, что я пишу, будет безжалостной правдой.

К какому порогу ты подкинула ребенка? Конечно, мне следовало бы обсуждать все это с тобой не письменно, а устно. Я должна была бы приехать к тебе. Но я не могу. У меня пока нет сил вернуться в ГДР или в то, что от нее осталось. Как только я почувствую в себе эти силы...

Надеюсь, что у тебя все хорошо.

С сердечным приветом

А потом следующее письмо:

Многоуважаемый г-н пастор!

Вы, вероятно, еще помните, как лет сорок назад нашли у своего порога подкидыша. Это была моя дочь. Вы не могли бы помочь мне разыскать ее?

Я не собираюсь вторгаться в ее жизнь. Я хочу всего лишь предложить ей себя. Возможно, она и сама ищет меня.

С дружеским приветом

И так далее? Письмо за письмом? Воспитателям, приемным родителям, в детский дом? Захотят ли они вообще помогать мне? Наверное, они должны сначала спросить мою дочь, хочет ли она, чтобы я ее нашла? Или имеют право сами определять, насколько это в интересах моей дочери? Захотят ли они меня увидеть, прежде чем принять решение? Придется ли мне рассказывать, как все случилось? Во всяком случае, я могу написать в администрацию Бризена и выяснить адрес Паулы.

*

Моя дочь — энергичная, жизнерадостная, счастливая женщина? Зачем я все время это повторяю? Ведь я же изучала материалы, связанные с сиротами, трудновоспитуемыми подростками и детскими домами в ГДР. Я же видела ее фото.

Я думала, это я. Молодая женщина стоит на автобусной остановке в окружении парней в берцах и с татуировками и смотрит в объектив камеры, не заносчиво и сердито, как остальные, а с выражением превосходства и безразличия к происходящему. На университетской фотографии, сделанной во время церемонии посвящения в студенты, у меня точно такой же взгляд. Я не была такой, но мне хотелось так

выглядеть, на церемонии и на фото — с выражением превосходства и безразличия к происходящему. Я не могу положить эти два фото рядом и сравнить их; передо мной лежит лишь этот снимок автобусной остановки с граффити и бутылками пива и водки на скамейке и на земле, который я увидела по телевидению и который мне потом по моей просьбе прислали из редакции телеканала. Но я прекрасно помню ту университетскую фотографию, и у меня есть еще одно фото со мной из «Зэксише цайтунг», когда я была членом студенческой бригады. На всех трех снимках, казалось, запечатлена одна и та же женщина. Глядя на себя в зеркале, я узнаю себя в ней, хотя с тех пор прошел уже не один десяток лет.

У нас в доме нет телевизора; мы оба не хотели его покупать. Я увидела эту передачу случайно, у одной из подруг. В ней говорилось о потерянном поколении восточных немцев, которым в момент объединения было двадцать — двадцать пять лет: их прежнее образование ничего не стоило в объединенной Германии, а получить новое у них не хватало смелости или сил, и поэтому они, оставшись без работы, предавались пьянству, безделью и бесчинствам, избивали панков, или иностранцев, или бездомных. Ведущая передачи особо отметила ту немалочисленную часть из них, которые выросли в детдомах и не имели не только образования и работы, но и семьи.

Я справилась на телевидении, где был сделан снимок, — во Франкфурте-на-Одере. Может, мне надо было сразу же поехать туда и начать обход всех автобусных остановок? Спрашивать, искать? Привет, это

я! Мы с вами так похожи. Вы, случайно, не моя дочь? Не выпить ли нам вместе по чашке кофе или по кружке пива? Я родила тебя в 1964 году и бросила. Мне очень жаль. Я понимаю, тебе было нелегко. И сейчас тоже несладко. Не могу ли я что-нибудь сделать для тебя? Ты можешь приехать ко мне. К нам. Мой муж ничего о тебе не знает, но это не проблема.

Я так и не решилась. Да и где гарантия, что на снимке именно она? Сколько в жизни таких случаев ошеломляющего, потрясающего внешнего сходства! То и дело слышишь о каких-нибудь двойниках Элвиса Пресли или Билла Клинтона, а когда снимают фильм о Елизавете или о Линкольне, всегда находится актриса, как две капли воды похожая на королеву, или актер — вылитый президент. Чем чреватые для этой молодой женщины подобные неожиданные признания из уст незнакомой дамы и игры в дочки-матери, особенно если нет полной уверенности в том, что это именно она?

И почему моя дочь не может быть энергичной, жизнерадостной и счастливой молодой женщиной? Я читала, что Первая мировая война сделала сиротами миллион немецких детей, Вторая — полмиллиона, Вьетнамская война — миллион, а СПИД — от пятнадцати до двадцати миллионов во всем мире. Одни из них, вероятно, травмированы своим сиротством, другие нет. А сколько в мире знаменитостей-сирот? В жизни или в литературе? Нет, что бы ни испытала моя дочь, я не могу отказаться от этого образа — энергичной, жизнерадостной и счастливой молодой женщины. Хотя молодой ее, пожалуй, уже

не назовешь — сорок с лишним лет... Но как она могла бы понять меня, не имея никакого жизненного опыта? И все же я представляю ее себе молодой, такой, какой была тогда сама.

Интересно, что было бы, если бы она переехала к нам? Молодая женщина, выросшая и травмированная в детских домах, расслаивающаяся с сомнительными типами на автобусных остановках, пьющая пиво и водку, агрессивная и асоциальная? Как бы на это отреагировал Каспар?

Несколько раз за годы нашего супружества мне казалось, что Каспар знает это где-то в глубине души и так же прячет это от своей жизни, как я прятала это от своей. Я часто думала, что он не мог не заметить, что я скрываю какую-то тайну, и только из любви ко мне не пытался проникнуть в нее, пока любовь сама исподволь, намеками не открыла ему глаза. Что он разделил со мной мою тайну — ведь это можно делать без слов и жестов — и пронес ее сквозь многие годы. Что он именно поэтому всегда так бережно обращался со мной. Я знаю еще одну причину этой осторожности: его смутило, поразило мое странное поведение — то, что я бросила магазин, уехала в Индию, занялась ювелирным делом, потом кулинарией, писательством. Он не понимал, что мною двигало, и боялся, что все эти причуды оторвут меня от него. Он так бережно обращался со мной, потому что не хотел меня потерять. Но иногда мне казалось, что это не все.

В девятнадцатом веке, литература которого является для Каспара любимой средой обитания, люди

говорили гораздо меньше. Как и у нас в ГДР. Я имею в виду о высоких материях. С разговорами о страхах и навязчивых состояниях, о детских психических травмах, с дилетантской тягой к психоаналитике и психотерапии я впервые столкнулась на Западе. Женщины, страдающие оттого, что не могут проникнуть в душу мужчины, жалующиеся на своих мужей, которые замыкаются в себе и не желают говорить о своих внутренних проблемах, — на все это я насмотрелась в кругу друзей. Какая-то патологическая жажда все описать и объяснить! Как правило, я знаю, что творится в душе их мужчин, — достаточно внимательно посмотреть на них и послушать, что они говорят. Раньше этому учились, сегодня не учатся или разучились. Раньше пары чаще всего знали, о чем партнер не хочет говорить. Поэтому я иногда думаю, что Каспар тоже знает, о чем я не хочу говорить. Что мое молчание все же было не такой уж трагедией. Что когда-нибудь все же придет день или ночь, когда мы сольемся друг с другом и потеряемся друг в друге.

Как бы повел себя Каспар, узнав, что к нам переедет моя неблагополучная дочь? Стал бы запирать ценности, чтобы она не могла отнести их в скупку и купить себе алкоголь и наркотики? Спросил бы, как я себе все это представляю — ее проблемы с алкоголем в сочетании с моими? Пополнил бы наши запасы спиртного, чтобы мы пили дома, а не совершали совместные рейды по окрестным погребкам? Попытался бы приобщить мою дочь к чтению, принося из магазина книги и оставляя их на тумбочке

в ее комнате? А может, спросил бы ее, нет ли у нее охоты помочь ему в магазине? Пригласил бы ее в театр, в кино или на концерт? Да, он, без сомнения, все бы это делал. Он бы не стал навязываться ей. Если она не мегера, озлобленная и неприступная, он бы ее полюбил.

Почему, увидев ее несколько лет назад по телевидению, я столько лет сидела сложа руки? Сейчас уже поздно ехать во Франкфурт, чтобы забрать ее к себе.

*

Когда мы с Каспаром снова встретились в октябре, мы оба испытали огромное облегчение. Не потому, что все лето боялись, что разлюбим друг друга. Каким-то странным, удивительным образом мы с самого начала знали, что нас связывает серьезное, глубокое чувство. Но мало ли что может произойти за три месяца! Введение запрета на въезд в страну западных немцев, провокатор в кругу друзей, чей-то донос в службу государственной безопасности могут стать хорошим поводом запретить контакты гэдээровских студентов с западногерманскими, несчастный случай, приковывающий Каспара или меня к инвалидной коляске. Можно любить и потерять друг друга.

Мы снова стали жить той жизнью, которой жили летом: встречались у Ингрид с друзьями из Восточной и Западной Германии, ходили с ними в кино и в театр или, пока было тепло, валялись вдвоем на

траве в парке, потом гуляли по продуваемым холодным ветром улицам, сидели в кафе или пивных. Покупали на рождественском базаре сахарную вату, катались на карусели или чертовом колесе; Каспар делал вид, что не замечает убожества предлагаемых товаров и услуг, а я прощалась с детством и юностью.

Каспар ничего не говорил о своих поисках возможности бегства из ГДР. Когда все было готово, он объяснил мне, что делать. Я должна была купить путевку на одну из тех «экскурсий выходного дня» в Прагу, которые зимой 1964/65 года предлагались восточным немцам. С билетом и документами, которые он мне передаст, я должна буду пятнадцатого января сесть в поезд на Прагу и предъявить гэдэровским пограничникам свой паспорт, а чехословацким — уже другое удостоверение личности, с которым под видом западной немки поеду транзитом через Чехословакию в Вену. Каспару понадобились мое фото на паспорт, рост и цвет глаз. Приехав ко мне четырнадцатого января с фальшивыми документами, он изложил вторую часть плана: прибытие в Прагу, поезд на Вену, отель в Вене и вылет на следующий день в Берлин. Он будет ждать меня в Темпельхофе. Если во время моего путешествия кто-нибудь обратится ко мне со словами: «Интересно, что сказал бы обо всем этом бравый солдат Швейк?», я не должна удивляться: так задумано. Люди, доставшие ему документы, пошлют по этому маршруту своего человека. Потом Каспар дал мне дорожную сумку и шейный платок, купленные в Западном Берли-

не, и пачку «Мальборо» и велел на гэдээровской границе новую сумку спрятать в старой, а на чехословацкой — наоборот. И, надев платок, курить уже не «Ювель», а «Мальборо».

Я не спрашивала, кто и как достал для меня документы, для чего кто-то из этих людей поедет тем же маршрутом — не для того ли, чтобы дать взятку кому-то из пограничников? — и почему они могут ко мне обратиться. Мы с Каспаром говорили только о самом необходимом, причем говорили спокойно, словно нам не грозила никакая опасность и все должно было пройти как по маслу. Мне стало страшно, когда я узнала, что он перешел границу с моими фото для паспорта; мне было страшно, когда я ждала его обратно с готовым паспортом; я обомлела от страха, увидев себя в зеркале, — у меня на лице было написано, что я собираюсь бежать. Я была уверена, что это видно каждому. Он, судя по всему, тоже натерпелся страха, когда переходил границу сначала с фото для моего паспорта, а потом с готовым паспортом, потому что его могли обыскать, как это не раз случилось с ним и его друзьями из Западного Берлина. Четырнадцатого января мы оба старательно пытались скрыть друг от друга свой страх. А потом, прощаясь, необычно долго стояли, крепко обнявшись.

Бабушке, матери и сестрам я ничего не сказала и простилась с ними так, словно уезжала всего лишь на два дня в Прагу. Не потому, что боялась, что они выдадут меня, а потому что опасалась выяснения отношений с бабушкой и матерью и полного разрыва

с ними. Ингрид я обняла, пожалуй, чуть теплее, чем обычно. Та, внимательно посмотрев на меня, взяла мое лицо в ладони и сказала: «Удачи тебе!» Словно все поняла.

У меня щемило сердце от этих до боли знакомых картин, которые я видела в последний раз: тротуары и дорожки, по которым я шла в последний раз, Унтер-ден-Линден, вестибюль Университета имени Гумбольдта, поездка на городской электричке, деревянные сиденья и запах моющих средств, старая школа напротив нашего дома, трамвай, абрикосовые пирожные в витрине кондитерской. Даже дурацкая эмалевая табличка с тремя синими шевронами и надписью «Объект образцовой бытовой культуры, чистоты, порядка и дисциплины» на стене нашего дома на мгновение показалась мне родной.

В ту ночь я плохо спала. Мне снилось, что я куда-то еду и вдруг понимаю, что села не на тот поезд. Потом долго ждала на каком-то вокзале, где не видно было ни прибывающих, ни отправляющихся поездов, тащила чемодан по щебню, через рельсы к какому-то перрону, и, прежде чем я поднялась на платформу, поезд тронулся и уехал. Все мое тело было пронизано страхом: меня била нервная дрожь, под ложечкой сосало; я вздрагивала от любого звука или отблеска света. Наконец, к моей радости, забрезжил рассвет, наступил день, я сварила кофе, приготовила завтрак, и мы все как ни в чем не бывало сели за стол.

В пражском поезде было холодно. Я сидела в купе с пожилой супружеской парой и студентом и думала,

что во время паспортного контроля на нашей, а потом на чехословацкой границе они наверняка заметят, что у меня разные документы, что я меняю имидж как перчатки, пыталась представить себе, как они будут реагировать, и не знала, как мне быть. Но они вышли в Дрездене. Я осталась в купе одна, дрожа от холода и страха, смотрела в окно на леса, реки и горы и курила. Немецкий пограничник укоризненно покачал головой и помахал рукой, рассеивая клубы дыма в купе. Его чехословацкий коллега сморщил нос, отвернулся, вышел из купе с моими документами, закрыл за собой дверь и проделал все манипуляции с паспортом в коридоре.

Первый этап был позади. Я облегченно вздохнула. Но страх не прошел. А что, если немецкие и чехословацкие пограничники заговорят друг с другом о странной курильнице, которая не может быть одновременно и восточной, и западной немкой? Что, если они вернуться и арестуют меня? Или передадут информацию в Прагу и меня там прямо на перроне встретит полиция?

В Праге я боялась выходить из вагона. Потом меня мучил страх перед чехословацко-австрийской границей. После этого, казалось бы, бояться было нечего, но страх засел у меня в костях. В баре венского отеля я впервые в жизни пила, чтобы оглушить себя, и за ночь мой страх рассеялся. На следующий день я наслаждалась новыми ощущениями: взлетом и полетом — это было мое первое в жизни воздушное путешествие. Перед самой посадкой ко мне подсел

незнакомый мужчина и с улыбкой спросил: «Интересно, что сказал бы обо всем этом бравый солдат Швейк?» Потом взял мой западногерманский паспорт, похвалил меня, мол, я все сделала правильно, встал и ушел.

*

Я увидела Каспара через стеклянную дверь, ведущую из зоны таможенного контроля в холл. Заметив меня, он запрыгал на месте и замахал руками. Я помахала ему в ответ, и, когда вышла в холл, мы бросились друг к другу и обнялись.

Мы не виделись всего два дня, но как будто стали совершенно другими: мы находились в другом мире, мы были частью этого мира. Взяв такси, мы поехали в Далем. Каспар привел меня в свою комнату, достал из холодильника и откупорил бутылку шампанского, мы выпили, и он стал засыпать меня вопросами о моем побеге. Он хотел знать все. Но еще больше он хотел меня обнимать, целовать, ласкать. Он жаждал последней, долгожданной близости со мной. Мне хотелось гулять — по парку, по лесу, по берегу озера или реки, под дождем, который обещали серые тучи. Но я подумала, что я стольким ему обязана, и уступила его нетерпеливому желанию, его жадным, неопытным ласкам. Когда дождь забарабанил по оконному стеклу и по карнизу, я уснула.

Проснулась я среди ночи. Каспар спал рядом со мной, подтянув к животу ноги, в позе ребенка. Я вста-

ла, открыла окно, закурила сигарету. Мной овладело странное чувство: все как будто в порядке и все же что-то не так. Это никак не связано ни с Каспаром, ни с кроватью, ни с комнатой. Я уже не *там*, но еще не *здесь*. Я, конечно, привыкну. Мы переставим кровать и будем, лежа в постели, смотреть на крону дерева и на небо, мы найдем для меня стол и поставим его к окну, будем ходить по улицам — сначала обойдем наш квартал, потом начнем расширять радиус прогулок. В батарее парового отопления забулькало, и я вспомнила, что в мои обязанности дома входила растопка кафельной печи по утрам. Иногда хватало завернутого в газетную бумагу брикета — нужно было только как следует подуть на него, чтобы огонь разгорелся. Я вспомнила ночные звуки в нашей квартире: шаркающие шаги бабушки и торопливые шаги матери по коридору в сторону туалета, кашель Хельги — хронический кашель курильщика, бой часов, отмеряющий четверти, который казался мне в детстве красивым, а потом как будто немного осип, визг трамвая на повороте — последнего в начале двенадцатого ночи и первого около пяти утра. Я вспомнила свой диван. Мать и бабушка спали в одной спальне, Хельга и Гизела в другой, я — поскольку Хельга не захотела делить эту спальню со мной — спала на продавленном, неудобном, скрипучем диване в гостиной. Все это были не бог весть какие значимые воспоминания, но они вызвали во мне приступ такой жгучей тоски по родине, что я уже не понимала, почему я здесь, а не там.

Проснулся Каспар. Увидев меня у окна, он сел и спросил:

— Что с тобой?

— Ничего, — ответила я.

Этот вопрос он потом еще не раз задавал мне по ночам и получал тот же ответ. Даже когда миновал первый, острый этап моей тоски по родине. Так же как об этой тоске, мне не хотелось говорить с ним о своих мыслях о ребенке, о своей тревоге, связанной с учебой и профессией, о своих сомнениях относительно нас с ним. Первые недели оказались непростыми во многих отношениях. Три дня меня допрашивали в лагере для перемещенных лиц в Мариенфельде. Сумма, присланная Каспару родителями, была более чем скромной. Пять тысяч марок, которые он одолжил на организацию моего побега, нужно было возвращать. Студенческая община, в которой мы жили, была и хотела остаться сугубо мужской и требовала, чтобы мы как можно скорее освободили комнату. Хождение по инстанциям в связи с оформлением нового удостоверения личности, иностранного паспорта и полагавшейся мне как сироте материальной помощи тоже не повышало настроения: со мной обращались как с докучливым просителем. А покупки!.. Как беженка, я получила талоны на приобретение товаров первой необходимости, прежде всего одежды и обуви. Талонов этих хватало лишь на самые дешевые и уродливые вещи. И когда я пыталась купить что-нибудь более приличное, доплатив из своего кармана, мне в довольно бесцеремонной манере давали понять, что

мои вопросы и пожелания неуместны и что я должна брать то, что дают.

Каспар мужественно терпел мои ночные стояния у окна с сигаретой и мое молчание, сопровождал меня в моих походах по инстанциям и магазинам, ходил со мной на студенческие совещания, в приемную комиссию, чтобы я со следующего семестра начала учиться, переставил кровать, нашел для меня стол, заправлял по утрам кровать, убирал комнату, готовил ужин. Был ласков, тактичен, терпелив. Пока у него хватало терпения. Однажды я вернулась домой с маленьким радиоприемником; мне давно хотелось иметь такой приемник, и вот я наконец его купила. Не согласовав эту покупку с Каспаром. Он пришел в ярость. Как я могла потратить столько денег, зная, что мы еле сводим концы с концами? Он понимает, что это нелегко — начинать жизнь с чистого листа, но он тоже начинает жизнь с чистого листа: ему, скорее всего, придется бросить учебу и пойти работать, чтобы добывать деньги, а я веду себя как принцесса; так дальше продолжаться не может. Он все говорил и говорил и никак не мог остановиться. Нет, он не жалеет о том, что мы вместе, но мы должны быть *по-настоящему* вместе; если мы не будем держаться друг за друга, мы не выплывем; он готов бросить учебу, чтобы я могла закончить образование, но если нам придется жить в параллельных мирах — я в университете, а он на работе, — то нам тем более нужно быть *по-настоящему* вместе; поэтому, если он еще раз увидит меня ночью у окна с сигаретой, он схватит меня и бу-

дет трясти, пока я наконец не скажу, что со мной происходит; да, это жестоко, но ему плевать.

Мне стало страшно. Моя тоска по родине, моя боль от унижений в чиновничьих кабинетах и в магазинах, моя нерешительность в выборе факультета, моя досада по поводу нашей интимной жизни, которая никак не налаживалась, мои денежные заботы — все это было не более чем жеманство капризной неженки, которым я, как щитом, прикрывалась от необходимости жить. Жить с ним.

— Ты прав.

Он удивленно уставился на меня. Ему понадобилось несколько мгновений, чтобы убедиться в искренности моего ответа, в том, что я и в самом деле его поняла.

— Ты моя принцесса, — произнес он наконец, улыбнувшись. — Когда я сказал, что ты ведешь себя как принцесса, я хотел сказать...

— А как насчет королевы?

— Королева тоже неплохо.

— Давай просто начнем все сначала.

*

И мы начали все сначала. Я преодолела свою робость, рассказала ему, что мне нравится в постели и что нет, каких прикосновений я от него жду, какие роли хотела бы играть я и какие роли должен играть он, и он, легко усвоив все уроки, стал прекрасным, искусным любовником. Когда он видел меня стоящей ночью у окна с сигаретой и спрашивал, что со мной,

я рассказывала ему все, кроме своих мыслей о дочери. Правда, я теперь уже редко стояла ночью у окна. Мы долго говорили об учебе и о работе. Он сказал, что учеба не имеет для него особого значения и курсы книготорговцев его бы вполне устроили. Я сначала не верила ему и уговаривала его не бросать университет, но потом увидела, что он говорит правду, и мы начали присматриваться к берлинским книжным магазинам. Я поступила на германистику и театроведение в Свободном университете. Мы нашли маленькую квартиру — гостиная с печкой, неотапливаемая спальня, кухня с раковиной, служившей одновременно умывальником, туалет на лестничной площадке. Потом купили и установили на кухне душевую кабину.

До начала его курсов и моего первого семестра оставалось два месяца. Чтобы заработать немного денег и начать отдавать долги, мы устроились на работу в «Сименс». Каспар впервые в жизни работал на фабрике, я впервые в жизни работала на западногерманской фабрике. С иерархией здесь все обстояло иначе, чем на наших предприятиях, — более властное начальство, более строгий тон, более высокий темп работы. Вместе со мной работали еще две студентки. Старшие коллеги смотрели на нас немного свысока и говорили с нами добродушно-покровительственным тоном. Когда выяснилось, что я сбежала из ГДР, к покровительственному тону в отношении меня прибавилось легкое презрение, как к избалованной неженке, привыкшей, чтобы за нее работали другие. Постепенно я поняла, что все те унижения, которым

я подвергалась в кабинетах и магазинах, имели надежный фундамент и питательную среду. В университете на меня никто не смотрел свысока — ни студенты, ни профессора. Но когда я позволяла себе какие-то суждения, характерные для Восточной Германии, или употребляла какие-то типично гэдээровские обороты речи, лица у многих вытягивались. От меня явно ждали, что, сбежав из ГДР, я должна была сбросить, смыть с себя все «восточное» — как советское и коммунистическое — и стать такой, как они.

Это был облегченный вариант того, что позже испытали восточные немцы после объединения Германии. Сначала их радостно приветствовали как желанных гостей, с искренним интересом расспрашивали о том, как им жилось в ГДР, о том, какие там были порядки. Но их расспрашивали так, как расспрашивают человека, вернувшегося из далекого путешествия. Когда выяснилось, что они не просто совершили путешествие и вернулись домой, а вернулись из совершенно другого мира — мира, который их кое в чем не устраивал, но все же был *их* миром, который они сами строили и благоустраивали, с которым их многое связывало и связывает, — интерес мгновенно иссяк. Что?.. В ГДР кто-то что-то построил? Вздор! В ГДР не было ничего, кроме тирании, несправедливости и страданий; с тиранией, несправедливостью и страданиями покончено, угнетенные восточные немцы снова могли быть свободными, как западные немцы, и у них больше не было никаких причин быть другими. А если они, несмотря на это, все же остаются другими, то это уже безобразие и к тому же не-

благодарность, потому что к ним проявили неслыханную щедрость и столько сделали для того, чтобы они стали такими же счастливыми, как западные немцы.

Мы, восточные немцы, как раньше, так и сейчас, общаясь с западными немцами, предпочитаем оставлять за рамками общения все «восточное». Я сделала ГДР белым пятном, терра инкогнита не только из-за своей дочери.

Все это отравило мне университетскую учебу. Я была там инородным телом. На лекциях еще было терпимо; там мы все молча сидели, слушали и писали. Но на семинарах и коллоквиумах всегда были студенты, которые знали всё и даже больше, которые задавали правильные вопросы, давали правильные ответы и делали тонкие, остроумные замечания. Они были не просто умны — или прикидывались умными, — они были ловкими, гибкими, красноречивыми и ровно настолько высокомерными, чтобы мы, остальные, воспринимали это высокомерие как проявление подлинного превосходства. Я была не единственная, кто молчал, не единственная, кто опускал глаза, когда профессор обращался ко всей аудитории, не единственная, кто начинал заикаться, когда нужно было говорить. Но у других это была просто робость. Я же боялась сказать что-нибудь, что могло выдать меня как бывшую гэдээровку и вызвать одну из привычных реакций профессора: «А, наша восточная гостья!», или: «А что по этому поводу говорит Карл Маркс? Вы ведь наверняка это знаете?», или: «Здесь этому учат в гимназии, но вы ведь этого не проходили». Я боя-

лась, что кто-нибудь из этих ораторов-эквилибристов, заинтересовавшись моим экзотическим прошлым, заговорит со мной в перерыве и я буду чувствовать себя косноязычной душой.

И никто ничего не принимал всерьез. Я всегда хотела знать, кто автор, когда, зачем и для чего он написал текст, хотела знать, какое действие этот текст оказал на читателей сразу после публикации и как он воспринимается сейчас, хотела найти в нем себя, почувствовать, как он входит в меня и изменяет меня, увидеть, понять и полюбить его силу, красоту, величие. В университете никто не хотел понять и полюбить силу, красоту и величие текстов и не испытывал потребности почувствовать, как текст входит в тебя и изменяет тебя. Все занимались буквоедством, метафорами, символами и аллегориями, имманентностью и восприятием, структурализмом, синхронией и диахронией, социологическими и политическими аспектами, нарратологическими иностранными словами, за которыми скрываются разного рода банальности, например, что можно рассказать о чем-то посредством ретроспективы или перспективы, однократно или многократно, в прямой или косвенной речи. Я не понимала, что давал подобный подход к литературе — профессору, студенту, учителю, преподающему немецкий язык, детям, которых он должен учить.

Самым приятным в моей учебе было чтение. Каспар работал или сидел на своих курсах, а я валялась на кровати и читала. Я читала все, что нам задавали и рекомендовали, — не книги о литературе, а *литературу*. Во втором семестре я приняла участие в се-

минаре, посвященном «Доктору Фаустусу» Томаса Манна. Правда, на каникулах мне пришлось поработать, поскольку мы все еще не рассчитались с долгами, но две недели для чтения мне все же удалось выкроить. Я сидела на кровати, подложив под спину подушку, и читала. На тумбочке стоял стакан апельсинового сока с водкой. Я пристрастилась к этому коктейлю, после того как меня угостил им Штефан. Два кусочка льда, одна пятая часть водки и четыре пятых сока. Это было дешево и сердито: голова остается ясной, хотя сначала немного клонит в сон, но лишь на несколько минут. Я прочитывала двадцать-тридцать страниц, медленно погружалась в сон, просыпалась, прочитывала еще двадцать-тридцать страниц, снова засыпала и снова просыпалась. Прочитанное вместе со мной погружалось в сон и вновь всплывало на поверхность; сознание гасло и вновь прояснялось, книга несла меня сквозь сон и бодрствование, перемежаемые грезами. Ни до того, ни позже я никогда не испытывала такого погружения в книгу, такой растворенности в книге, такого слияния с книгой.

Я открыла для себя, что можно употреблять алкоголь, не выдавая себя запахом из рта. Каспар ничего не замечал и не видел ни полных, ни пустых бутылок. Он радовался, когда я рассказывала ему вечерами «Доктора Фаустуса», как многосерийный фильм.

После двух семестров я без всякого сожаления бросила университет. Мне тоже захотелось продавать книги. Я могла бы пойти на те же курсы, где училась Каспар, но мы уже решили как можно скорее открыть свой собственный магазин и рассудили, что

лучше набираться опыта в разных фирмах. Мы жили в Кройцберге; его книжный магазин находился в Целендорфе, мой в Шёнеберге, и мы по утрам, проехав на велосипедах часть пути вместе, разъезжались в разные стороны.

Для нас как бывших студентов курс обучения был сокращен с трех до двух лет. Мой магазин был маленьким, я быстро освоилась в нем, и уже через полгода хозяин часто оставлял меня одну. В училище я параллельно изучала книжное дело, полиграфию, бухгалтерию, экономику и организацию производства, обществоведение. От немецкого меня освободили: преподаватель решил, что моих знаний вполне достаточно. Мне нравилось два раза в неделю по полдня в свое удовольствие сидеть за партой, когда интересно — внимательно слушать, когда не очень — отключать внимание, думать о своем. Такое бывает только в школе и кончается в восемнадцать лет, а я еще раз стала школьницей в двадцать два года. У меня было чувство легкости и свободы, мы с Каспаром путешествовали по Берлину, познакомились с новыми людьми, и вместе с моим успешно выдержанным экзаменом мы отпраздновали выплату нашего последнего долга.

Потом Каспар получил маленькое наследство, мы начали поиски книжного магазина и квартиры; мы хотели детей, и я думала об этом с радостью и страхом. Через два года мы наконец нашли и магазин, и квартиру. Квартира нам досталась роскошная, но в жутком состоянии, магазин был меньше, чем хотелось бы, зато с большим складом во дворе. Мы отре-

монтировали и обустроили все почти исключительно своими силами — в квартире отреставрировали лепнину на потолке, заменили электропроводку, отциклевали и покрыли лаком полы, покрасили и облицевали кафелем стены, устроили теплоизоляцию, установили новое оборудование в ванной и туалете, а в магазине продолбили стену, соединив его со складом, вставили новые окна, соорудили антресоли и стеллажи. Мы дружно работали бок о бок, не ссорясь из-за неудач и трудностей, вместе радуясь успехам. И наконец пышно отпраздновали открытие магазина, а через год новоселье. Я помню, сколько тревог и волнений мы испытали вначале — не надорвемся ли мы с этим грандиозным ремонтом? Не откроется ли где-нибудь по соседству с нашим магазином филиал какой-нибудь огромной книготорговой сети? Хватит ли нам клиентов? Добьемся ли мы нужного товарооборота? Но все шло хорошо, наш магазин быстро набирал обороты, приобрел свое лицо, свой характер.

Эти далекие годы навсегда врезались в память. Холодное прокуренное купе, в котором я ехала из Берлина в Прагу, вид из самолета, в котором летела из Вены в Берлин, комната, в которой меня допрашивали в лагере для перемещенных лиц в Мариенфельде, класс в книготорговом училище, голые стены и горы строительного мусора во время ремонта квартиры и магазина — все это до сих пор стоит перед глазами. Картины более поздних лет бледны и не так отчетливы. Может, так бывает, когда жизнь протекает спокойно, плавно, без сюрпризов и потрясений? Когда в ней много места занимает алкоголь? Бедной со-

бытиями нашу жизнь не назовешь: мы арендовали маленький садовый участок с домиком, купили рояль для своей огромной квартиры и стали брать уроки музыки, занялись итальянским языком, устраивали публичные чтения в магазине, основали клуб любителей книги для взрослых и для детей, часто совершали путешествия — короткие, поскольку не могли надолго оставлять магазин на сотрудников; обычно мы ездили на два-три дня в европейские столицы. Я помню все, что с нами происходило. Но картин этих не вижу. Я ношу в себе разные «видеосюжеты», связанные с ремонтом квартиры, в которой я живу, или магазина, в котором часто бываю, хоть больше и не работаю. Но я не вижу Каспара или себя за роялем, на занятиях по итальянскому или во время путешествий. Эйфелева башня, собор Святого Петра или Тауэрский мост в моем сознании — как почтовые открытки или кадры телепередачи. Такое ощущение, словно над прошедшими годами стелется туман воспоминаний, который изредка рвется, образуя узкие прорехи, но в котором я могу двигаться лишь мелкими, осторожными шагами, боясь оступиться.

*

Даже Индия, великая перезагрузка сознания, не стала в этом смысле исключением. Я написала статью о Бхагване Шри Раджнише и его ашраме в Пуне, а через некоторое время после этого увидела в нашем магазине женщину в оранжевом одеянии с маленьким портретом бородатого мужчины в круглой дере-

вянной рамке, висевшим у нее на груди на длинной деревянной цепи. Я поняла, что это саньясинка, последовательница Бхагвана, и заговорила с ней. Она как раз только что приехала из Пуны и пребывала в полном восторге от всего, что видела и испытала. Она рассказала о лекциях Бхагвана, о группах, о медитации, о медитативных танцах и сексуальных практиках. Рассказала о своих страхах, о своем тщеславии, о своих успехах и о своем эго и о том, что Пуна освободила ее от всего этого. Когда я спросила ее, чем она теперь намерена заниматься, она улыбнулась и ответила: «Я в Здесь и в Сейчас. Здесь — это цель, а Сейчас — удовлетворение. Нужно только принять это. Принять и отпустить».

Она произнесла это как-то очень весело и определенно, потом посмотрела на меня, словно просветила насквозь, провела рукой по моим волосам, и я вдруг заплакала. Не знаю, почему этот образ — «принять и отпустить» — произвел на меня такое глубокое впечатление. Но я вдруг почувствовала, как во мне растет, ширится и становится все отчетливей тоска, жгучее желание отдать швартовы и выйти в море, покинуть родную гавань, оставить позади знакомые берега и затеряться в безбрежных синих просторах, стать самой собой, освободившись от эго. Я плакала и не могла остановиться, и она обняла меня. Когда я наконец успокоилась, она положила мне руки на плечи и рассмеялась, глядя мне в глаза. «Ты должна поехать туда!» — сказала она. Я, всхлипывая, посмотрела на ее смеющееся лицо и тоже рассмеялась, сначала робко, потом звонко. «Да, я должна поехать туда».

Каспар без лишних слов согласился на мой отъезд, и это одновременно обрадовало и огорчило меня. Я хочу, чтобы он уважал мою самостоятельность, признавал за мной право принимать решения и действовать по своему усмотрению, но я хочу, чтобы это стоило ему определенных усилий. Он сказал, что ему жаль расставаться со мной, что ему будет меня не хватать, что он будет скучать по мне. Но он сказал это так, как будто давно уже смирился с этим. В группе психотерапии в Пуне я обвиняла его в том, что он не способен дать выход своим чувствам, что он эмоциональный калека, тряпка, тюфяк, который подавляет свою и мою сексуальность. Обрушив свою злость на мужчину, который лицом и фигурой напоминал Каспара. И с которым я в тот же день переспала.

Потом я спала и с другими и думала, что поняла, что такое любовь, что она берет и дает радость, ничего не желая и не требуя, не пытаюсь удержать, что секс — спонтанный, естественный и осознанный — открывает дверь во Вселенную, что я через секс, оргазм, потом через танец, экстаз, кундалини¹ и, наконец, медитацию достигну духовной высоты, войду в тишину и оставлю позади свое эго. Когда я приняла саньясу² и получила малы³, мне дали и новое имя: Прем Сангия, Песня Любви. Я испытывала новую

¹ *Кундалини* — в йоге и эзотерике название энергии, сосредоточенной в основании позвоночника.

² *Саньяса* — этап жизни в индуизме, который характеризуется отказом от материального и сосредоточением на духовном. Человек на этапе саньясы называется «саньяси» или «саньясин».

³ *Малы* — буддийские четки.

любовь ко всему и новую радость от всего, что меня окружало. Утром послушать лекцию Бхагвана, днем сидеть у реки и медитировать, а вечером слушать музыку и танцевать — мне этого вполне хватало. Когда мне предложили остаться в ашраме и работать на кухне, я хотела написать Каспару, что не вернусь в Берлин.

Но я откладывала это со дня на день. Я сидела у реки и пыталась медитировать. Дни, когда мне это удавалось, относятся к самым прекрасным и отчетливым воспоминаниям о Пуне. Туман воспоминаний рвется, я вижу бурливый поток, слышу шум волн, пестрые птицы летают над самой водой, в которой отражаются голубое небо и белые облака. Мне все чаще удавалось ввернуть реке свои мысли, воспоминания, и она подхватывала их и уносила прочь. Но решение остаться в Пуне и не возвращаться в Берлин отвлекало меня, не давало сосредоточиться. Хотя я уже приняла его и мне оставалось лишь сообщить о нем Каспару!

Вернее, я его еще не приняла. Я рассказала об этом предложении саньясинкам, с которыми делила квартиру в Пуне, и они поздравили меня, сказали, что мне выпало необыкновенное счастье — близость к Бхагвану, его энергия, его ясность, динамика и музыка ашрама, работа с саньясинами. Они завидовали мне и даже не сомневались в том, что я приму предложение и останусь в Пуне. Так что это не я приняла решение — его продиктовали мне их поздравления и их собственные желания. Причем гораздо раньше. За месяцы, проведенные в ашраме, я заразилась чу-

жой тоской по жизни, свободной от рационализма и материализма, алчности и страха, от эго. Это была не моя тоска, я не верила в рациональность и не была привязана к материальному, у меня не было тщеславия и страха потерь, мне не надо было освобождаться от него. Бхагван, как я убедилась, нужен людям с Запада, для которых карьера, успех, престиж и богатство имели существенное значение, которые разочаровались во всем этом, стали искать просветления и снова принялись делать карьеру, добиваться успеха и думать о престиже в ашраме, что выражалось в большей или меньшей близости к Бхагвану, в большей или меньшей просветленности, в успешной или менее успешной организационной работе в ашраме, в важности или второстепенности их роли в занятиях учебных групп. Я была дитя «Востока», для меня все это не имело никакого значения.

Хотя я вернулась в Берлин не саньясинкой, я все же стала другой. Я отдала швартовы и вышла в море, покинула родную гавань и знакомые берега и потерялась в безбрежных синих просторах. Потерялась и снова нашлась — я нашла себя, мне не нужны были ни просветление, ни новое имя, ни оранжевое одеяние; я больше не хотела иметь детей, мне нравился мой мир, мне нравилась моя жизнь, вокруг было достаточно всего, что меня манило, в чем я могла попробовать свои силы, что мне хотелось делать. Я была рада снова увидеть Каспара, быть с ним рядом, утром и вечером, делить с ним постель и спать с ним. В остальном же я жила своей собственной жизнью. Окончила курсы ювелиров, но по специальности ра-

ботала не долго, потом стала поваром, но и на кухне не задержалась, наконец, начала писать, уединившись в маленькой комнате с окном во двор, — все это, конечно, больше похоже на бесплановое и бесцельное шатание, чем на настоящую собственную жизнь. Но мне — не знаю почему — каждый мой шаг казался верным. Возможно, мне сначала захотелось подарить дочери что-нибудь красивое. Маленький серебряный стакан — моя первая самостоятельная работа в качестве ювелира — мог бы стать подарком ко дню ее рождения. Потом я, наверное, почувствовала, что красивый стакан — это не самое важное для моей дочери, что гораздо нужнее ей нормальная еда. Еще важнее для нее обрести лицо, образ, стать личностью. Для этого мне нужно ее найти и предложить, отдать ей себя, и я надеюсь, что смогу это, если пишу об этом.

*

Свой роман я представляю себе так.

Часть I: Я

Детство и юность, Лео, Каспар, роды, бегство, учеба и книжный магазин, Индия, ювелирные курсы, кулинария, путь к писательству, писательство как поиски

Часть II: Поиски

Поиски Паулы, разговор с ней, след, вехи этого пути к цели

Часть III: Она

Наконец в один прекрасный день я стою перед заветной дверью, стучу в нее или звоню, и мне открывают. Она, или ее муж, или ребенок.

Я говорю, что хотела бы поговорить с ней. Меня спрашивают о чем. Я прошу разрешения войти, чтобы не объяснять все на пороге. Ребенок кричит: «Мама! Тут какая-то женщина хочет войти и что-то объяснить!» Появляется она, смотрит на меня с недоверием. «Слушаю вас». Я говорю, что это долгая история и мне не хотелось бы рассказывать ее, стоя на пороге или в прихожей. Может, она спросит, не случилось ли чего-нибудь с ее мужем, не связан ли мой визит с проблемами дочери в школе, или жалобами соседей, или еще какими-нибудь вещами, которые отравляют ей жизнь. Я отвечаю, что нет. Она впускает меня в квартиру, и мы будем стоять в кухне. Я хотела поговорить с ней с глазу на глаз. А если она скажет, что хочет говорить со мной в присутствии мужа? С чего мне начать? Известно ли ей, что ее нашли на пороге дома священника или сиротского приюта на Балтийском море? Это я подбросила ее чужим людям. Я ее мать. Я, конечно, не могу дать ей теперь задним числом все то, чего лишила ее, но, если я могу хоть что-нибудь сделать для нее, хоть что-нибудь дать ей, я была бы рада такой возможности. И если в ее жизни нашлось бы хоть какое-нибудь место для меня, я была бы ей благодарна.

Наверное, мне стоит заранее приготовить записку с моим именем, адресом и телефоном на случай, если она меня тут же вышвырнет? А что я скажу, если она

не вышвырнет меня, а просто выслушает с холодным презрением? «Извините»? «Мне очень жаль»? Не знаю, жаль ли мне и насколько мне жаль? Прошло столько времени, эта боль стала частью меня, срослась со мной. Я могу сказать ей, что понимаю ее враждебные чувства ко мне, достать из кармана записку, положить ее на стол и уйти. Если она, выслушав меня стоя, вдруг сядет, предложит сесть и мне и спросит, почему я это сделала, мне придется рассказать все как было. Если она после этого скажет: «Значит, вы предпочли жить на Западе, бросив меня здесь?», я пожму плечами. И еще раз объясню, что Лео был мне настолько противен, что я не хотела ее рожать и если бы смогла, то сделала бы аборт, даже если бы осталась в ГДР. Кроме того, я всего лишь уготовила ей судьбу, которая выпала на долю тысяч детей во время и после войны. А что я скажу ей, если она спросит, зачем я, собственно, ее искала? Я, конечно, могу заплакать и сквозь слезы сказать, что у меня болело сердце за нее, за мою дочь, плоть от плоти и кровь от крови моей, родную душу в буквальном смысле этого слова, ближе которой у меня никого нет. А что потом?

Все это праздные вопросы. Мне нужно не фантазировать, не пытаться представить себе эту встречу, а приближать ее. Чего я боюсь? Что уже от одного вида ее дома, в дверь которого я постучу или позвоню, у меня подкосятся колени? Что перед лицом судьбы моей дочери, услышав ее упреки и обвинения, я все же почувствую свою вину? Такую страшную, что не в силах буду ее вынести?

На моем столе уже несколько дней лежит невскрытое письмо из бризенской ратуши.

*

Паула жива. Отработав несколько лет участковой сестрой, она после объединения Германии познакомилась с одним берлинским врачом, которого очень интересовала Германия по ту сторону стены и который, желая увидеть ее своими глазами, в выходные дни колесил на машине по восточногерманским городам и весям между Балтийским морем и Рудными горами, Эльбой и Одером, пока в конце концов не застрял в Бризене из-за какой-то поломки. Они поженились и открыли в Ритцове маленькую практику, единственную во всей округе. Доктор Мартин Люкенбах стал настоящим сельским врачом, а Паула Люкенбах стала его ассистенткой, совмещая новое поприще с работой участковой сестры. Даже выйдя на пенсию, они вместе продолжали оказывать медицинскую помощь жителям окрестных деревень. Их адрес: Ритцов, Церковная площадь, 1.

Хорошо, что я написала лично бургомистру. Он охотно сообщил мне все, что знал о моей старой подруге. Она как участковая сестра пользуется уважением и любовью у своих земляков, ее всегда приглашают в Бризен на маленькие и большие торжества, и иногда она приезжает. Уже в немолодом возрасте она родила сына. Тот выучился на врача, и родители надеются, что он в ближайшем будущем продолжит их дело, возглавив практику. Молодежь ведь сегодня

не стремится в деревню. Но Детлеф Люкенбах довольно помотался по свету и теперь, вполне возможно, осядет в родных краях.

Я навела справки — два часа на машине или три часа двенадцать минут на поезде, потом еще одиннадцать километров пешком или на такси. Я поеду. Но сначала допишу первую часть романа, переработаю период от Лео до возвращения из Индии, дополню то, что было до и после того.

*

Прошло уже около месяца. Я не сделала ни того ни другого. Я каждый день колесила по городу на велосипеде, хотя не люблю, когда пальцы не гнутся от холода или течет из носа. В остальное время я, как парализованная, сидела за столом, смотрела во двор, на голый каштан, на соседние дома, на колокольню. У тебя депрессия, ты должна с этим что-то делать, сказал бы Каспар, если бы увидел, как я провожу время, но я стараюсь сделать так, чтобы он этого не видел, и поэтому он думает, что я просто слишком много пью. Он прав, я пью слишком много. Ну и что?

Я еще раз перечитала написанное. Сколько времени и сил я потратила вначале на поиски, сбор материала, комментарии! А нашла лишь то, что давно знала без всяких поисков. Воспитательно-исправительные дома и лагеря для трудных подростков в ГДР по духу своему мало чем отличались от всего остального. Рестораны, книжные магазины, университеты,

железная дорога — все было отмечено печатью уродства, убожества, узколюбости, поднадзорности, униженности, депрессивности. Я могла бы обойтись без этой подготовительной работы. Все равно это была глупейшая затея — узнать, представить себе все самое страшное, что с ней теоретически могло случиться, чтобы действительность не оказалась еще страшнее. Если бы сейчас была зима, я бы сожгла всю эту писанину в печке.

Все мои стихи поместились в одну тонкую тетрадь. Я сунула в нее камень, обмотала кожаной лентой-застежкой, пошла в Тиргартен¹ и бросила тетрадь в Ландвер-канал. Она проплыла несколько метров, словно стихи хотели еще немного подышать перед смертью. Потом они смирились со своей участью и пошли ко дну. Хоть Клаус любезно предлагал мне опубликовать их, ни одно из них недотягивало до того уровня, который меня устроил бы.

А роман? Почти за десять лет пара десятков страниц? От разочарования и злости я швырнула компьютер в стену. С тех пор я не нахожу в нем рукописи романа. Я пока еще могу на нем писать, но каждый раз, когда я сохраняю файл, раздается характерный звук и текст исчезает с экрана. Как будто все, что я пишу, улетает в какой-то бездонный колодец. Наверное, компьютер можно отремонтировать. Но то, что роман ускользает от меня, проваливается в какую-то бездну, меня совсем не удивляет. Может, теперь я смогу продолжить работу. Может, теперь я даже смогу

¹ *Тиргартен* — парк в Берлине.

поехать в Ритцов и начать поиски. Роман и поиски взаимосвязаны, и если то, что я пишу, бесследно исчезает, может, исчезнет и бремя поисков.

Ну вот, я в первый раз за несколько недель снова пишу. Потому что вернулась к апельсиновому соку с водкой? Я купила все сорта апельсинового сока, какие только нашла в магазине: из концентрата и свежавыжатый, светлый и красный, красный с грейпфрутом, красный с гранатом. С водкой мне больше всего нравится красный с мякотью. От вина мне следовало бы отказаться, потому что скрыть запах вина от Каспара мне не удастся. Я знаю, мне следовало бы отказаться и от водки, но она мне нужна, пока я не начну поиски.

Ах, Каспар! В последние недели, когда я не писала, я каждый день заглядывала в книгу, которую ты подарил мне к первой годовщине нашей свадьбы. Поэтический альманах. На каждый день ты нашел и выписал стихотворение. Многие из них коротенькие. Но есть и длинные, в том числе баллады. Какой труд! И, в отличие от магазинных календарей, в твоём «альманахе» нет стихотворений, которые бы мне не нравились. Каждый год семнадцатого мая вьётся лентой «синь-лазурь весенних волн».

Иногда, когда ты несешь меня в спальню и кладешь на кровать, я, проснувшись, украдкой смотрю на тебя. Потом ты сидишь на пуфе, устремив взгляд на меня, но мыслями где-то далеко-далеко. О чем ты думаешь в эти минуты? О детях, которых у нас не

было, о спутнице жизни, которой я для тебя так и не стала, о том, какой бы я была, если бы не пила? А может, о той молодой женщине, в которую ты когда-то влюбился? Я знаю, ты все еще любишь меня. Это для меня огромное утешение: можно долго говорить о том, кем или чем я не была в жизни, кем или чем не стала для тебя, — во мне все же есть что-то, благодаря чему ты до сих пор меня любишь.

Часть вторая

Когда он закончил читать, было уже далеко за полдень. Время от времени он останавливался, сидел какое-то время, пытаясь переварить, понять, осознать прочитанное. Она действительно так поступила? Она и в самом деле воспринимала его таким? Такой она видела и осознавала себя? И он этого не замечал? Она считала, что где-то в глубине души он все знает? Что это — знак ее любви? Или она просто пряталась от ответственности, пыталась облегчить себе жизнь, избавив себя от необходимости говорить с ним об этом, потому что он все знал? А что означают последние строки? Может, это был прощальный привет? Неужели Биргит все же покончила с собой? Нет, если бы это был прощальный привет, она написала бы эти слова в прошедшем времени. Они были просто приветом. Он, конечно, предпочел бы прочесть в этих последних строках не о своей любви к ней, а о ее любви к нему. Но как бы то ни было — она все же видела его любовь, и она была ей нужна. Это открытие наполнило его радостью и печалью, и он заплакал.

Он плакал безмолвно. Сидел с ослепшими от слез глазами перед открытым окном, в которое дул теп-

лый ветер, слушал звуки, долетавшие со двора, — звонкие голоса детей, игравших в классики, злорадный смех, вызванный чьим-то неудачным прыжком, шлепанье мяча по асфальту. В одной из соседних квартир кто-то беспомощно, но неутомимо разучивал на пианино *The Entertainer*¹, в другой громко ссорились.

За окном шла своим чередом будничная жизнь. И наверное, поэтому он вдруг увидел все, что между ними было и чего не было, сквозь призму этой обыденности. При всей их близости, между ними существовала огромная дистанция; он любил ее больше, чем она его, она хотела найти себя и отправилась на поиски без него, у нее были от него тайны, она спала с другими мужчинами, много чего начинала и ничего не завершила — ну и что? В глубине души он знал — не все, но кое-что видел и понимал: например, что она не способна была отдаться до конца и что никогда не принадлежала ему целиком. Они оба знали это, вместе несли бремя этого знания и в этом были друг другу близки.

Писала ли она и для него? Был ли ее роман завещанием на его имя? Должен ли он отправить рукопись Клаусу Эттлингу, если найдет ее? Во всяком случае, он мог найти ее дочь и предложить ей себя. Хотела ли она этого? Хотел ли он этого сам?

Он отыскал письмо бургомистра Бризена. Паула Люкенбах, Ритцов, Церковная площадь, 1, два часа

¹ *The Entertainer* (англ. — «эстрадный артист; конферансье») — самый известный регтайм американского композитора и пианиста Скотта Джоплина (1868–1917).

на машине или три часа двенадцать минут на поезде, потом еще одиннадцать километров пешком или на такси.

Ехать или не ехать — этот вопрос долго не давал ему покоя. Он в свое время чувствовал себя чужаком еще в отношении Биргит, хотя она охотно впустила его в свою жизнь. Ее же дочери он явно не нужен, для нее он уж точно будет чужаком. Или то, что он мог ей предложить, все же как-то оправдывало его вторжение? Может, и Биргит медлила, потому что задавала себе тот же вопрос и не находила ответа?

В конце концов он решился, потому что больше не в силах был выносить свое монотонное, безрадостное функционирование в пределах квартиры и магазина. Ему хотелось вырваться из этого заколдованного круга. Это было нехорошее чувство, желанию вырваться на волю не было оправдания, но оно было непреодолимо.

Он не нашел ни сайта, ни электронного адреса практики доктора Мартина Люкенбаха в Ритцове, только номер телефона. Может, стоило позвонить, представиться и спросить, можно ли ему приехать? А вдруг Паула не захочет этого и откажется даже говорить с ним по телефону? Если он приедет, ей будет не так просто от него отделаться. Он взял напрокат машину и поехал.

У Бризена он съехал с автострады. Ему захотелось посмотреть, где Паула работала столько лет. Большинство домов вытянутой в длину деревни выглядели более чем скромно и были окрашены в незатейливый характерный гэдээровский песочный цвет, некоторые выделялись крикливой желтизной или белизной; местами темнели вдоль дороги какие-то ангары или фабричные цеха. Довершала картину маленькая церковь с новой черепичной крышей на окаймленной деревьями площади, средоточие и своего рода стержень деревни. Каспар ехал медленно в надежде увидеть кафе или кондитерскую, чтобы выпить кофе и съесть булочку, но ничего подобного не обнаружил. Улицы словно вымерли. Родители были на работе,

дети еще в школе или, если уже успели вернуться домой, сидели за обедом, приготовленным бабушкой, больные лежали в постели, безработные копались в саду, или собирали грибы, или стояли с удочкой на берегу озера, обозначенного на карте. Каспар старался воспринимать эту пустоту не как нечто депрессивное, а как вполне нормальное явление.

Оставив деревню позади, он поехал дальше по холмистой местности, мимо засеянных кукурузой и подсолнечником или скошенных полей; иногда попадался небольшой лес, зеленый, но уже расцветенный первыми желтыми листьями, иногда деревушка со старинной церковью, сложенной из булыжников и кирпичей, и надо всем этим — широкое небо с вереницами облаков, из-за которых то и дело выглядывало солнце. Потом дорога прорезала холм, уподобившись глухому переулку, устремилась вниз к Одербруху¹ и пошла по равнине. Возвышение вдали, судя по всему, было дамбой, за которой должен был быть Одер. Каспар подъехал к дамбе и вышел из машины.

Тишина стояла такая, что он на мгновение задержал дыхание и осмотрелся, словно желая убедиться, что он не оглох и вокруг и в самом деле не было ничего, что могло бы издавать звуки. Потом он поднялся на дамбу. Внизу, вдоль заросших травой и кустарниками берегов катил свои сине-зеленые воды Одер. На противоположном берегу паслись гуси и овцы. Каспар сел на траву и стал слушать эту тишину: жур-

¹ *Одербрух* — местность в округе Меркиш-Одерланд, бывшая внутренняя дельта Одера.

чание воды, дыхание ветра, гусиный гогот, едва различимый шум мотора, то замирающий, то вновь нарастающий, — Каспар никак не мог определить, на каком берегу. Он подумал о Биргит. В груди у него вдруг вскипела злость и обида. Почему она ничего не сказала? Они могли бы отправиться на поиски вдвоем! Могли бы вместе сидеть на берегу Одера, наслаждаясь этой тишиной и ласковым солнцем. Он обнял бы ее, она положила бы ему на плечо голову...

Ритцов раскинулся у подножия холма, крутые склоны которого нависли над Одербрухом. Каспар насчитал около тридцати домов. Церковь-руина стояла без крыши, колокольня без купола. Скромное трехэтажное здание рядом с ней в стиле бидермейер когда-то было домом священника. Теперь в нем располагались частная практика и квартира доктора Мартина Люкенбаха.

Доктор принимал больных. Входная дверь была открыта, в коридоре сидели и стояли пациенты. Какая-то женщина указала растерянно озирающемуся Каспару на книгу записи на комод в конце коридора рядом с кулером и сказала, что ему надо записаться и его вызовут.

— Здесь у нас живая очередь, — пояснила она и, когда он записался и встал у стены в конце очереди, повторила: — Здесь у нас живая очередь.

Большинство пациентов были пожилые люди; две молодые женщины беседовали о новом салоне парикмахерши-турчанки во Врицене, трое детей уткнулись в свои смартфоны, молодой мужчина пытался

вступить в беседу женщин, но те не обращали на него внимания. Каспар поблагодарил женщину, указавшую ему на книгу записи, и она сообщила ему, что доктор относится ко всем одинаково, как к старым, так и к новым пациентам, и то, что он с Запада, видно только по его речи. Потом в конце коридора открылась дверь, из кабинета вышла мать с ребенком на руках, а вслед за ней рыжеволосая женщина в белом халате с красным родимым пятном на правой щеке — Паула. Заглянув в книгу записи, она вызвала следующего пациента и обратилась ко всем присутствующим:

— К сожалению, мы немного выбились из графика. У нас был один экстренный случай.

Ее голос, осанка, движения — все говорило о том, что она прекрасно осознает свой авторитет. Она оказалась выше и стройней, чем Каспар ее себе представлял. Не красива, но привлекательна благодаря своей уверенности и живости, подумал Каспар. Пересчитав посетителей и убедившись, что до него очередь дойдет часа через два, не раньше, он вышел во двор, подошел к церкви. Стены ее изнутри поддерживал металлический каркас, на земле лежали стальные балки, приготовленные, вероятно, для ремонтно-восстановительных работ. На колокольне, перекрытой плоской крышей, висел колокол. Каспар набрел на маленькую старую гостиницу под названием «Немецкое единство», на рекламном щите которой у входа предлагались азиатские блюда и пицца. Он вошел. За несколькими столиками поодиночке сидели муж-

чины и молча пили пиво. Один стоял перед игровым автоматом. Каспар поздоровался; не получив ответа, сел у стойки и заказал кофе с булочкой. Его обслужила хозяйка с азиатской внешностью. Церквушка с одним колоколом, старая крохотная гостиница, один-единственный врач — Ритцов был настоящей деревней. Продолжив осмотр, Каспар увидел магазин, в котором продавались яйца, молоко, фрукты и овощи, местный картофель. Потом он поднялся на холм и обнаружил старинное кладбище, обнесенное кованой чугунной оградой, откуда открывался прекрасный вид на деревню и на Одер.

Наконец он вернулся на площадь. Дверь дома Мартина Люкенбаха все еще была открыта, коридор опустел. Каспар вошел и сел. Через несколько минут Паула выпроводила из кабинета доктору женщину, которая объяснила ему, что здесь живая очередь, и посмотрела в книгу.

— Господин Веттнер? — с улыбкой произнесла она. — Вы последний. Будьте добры, закройте, пожалуйста, дверь.

— Вообще-то, я не пациент, — начал Каспар, возвращаясь от двери. — Я муж Биргит. Вернее, вдовец Биргит. Простите, что я вторгаюсь к вам без звонка или письма. Вы не уделите мне несколько минут? Я хотел бы поговорить с вами. Если не можете сейчас, я...

— Муж Биргит? Тот самый, к которому она уехала на Запад? — произнесла она с радостным любопытством.

Каспар облегченно вздохнул.

— Да, тот самый. Я нашел записи Биргит, и там она пишет о вас. И о своей дочери.

Паула кивнула.

— Я думала, рано или поздно Биргит приедет. А вместо нее приехали вы.

— Биргит написала в Бризен и узнала ваш адрес. Потом она умерла.

— От чего?

Он наморщил лоб.

— Как вам сказать? Нетерпение, алкоголь, снотворное, глубокая ванна... Это долгая история.

Паула кивнула.

— Поужинаете с нами?

— Спасибо. С удовольствием.

— Мне здесь надо еще навести порядок. Потом пойдем на кухню.

Она подняла лежавший на полу одноразовый стаканчик для воды.

— Давайте я займусь этим, — предложил Каспар.

Она кивнула, вошла в кабинет и принялась хозяйничать там при открытой двери. Каспар побросал в корзину для мусора все, что валялось в коридоре, поправил стулья и заменил пустую бутылку в кулере на полную, стоявшую рядом с комодом.

— Я вижу, у вас в этом деле есть навык.

— Мне приходится заниматься этим каждый вечер: у меня книжный магазин.

— Я помню, Биргит много читала. Она сохранила эту привычку до конца?

— С годами она стала читать меньше. Может, потому, что сама начала писать. Он хотела найти свою дочь и написать об этом роман.

Паула вышла в коридор и обняла его.

— Я вам очень сочувствую. Вы бы не приехали сюда, если бы не любили ее.

На кухне Каспар вымыл принесенные Паулой из огорода салат, помидоры и зелень, смешал творог с травами, нарезал хлеб и откупорил бутылку рислинга. Паула поставила на поднос посуду, хлеб, ветчину, колбасу и творог, салат, уксус, подсолнечное масло, и Каспар прошел вслед за ней с вином и графином воды в руках к стоявшему в саду столу. Грядки с овощами имели ухоженный вид, газон давно не косили, гортензии прекрасно выглядели даже с завядшими цветками, а яблони, под которыми стоял стол, были усыпаны мелкими яблоками. В саду все дышало уютом и покоем.

— А ваш муж не будет ужинать?

— Мой муж в отъезде. Он стал сельским врачом, но продолжает интересоваться онкогенными вирусами. Он занимался этой темой еще ассистентом и хотел стать профессором. Теперь ездит время от времени на конференции и возвращается грустным, но с чувством облегчения. Грустным, потому что тоже мог бы добиться успехов в этой области, с чувством облегчения — потому что вовремя унес ноги с этой ярмарки тщеславия. — Она заметила удивленный

взгляд Каспара и рассмеялась. — Вы спросите, кто сегодня принимал больных? Я, кто же еще. Мы тянем этот хомут вдвоем. Только не говорите об этом в ассоциации врачей больничных касс. Хотя там уже, наверное, давно это знают.

Она ела быстро, вино пила, как воду, но и воду пила стакан за стаканом. Насытившись, она откинулась на спинку стула.

— Ешьте, ешьте. Это я должна вам многое рассказать. Хотя потом и мне хотелось бы кое-что услышать о Биргит. Вы не принесете еще одну бутылку из холодильника?

Каспар отправился на кухню. Только теперь он заметил на стене над холодильником фотографию молодого человека с таким же веснушчатым лицом, как у Паулы, и серьезным взглядом.

— Это ваш сын — над холодильником? — спросил он, вернувшись с бутылкой и штопором.

— Да. Мы надеемся, что он примет от нас эстафету и продолжит нашу работу. Он прирожденный ученый, исследователь, его взяла бы любая клиника. К тому же наша практика далеко не самое лучшее, что можно себе представить. Дочь председателя нашего СХПК, который после объединения «прихватизировал» все хозяйство, учится в аграрном университете и вроде собирается перевести здешнее сельхозпроизводство на новые рельсы — регенеративные, экологические, комплексные. Это у них называется *beyond farming*. Детлеф и Нина когда-то любили друг друга. Сейчас он о ней не говорит, но и никакой другой кандидатуры на горизонте пока нет. — Она улыбну-

лась. — На это вся наша надежда. Вы не решаетесь спросить, почему нам не терпится сделать сына своим преемником. Почему мы не хотим, чтобы ему жилось лучше, чем нам. Мы несем ответственность за страну и за людей. И не только мы — каждый. Но у нас есть ум, чтобы осознавать эту ответственность, и возможность брать ее на себя, и мы достаточно зарабатываем, чтобы делать это без особого ущерба для нашего бюджета. — Она рассмеялась. — Мартин оборудовал в подвале кинотеатр. Мы сидим, как господа, а кино крутит видеопроектор.

— Вы хотите остаться здесь?

— Да. Нам хотелось бы больше путешествовать, иногда, может, уезжать на пару месяцев, но мы непременно возвращались бы сюда. Когда мы избавимся от практики, мы попробуем организовать здесь школу, детский сад, полицию, приличный супермаркет, священника. Потом, может, кто-нибудь захочет открыть здесь какое-нибудь небольшое предприятие. Когда-то здесь занимались обработкой текстиля, здешние женщины большие рукодельницы, а во всем Берлине не осталось ни одного ателье художественной штопки. Можно было бы... — Она опять рассмеялась, и Каспар отметил про себя, что ему нравится ее утвердительный смех. — Я люблю пофантазировать, — прибавила она, весело махнув рукой.

— Скажите... а... на каком пороге вы тогда оставили дочь Биргит?

— А вы бы смогли положить ребенка у какого-нибудь порога и уйти? Я не смогла. Я еще за несколько дней до ее родов позвонила Лео, и мы договорились,

что он и его жена возьмут ребенка. Я потом доехала до ближайшего телефона, сообщила ему, что готова передать ему дочь, и через шесть часов он забрал ее у меня.

— Не знаю, что смог бы и что бы сделал я. У нас с Биргит не было детей, мы не пытались выяснить почему, а приняли это как должное. Мне хотелось детей. Я был бы рад взять и ее дочь. Может, они смогли бы бежать вдвоем. Может, материнство уберегло бы Биргит от алкоголизма. Может...

Голос его пресекая, он жестом отчаяния или горечи поднял и опустил руки. Из глаз у него хлынули слезы. Паула встала, подошла к нему и прижала его голову к своему животу.

— Да... да... — произнесла она.

Потом, почувствовав, что он успокоился, погладила его по голове и вернулась на место.

— В своих записках Биргит спрашивала себя, не знал ли я обо всем этом где-то в глубине души. Я не знал. Может, я должен был знать, чувствовать это? Может, я должен был заметить тогда, летом шестьдесят четвертого года, что она беременна?

Паула покачала головой и наморщила лоб, словно желая сказать, что все это абсурд.

— Биргит не сильно утруждала себя мыслями об ответственности. Она думала о себе... Вы хотите найти ее дочь? — спросила она после паузы.

— Да, я хочу ее найти и сделать то, что хотела сделать Биргит: предложить ей себя. Может быть, она извлечет из всего этого хоть какую-нибудь пользу — из истории Биргит, из моего предложения. Может

быть... — Он улыбнулся. — Сколько раз я уже произнес «может быть»? Смерть Биргит, ее дочь, все эти открытия — у меня такое чувство, как будто моя жизнь проваливается в какую-то трясиину... Как будто она состоит из одних только «может быть»...

Тем временем стемнело. Паула составила все на поднос, отнесла в кухню и вернулась со свечой в стеклянном подсвечнике.

— Лео Вайзе и его жена дали девочке имя Свеня. При нашей коротенькой встрече они были взволнованы, безмерно счастливы, горели любовью и нежной заботой о ребенке. Как прошло удочерение, я не знаю, но он был первым секретарем и мог решить любые проблемы. Потом он пригласил меня на югендвайе¹. Народу было много, и на меня никто не обратил внимания, но я видела Свеню, хотя и не говорила с ней. Она выглядела очень веселой и была похожа на Биргит.

— Вы тогда прислали Биргит открытку.

— Да. «Шоколадница» очень напомнила мне ее. После этого я раза два была по делам в Ниски и ходила по улицам, присматриваясь к прохожим, но ее так и не увидела. После объединения я часто о ней думала. О ней и о других детях, получивших образование или профессию, с которыми они в ГДР могли бы жить припеваючи, но которые потом оказались совершенно бесполезными. Да и многим взрослым не повезло: всё, чему они учились в ГДР, оказалось

¹ Югендвайе — в ГДР гражданская конфирмация, праздник вступления в юношество (по достижении четырнадцатилетнего возраста).

никому не нужным. Но когда ты молод и у тебя ничего нет, хотя ты старался, учился, не жалея сил, это может стать серьезной травмой.

— Вы жалеете о том, что ГДР больше нет?

— Боже упаси. Может, я бы и жалела, если бы не встретила Мартина и мне не хватало бы той самостоятельности, которой пользовались участковые сестры в ГДР и которой их теперь лишили. Нет, я не прогадала! — опять рассмеялась она своим утвердительным смехом. — Если бы я не запрещала своим пациентам, они бы называли меня «фрау доктор». — Она посмотрела на часы. — Уже поздно. Переночуете у нас.

В семь она открыла практику. Каспара она разбудила в шесть. Они пили на кухне кофе и ели хлеб с джемом. Каспар вкратце рассказал ей жизнь Биргит. Паула сделала ему несколько бутербродов с ветчиной и сыром.

— Это вам в дорогу. Первым делом вы, наверное, захотите поговорить с Лео Вайзе. Если не ошибаюсь, его когда-то назначили первым секретарем Гёрлитца. Но советую вам сначала поискать его в Ниски, это по пути.

Прощаясь, он поблагодарил ее за гостеприимство.

— Я, честно говоря, боялся начинать эти поиски. Как и Биргит. Но благодаря вам они начались успешно.

— Позвоните мне, если найдете ее. А еще лучше — заезжайте к нам вместе с ней. Я была бы рада посмотреть на нее.

Он поехал в Ниски. Одербрух, цепь невысоких гор, дорога, прорезавшая холм и на минуту уподобившаяся глухому переулку, деревушки, просторные поля и перелески — местность уже была ему знакома, и он начал проникаться теплым чувством к ее не-

затейливой красоте. Особенно ему нравилось, когда деревни были расположены в низинах и весело приветствовали его снизу из-за черепичных крыш строениями колокольнями. Надо всем этим опять синело огромное небо, под которым Каспар чувствовал себя не потерянным, а нужным и защищенным. Так он в детстве представлял себе сельскую местность — поля, леса и деревни с колокольнями.

Он приехал на место далеко за полдень. На Цинцендорфплац в центре города он увидел старика, сидевшего на скамейке напротив церкви, и, подсев к нему, спросил, не знает ли тот, где живет Лео Вайзе.

— А зачем он вам?

— Мне надо с ним поговорить.

— Вы с Запада.

— Я из Берлина. Для Западной Германии Берлин — это уже восток.

Старик достал из кармана плаща пачку сигарет, закурил и закашлялся. При этом он качал головой, словно удивляясь, почему он кашляет, или почему он курит, или почему сидит здесь.

— Ваш Берлин на карте — мушиная какашка. Вот что такое ваш Берлин. И вы еще хотите учить нас жить?

— Я не хочу учить вас жить. Я и сам не знаю, как надо жить.

Старик глубоко затянулся, выдохнул дым и опять закашлялся.

— Вы не знаете, Лео Вайзе сейчас живет в Ниски? Может, подскажите его адрес?

— Вы корреспондент?

— Я ишу его дочь. По поводу наследства, которое ей причитается.

— Он был первым секретарем и хорошо работал. Сначала здесь, потом в Гёрлитце. — Старик с горечью рассмеялся. — Я тоже хорошо работал...

— А чем вы занимались?

— Я... — Старик умолк. Он слишком часто рассказывал эту историю, и рефлекс атрофировался. — Он живет на выезде в сторону Мюкки, где Эрнст-Тельман-штрассе переходит в Ниски-штрассе. — Он снова закашлялся и покачал головой. — Наследство? На Западе? Какое там может быть наследство? Ничего хорошего там нет...

Старый одноэтажный дом с маленьким палисадником, довольно большим садом и сараем стоял посреди таких же старых одноэтажных домов. Чердак был переделан в мансарду, штукатурка вместо обычного песочного цвета перекрашена в белый, а бурая черепица заменена на ярко-красную. Лео Вайзе был не богат, но и не бедствовал.

Каспар позвонил, прислушался, через некоторое время позвонил еще раз. Из-за угла дома вышла женщина.

— Что вы хотели?

Каспар представился и, узнав, что перед ним фрау Вайзе, сказал, что хотел бы поговорить с ней и ее мужем.

— Ну, проходите в сад.

По газетным вырезкам в папках Биргит Каспар представлял себе Лео Вайзе высоким, стройным, спокойным и приветливым. Грузный старик с опухшим лицом и маленькими глазами, которого он увидел в саду, не имел с тем Лео ничего общего. Этого мужчину любила Биргит, мелькнуло у него в голове. Если бы он развелся со своей женой, Биргит вышла бы

за него замуж. И меня бы здесь не было, я бы не встретил ее, не женился на ней. Может, его лечат кортизоном? Может, у него тяжелый ревматизм?

Увидев Каспара, Лео Вайзе тяжело встал, опершись на спинку стула, указал гостю рукой на второй стул, попросил жену принести еще один и, когда она вернулась, снова сел.

— Ваше имя?..

— Каспар Веттнер. Я вдовец Биргит, матери Свени. Биргит хотела найти Свеню, но умерла, не успев начать поиски. Для меня эти поиски — своего рода завещание, которое привело меня сначала к подруге Биргит, передавшей вам тогда ребенка, а потом к вам.

Супруги переглянулись, и Каспар прочел в их взглядах боль, досаду и воспоминания о разочарованиях и обидах. Потом Лео Вайзе отвернулся, взгляд его застыл, а лицо помрачнело. Его жена провела рукой по лицу.

— Биргит была — не в обиду будь сказано — легкомысленной особой, и у Свени это, как оказалось, тоже в крови. Может, Биргит с возрастом стала другой. А тогда она не просто соблазнила меня, она... — Он махнул рукой. — Ладно, все это уже прошлогодний снег. Свеня была славной девочкой, хорошей пионеркой, потом «юным санитаром», носила красный крест на левом рукаве и собиралась стать врачом, мы так радовались за нее... Ирма, ты помнишь, как мы за нее радовались? — Он посмотрел на жену. Та молча кивнула с закрытыми глазами. — Когда она была в ССНМ, она влюбилась в одного парня. На два года старше ее. Редкостный был говнюк! В ССНМ его не

приняли, потому что он был членом «Юнге гемайнде»¹, но и там долго не задержался, никому он там был не нужен — распушенный тип, болтал что-то там про анархию, обрил и покрасил полголовы, потом занялся торговлей наркотиками. Мы пытались поговорить со Свеней, верно, Ирма? Мы с пониманием относились к ее причудам и не ограничивали ее свободу, позволили ей сдать на права, подарили мопед «Ласточку», подержанный, но в хорошем состоянии. А она, вместо того чтобы путешествовать по нашей прекрасной стране — Рудные горы или Балтийское море, — носилась по городу и развлекалась тем, что пугала людей, наезжая на них. Потом пьяная попала в аварию... Мы думали, ну теперь она наконец возьмется за ум. Как бы не так! Все стало еще хуже. И в конце концов...

— Ты не должен был этого делать, Лео.

— Но ты же сама говорила, что так больше продолжаться не может, а что делать — непонятно. Она куда-то пропала, мы не знали, где ее искать, не могли с ней поговорить, она нигде не училась и не работала, жила с этим типом в каких-то пустующих квартирах, которые они просто взламывали. Помнишь, как ты ее целый день искала и чудом нашла в том доме, который был предназначен под снос, на Винтерштрассе? И как она орала на тебя? Что она, мол, задыхается в твоём доме, что умерла бы, если бы не ушла, и что теперь она наконец может жить... — Он покачал головой. — Ах, Ирма, ты же знаешь, как тяжело мне было

¹ «Юнге гемайнде» — молодежная католическая организация.

принимать это решение. Я подумал, что исправительная колония — это единственное, что я могу еще для нее сделать, и что она это поймет не сразу, а лишь потом, позже.

— Этого нельзя было делать. Надо было набраться терпения и ждать. Когда мне позвонили из полиции и я забрала ее на проходной, — да, она грубила мне и кричала, но это был мой ребенок... В машине она еще какое-то время ругалась, потом замолчала и в конце концов тихо сказала: «Спасибо».

— Ну да, а дома твой ребенок заявил, что это не ее дом, и разгромила свою комнату. — Он глубоко вдохнул и выдохнул. — Это было единственное, что я еще мог для нее сделать. И какой бы она стала, не посидев в Торгау¹, — лучше или хуже, — я не знаю...

— Зачем ты упрятал ее туда еще раз через шесть месяцев? Ведь она же...

— Затем, что она так ничего и не поняла.

— Ты помнишь, что говорил Рауль? Что она старалась и выдержала это испытание, потому что думала, что через шесть месяцев выйдет на свободу. А ты засадил ее еще на три месяца, и эти три месяца ее сломали.

На скулах у Лео Вайзе заиграли желваки, пальцы впились в подлокотники. Ему было уже лет восемьдесят, но в нем таилась еще недюжинная сила. «Интересно, на что он способен, если потеряет самообладание?» — подумал Каспар. Но он не боялся его. Тот,

¹ В г. Торгау (округ Лейпциг) находилась исправительно-трудовая колония для несовершеннолетних преступников.

судя по всему, вообще забыл о его присутствии. Похоже, фрау Вайзе сказала больше, чем обычно позволяла себе. Потому что в присутствии постороннего муж ничего не мог ей сделать? Неужели он способен на рукоприкладство в отношении жены и дочери?

— Когда она достигла совершеннолетия, ее выпустили... — продолжил Лео Вайзе, словно вспомнив о госте. — Она уехала в Берлин. Такие, как она, все подались в Берлин. — Он рассмеялся. — Но она там не осталась, все они потом вернулись. До объединения она работала на вагоностроительном заводе. Иначе села бы за решетку. Я знаю, что вы думаете, — в ГДР все было неправильно. Параграф двести сорок девять — правильный параграф. Кто может, но не хочет работать, должен быть наказан. После объединения она опять сошлась с этим типом, с которого все началось. Теперь он ходил с лысым черепом, в куртке-бомбере и берцах. И они терроризировали подростков с выбритыми и крашеными волосами и вьетнамцев. Били тараканов, как они выражались... А еще он торговал наркотиками. Причем в таких масштабах, что уже возомнил себя наркокоролем. Полиции он был не по зубам, но в девяносто первом его застрелили. Перед его же собственным борделем, где работали чешки. После этого Свеня пропала.

Ирма хотела что-то сказать, но Лео Вайзе выразительно посмотрел на нее и сказал:

— Ирма, надо же чем-то угостить нашего гостя. Кофе? Или твоим яблочным пирогом?

— Биргит хоть иногда вспоминала обо мне? — спросил Лео Вайзе, когда его жена ушла в дом.

— Пока Биргит была жива, я ничего не знал ни о ее дочери, ни о вас. После ее смерти я нашел ее записки, в которых она писала о вас.

— Она ведь была еще молода, ей еще жить да жить. Как это случилось?

— Несчастный случай. Она была без сознания и утонула. Вы когда-нибудь говорили Свене, как она к вам попала?

— А зачем нам это было делать?

— Я просто спросил. Могу я воспользоваться вашим туалетом?

Лео Вайзе сказал ему, как пройти в туалет: через кухню, рядом с входной дверью. На обратном пути Каспар остановился в кухне и посмотрел, как хозяйничает фрау Вайзе.

— Я могу взять поднос, — предложил он.

— Спасибо.

Она принялась резать пирог.

— В последний раз я слышала о Свене девятнадцать лет назад. Она жила во Франкфурте-на-Одере. Она позвонила мне и попросила денег.

— Вы видели ее тогда?

— Да. Мы встретились на вокзале. Она выглядела ужасно. У меня просто сердце защемило от ее вида. Я хотела поговорить с ней, помочь ей. Но ей нужны были только деньги. На прощание она меня поцеловала. Моя девочка... Поцеловала и ушла.

— А кто такой Рауль?

— Он заходил к нам много лет назад. После объединения он уехал на Запад, неплохо там устроился, встал на ноги и хотел видеть Свеню. В Торгау девушек и юношей держали отдельно, но иногда им все же удавалось пообщаться. Он оставил свой адрес, чтобы Свеня могла с ним связаться. Я потом дам вам его. А сейчас надо идти, а то Лео рассердится.

Они пили кофе, ели пирог. Разговор не клеился. Каспар спросил, чем интересовалась Свеня, чем она увлекалась. Ему скупно ответили, что она была хорошей спортсменкой, играла в волейбол и баскетбол, много читала — исторические, приключенческие романы — и, конечно, была хорошей пионеркой. Потом Каспар, не удержавшись, поинтересовался судьбой Вайзе после объединения.

— Они стояли перед зданием комитета и кричали: «Нет политике убийства городов!» Как будто это я угробил старый город! Девяносто процентов производственной мощности строительных предприятий шло на панельные коробки, таков был государственный план, тут я ничего не мог изменить. Никто тут ничего не мог изменить. А остальных десяти процентов было слишком мало для сохранения старого города.

— Вам ведь тогда было чуть больше пятидесяти — чем вы занимались после объединения?

— Меня выбрали от ПДС¹ в местный совет. Звали и в муниципальное управление. Но в Потсдаме были против моего продвижения в Гёрлитце. Потому что я, мол, был связан с госбезопасностью. Конечно, я был связан с госбезопасностью — а как я мог управлять городом без взаимодействия с госбезопасностью?

Ирма коснулась его руки.

— Если бы ты пошел в муниципальное управление, мы бы не смогли купить дом. Не было бы счастья, да несчастье помогло.

— Я работал в страховой компании «Фольксволь». Я знал своих людей, работал эффективно. — Он рассмеялся. — Если бы я был не просто связан с госбезопасностью, а служил в ней, я бы работал еще эффективнее. Эти парни любому могли впарить что угодно.

— Вы жалеете о том, что ГДР больше нет? — опять не удержался Каспар.

— Жалею? Что толку жалеть? Мы проиграли, вот и все. А что мы проиграли — один раунд или всю битву, или борьба еще продолжается, — я не знаю. Мы, конечно, наделали немало ошибок, на которых можно учиться. Я тоже в свое время выступал против Ульбрихта и был за Хонеккера. Я мало знал и мало думал. Думать надо! — Он вызывающе посмотрел на Каспара и постучал себя по лбу пальцем. — Думать!

Провожая Каспара, фрау Вайзе незаметно сунула ему в руку записку: «Рауль Бух, Бонн, 53125, Таубенштрассе 12, 0228411788».

¹ Партия демократического социализма (*нем.* Partei des demokratischen Sozialismus, PDS).

Вернувшись в Берлин, Каспар позвонил Раулю. Тот изъявил готовность встретиться с ним. В ближайшие дни он работает дома, и Каспар может приехать к нему после обеда. Они договорились на среду. Каспар с завистью отметил про себя его ловкую, уверенную манеру говорить по телефону — приветливо-деловым тоном. Сам он этому так и не научился.

Каспар поехал на поезде. Он выехал в дождь и прибыл в дождь. Проснувшись и взглянув на часы, он порадовался возможности еще немного полежать и послушать шум дождя. За окном мелькали мокрые города, площади, улицы, поля, и это наводило его на мысли о бездомной жизни Свени. Всегда ли ей удавалось найти жилье? Или иногда приходилось ночевать на улице? А в дождь — под мостом? А зимой — в подъездах или в торговых пассажах? Можно ли к этому привыкнуть? И если приспособиться к такой жизни, то это вовсе не так страшно? И когда-нибудь уже просто не сможешь иначе? Как он, например, не мог спать при закрытом окне.

Но ведь мы существа, которым нужен дом. И даже если мы кочевники и то и дело вынуждены ставить

и разбирать шатер, этот шатер — наш дом. Каспар вспомнил о собаке и кошке, которые какое-то время жили у них с Биргит. Собаку они нашли на дороге, раненую — ее сбила машина. А кошка прибилась к одной их знакомой, которая не могла взять ее себе. Как эти две бедолаги радовались, что у них есть дом! Каспар вспомнил, как они спали в обнимку рядом со шкафом. Что же заставило Свеню покинуть родительский дом? Возможно, Лео Вайзе был строгим отцом, но, судя по всему, он был вполне доволен поведением дочери, бравой пионерки, «юной санитарки», и не мучил ее принуждением к вере в социалистические идеалы. Ирма была любящей матерью, и Свеня не могла не чувствовать эту любовь. В доме Вайзе наверняка царило благополучие. Может, слишком мешанское благополучие? И Свеня захотела свободы? Или произошло что-то такое, что нарушило ее душевное равновесие? Может, потеря матери сразу после рождения? Но ему трудно было представить себе, что передача дочери Биргит Ирме и Лео Вайзе способна была оказать на душу ребенка такое разрушительное действие. Вряд ли Свеня могла что-то запомнить. Его собственные первые воспоминания, например, связаны с пятилетним возрастом.

Поездка сквозь дождь, капли, быстро или медленно растекающиеся по оконному стеклу, оставляющие короткие или длинные следы, — все это наполняло Каспара грустью. Капли оставались маленькими или, сливаясь с другими, становились большими, но все их рано или поздно сдувал со стекла ветер. Он, конечно, понимал, что дождевые капли не могут быть сим-

волом бренности и тщетности жизни, как не могут быть и подтверждением того, что люди тоже идут своими путями и не соединяются друг с другом, если их не бросает в объятия друг к другу ветер судьбы. И все же это зрелище причиняло ему боль. Идя по следам Свени, он шел и по следам Биргит. Он не знал, приближался ли он к Свене, он знал лишь, что Биргит удаляется от него. «Биргит не сильно утруждала себя мыслями об ответственности. Она думала о себе...» «Биргит была легкомысленной особой...» Он не верил ни тому ни другому. Но Биргит, которую он узнал из записок своей жены, Биргит, о которой она молчала столько лет, которую скрыла от него, теперь стала достоверной, обрела аутентичность, подлинность. Она была уже не просто письменным, бумажным персонажем. Она действительно существовала, далекая от него, чужая.

В Бонне он взял такси. Таубенштрассе находилась среди новостроек — белых домиков на одну или две семьи с маленькими садами из молодых деревьев. Когда они с Биргит еще надеялись, что у них будут дети, он представлял себе их будущую жизнь именно в таком светлом, уютном мире, где не было тайн, как в старинном пасторском доме рядом с церковью, в котором он вырос, никакого прошлого в виде оставшихся с войны руин и следов от снарядов, которые еще долго можно было видеть в Берлине, никакого груза истории, тяготевшего над многими домами и квартирами, а было нечто вроде белого, чистого листа, на который бы они стали наносить свою жизнь. Многим новостройки казались монотонными, безли-

кими, бесформенными, а ему хотелось именно этого. Даже Биргит не понимала, как это может ему нравиться.

Дом Рауля Буха имел две двери и два звонка — одна с надписью «Бух», другая — «КК». Каспар позвонил, ему открыл молодой человек, спросил: «Господин Веттнер?» — и провел его в полуподвальный этаж, в большое помещение с несколькими столами, компьютерами и стеклянной стеной со стороны сада.

— Одну минуту! — махнул ему рукой мужчина лет сорока, сидевший за одним из столов.

Молодой человек придвинул Каспару стул и сел за другой стол. Каспар остался стоять, глядя в сад, на маленький луг, на кусты и на капли дождя на стекле. Наконец Рауль Бух встал, поздоровался с Каспаром, извинился и провел его в маленький кабинет с тем же видом в сад.

— После того как Свеня вышла из Торгау, я встречал ее пару раз в Берлине. Это было давно. По телефону вы сказали, что ищите ее. Боюсь, что я не смогу вам помочь. Через несколько лет после объединения я попытался установить с ней связь, съездил к ее родителям, оставил им свой адрес и телефон, но она не откликнулась. Я даже не знаю, жива ли она вообще. Она принимала наркотики, вместе со своими друзьями терроризировала гомиков и иностранцев, развлекалась зацеперством, — это все не самые безопасные занятия.

— Ее мать сказала, что после первых шести месяцев в Торгау она, по вашей оценке, производила положительное впечатление. А дополнительные три месяца ее сломали.

— В Торгау никого не держали дольше полугода. Это было запрещено. Мы это знали, и это помогало нам выжить. Правда, бывали исключения, и кому-то добавляли срок. Но человек обычно верит, что его это не коснется, что исключениями станут другие.

— А то, что Свене добавили срок, это...

— Это было сделано по распоряжению ее отца. Как и ее первый срок. Вообще-то, перед Торгау все обычно уже имели некоторый опыт жизни в подобных заведениях, и это очень помогало. Или была моральная поддержка со стороны семьи... А без такого опыта, когда тебя вдруг вырывают из нормальной жизни, к тому же твой собственный отец... — Он покачал головой. — Одна процедура приема чего стоила! А для Свени это и подавно был шок. Раздеваешься догола, все сдаешь, стоишь по стойке смирно, тебя осматривают со всех сторон, как рабочий скот, потом получаешь робу — и в одиночную камеру с нарами и ведром. Тебе объясняют, как себя вести, правила внутреннего распорядка — наизусть. Три, четыре, а то и пять дней в одиночке, и ты понимаешь, что ты для них — кусок дерьма.

— А как вы познакомились?

— Во время переклички. В полшестого подъем... утренняя зарядка... заправка кровати... новости по радио... завтрак... Потом перекличка... — Перечислив пункты распорядка, отрывисто, с паузами, Рауль Бух вздохнул и улыбнулся. — Звучит по-армейски, верно? Да, там все было как в армии. Нас приучали к послушанию. Дисциплина, работа, беспрекословное подчинение воспитателям, коллективизм. Нарушителей наказывали. Ходьба на корточках по кругу,

отжимание от пола, приседания... Или особое удовольствие — драить пол в коридоре, палубной щеткой без черенка... Потом по коридору проводят группу, и можно начинать все сначала. Или карцер до двух недель. А если тебя невзлюбил воспитатель, ты можешь простоять на месте с утра до вечера. За пререкания можешь получить связкой ключей по голове. А лупили!.. Боже, как меня лупили! А еще лисья нора... Клетка...

Он умолк, погруженный в воспоминания.

— Клетка?

— Вы спросили, как мы познакомились. Во время переключки построение было общим — для парней и девушек, а работали мы рядом, хоть и в разных помещениях. Я обратил на нее внимание, потом написал ей, и она ответила. Правда, не сразу, а только с третьего раза. Контакты между парнями и девушками были запрещены, и обмен записками был делом рискованным. Но на кухне это иногда удавалось. К тому же у нас была воспитательница, которая по выходным смотрела на все сквозь пальцы. Сначала Свеня отнеслась к моим знакам внимания более чем скептически, потому что ей оставалось сидеть всего две недели и она боялась себе навредить. Потом, когда она вернулась, ей уже было плевать, как начальство оценивает ее поведение. Но тут подошло время моего звонка, и теперь уже я вынужден был проявлять осторожность. Но Свеня...

Он встал, подошел к письменному столу и, вернувшись с фотографией, протянул ее Каспару. Молодая женщина на фото очень напоминала Биргит — та же линия губ, те же темные глаза и темные воло-

сы, но выражение лица было другим: неприступное, вызывающее, манящее. Это была женщина, которой нужно добиваться, которую нужно завоевывать.

— Вы видите, со Свеней трудно быть осторожным. И свои последние две недели в Торгау я провел в карцере.

— А какой была ваша встреча в Берлине?

— А помнишь?.. А помнишь?.. Сначала этим все и ограничилось. Я закончил компьютерные курсы, потому что хотел вырваться оттуда и надеялся, что моя новая специальность станет для меня хорошим трамплином, и она им стала. Свеня примкнула к правым. Не ради политики, а ради насилия. Ей хотелось разрушить все, что разрушило ее. Я был бюргер, а она бунтарка.

— Но вы захотели увидеть ее после объединения.

Рауль Бух посмотрел в окно:

— Если бы я ее нашел и она согласилась, я бы не раздумывая на ней женился. Я выкарабкался, я добился успеха, у меня нет ни саксонского, ни берлинского акцента, я не говорю «бройлер» или «бригада», и никто не распознает во мне гэдээровца. Особенно когда я появляюсь на людях со своей женой. Она родилась и выросла в Бонне, у нее мелодичная рейнская фонетика, хороший вкус, целый склад туфель, и она хорошая мать. Но...

Каспар кивнул.

— Понимаю...

— Вряд ли вы меня понимаете. Вы думаете: он ностальгирует по ГДР, поэтому ему хотелось бы иметь рядом кого-нибудь оттуда. Дело не в этом. Свеня была настоящей. Мы все там были настоящими. Свеня

стала бунтаркой не от сытости, не от скуки и не потому, что это прикольно или круто. Она во все это верила и дорого заплатила за это. Мы все верили и дорого заплатили, даже сексоты, которые у вас теперь стали любимой темой. Ко мне «штази»¹, слава богу, никогда не приставали, иначе мне пришлось бы говорить «да» или «нет», пришлось бы делать тот или иной серьезный выбор, и я в любом случае жил бы с клеймом. Здесь, на Западе, не надо делать никакого выбора. Вам хорошо. — Он рассмеялся. — И мне теперь тоже хорошо. Хорошо, легко и скучно.

Он встал.

— Я вызову вам такси. Оно отвезет вас в город.

Он достал айфон.

— А где бы вы стали ее искать?

— Представления не имею. Я ведь тогда не только съездил к ее родителям. Я искал и в Берлине, и во Франкфурте, потому что кто-то сказал, что видел ее во Франкфурте. Как я уже говорил, я даже не знаю, жива ли она вообще.

Каспар показал пальцем на фото, которое еще держал в руке.

— Вы не могли бы сделать мне копию?

Рауль Бух взял фотографию, прошел в соседний офис, сделал ксерокопию и протянул ее Каспару. Потом проводил его к выходу и дождался вместе с ним такси.

— Если вы ее найдете — дадите мне знать?

¹ Нем. «Stasi» — сокр. от «Staatssicherheit» (государственная безопасность).

Рауль Бух не уточнил, какой именно Франкфурт он имел в виду, а Каспар не спросил, но это, скорее всего, был Франкфурт-на-Одере. Когда же был сделан снимок автобусной остановки, на котором Биргит узнала Свеню? Пятнадцать лет назад? Очень сомнительный след.

Биргит, которая изучала жизнь в детдомах и исправительных колониях ГДР, чтобы представить себе возможную судьбу своей дочери, и в то же время видела ее в своих фантазиях энергичной, жизнерадостной, счастливой женщиной; Биргит, которая не могла разобраться со своими большими страхами и маленькими надеждами и закрывала глаза на правду, — теперь Каспар понял, почему она так и не собралась отправиться на поиски. Потому что эти поиски на каждом шагу выбивали бы ее из равновесия. А как хорошо было бы, если бы она смогла писать и ее жизнь приняла бы ту форму, к которой она стремилась.

Домой он вернулся поздно. Ему не давала покоя мысль об издателе Эттлинге, и он сел и написал ему письмо, которое мысленно составил еще в поезде, глядя в дождливую тьму.

Уважаемый г-н Эттлинг!

Прошу извинить меня за то, что я так долго не отвечал на Ваше письмо. Причиной тому была не только скорбь, от которой я до сих пор не оправился. Я пока так и не нашел упомянутого романа. Передо мной — горы бумаги и защищенный кодом компьютер. Однако я все же обнаружил тексты, которые, возможно, представляют собой начало романа. В них идет речь о бегстве Биргит. Я буду информировать Вас о ходе и результатах поисков. Правда, у меня нет надежды найти тетрадь в кожаном переплете с лентой-застежкой, в которую Биргит записывала свои стихи. Но если мне удастся отыскать роман, который имел для Биргит такое значение и над которым она так долго работала, я был бы рад, если бы Вы опубликовали его.

Всего доброго.

С уважением,

Каспар Веттнер

На следующее утро он опять поручил магазин заботам сотрудников и поехал во Франкфурт-на-Одере. Районное отделение полиции находилось всего в пятнадцати минутах ходьбы от вокзала. В дежурной части перед стойкой беседовали полицейский и какая-то женщина. Женщина возмущалась своей соседкой, которая не бросала мусор в контейнеры, а оставляла его рядом с ними. Полицейский пообещал прислать патрульную машину. Когда, он точно сказать не может, но в ближайшее время коллеги зайдут к ней и во всем разберутся. Он был терпелив и приветлив, даже когда женщина заявила, что это

долгая история и совсем не то, чего она ждала. Обстоятельно собрав и уложив в сумку принесенные фотографии и карту района, она, не попрощавшись, покинула участок.

— Слушаю вас, — обратился полицейский к Каспару.

— Я ищу эту женщину, — сказал тот, положив ксерокопию фото автобусной остановки на стол и указав пальцем на женщину, которая могла быть дочерью Биргит. — Это автобусная остановка во Франкфурте-на-Одере.

— Да. А почему вы разыскиваете эту женщину?

— Возможно, это потерявшаяся дочь моей покойной жены. Я хотел бы ей помочь, если она нуждается в помощи. Глядя на это фото, не скажешь, что она счастлива.

Полицейский взял снимок, посмотрел на него и покачал головой.

— Это было давно, много лет назад. На этой остановке тусовались скинхеды. Напротив — автозаправочная станция, где всю ночь продается алкоголь.

— Да, снимок старый. Но это единственный след, который у меня есть.

Полицейский повернулся и позвал одного из коллег:

— Алекс! Подойди сюда на минутку!

Грузный мужчина, у которого из-за воротника виднелась татуировка, неторопливо встал из-за письменного стола и подошел к ним.

— Ну?

— Ты помнишь эту девицу?

Алекс долго разглядывал снимок.

— Помню, — кивнул он наконец. — Она у нас есть в картотеке. А что?

Первый полицейский объяснил, в чем дело. Алекс покачал головой.

— Вы не ее отец. Я помню ее. Когда она попала к нам в первый раз, ей было семнадцать лет, и мы позвонили ее отцу, первому секретарю Гёрлитца. Тот приехал и забрал ее. Но она потом убежала из дома, а когда мы взяли ее во второй раз, она уже была совершеннолетней.

— А за что вы ее взяли?

— Обычная программа: пьяный дебош, драка, разбитые бутылки на дороге, приставание к клиентам на заправке. А вы ей кто?

— Вы правы, я не ее отец. Но моя покойная жена была ее матерью. Семья Вайзе удочерила ее, и теперь я хочу найти ее и помочь ей, если она в этом нуждается.

Полицейский подождал, не скажет ли Каспар еще что-нибудь.

— Я не знаю, где она, — продолжил он затем. — В конце девяностых скинхеды разбежались. Кто получил специальность и пошел работать, женился, кто уехал в деревню. Тут появился один тип из Нижней Саксонии, все горланил националистические лозунги и подбивал скинов основать национальную деревню — мол, мы освоим одну крестьянскую усадьбу, другие поднимут другую... Есть и в самом деле парочка таких поселений.

Он сделал неопределенный жест рукой.

- И там я могу найти Свеню?
 - Там вы можете ее поискать. Где ее можно найти, я представления не имею. Когда-то она исчезла из нашего поля зрения, и, поскольку, пока она была здесь, она не раз привлекала внимание полиции, я могу предположить, что теперь ее здесь нет.
 - А как звали этого типа из Нижней Саксонии?
 - Полиция таких сведений не дает. Вы должны были бы это знать.
- Он повернулся и пошел к своему столу.
- Еще вопросы есть? — спросил первый полицейский.

В Интернете Каспар нашел статьи о националистических поселениях в Шлезвиг-Гольштейне, Нижней Саксонии, Мекленбурге — Передней Померании и Бранденбурге. Их было слишком много, чтобы ездить от одного к другому и спрашивать о том типе из Нижней Саксонии и о Свене Вайзе. Больше всего их было вокруг Гюстрова. Поэтому Каспар взял напрокат машину и начал поиски оттуда.

Священник послал его к директору школы, директор послал его к заместителю по работе с конфликтными ситуациями. Тот знал всех учеников из семей национал-поселенцев. Они отличались дисциплинированностью и прилежанием, не высказывали никаких общественных и политических мнений, хотя изредка проговаривались. Их родители тоже не афишировали свои взгляды, но, когда требовалась их помощь, охотно участвовали во всех школьных мероприятиях. Откуда эти семьи прибыли, заместитель директора не знал. Это могут знать Кегельманы, сказал он, супружеская пара, он скульптор, она художница. Обосновались в Перлевальке еще до того, как появились первые национал-поселенцы.

— Никто так хорошо не знает эту публику, как Кегельманы. Они в курсе всего, что делают правые, и каждый год в пику им устраивают музыкальный праздник. Вы легко найдете их дом — у входа стоит скульптурное изображение руки. Помните желтый знак — рука с надписью «Не тронь моего приятеля!»? Так вот эта скульптура очень напоминает желтую руку.

Каспар поехал в Перлевалк и нашел указанный дом. Рядом с домом чернели остатки сгоревшего сарая. Хозяин, отбиривший сохранившиеся доски, которые еще можно было использовать, рассказал, что его подожгли национал-поселенцы, в надежде выкурить его из деревни.

— Теперь я тем более никуда не уеду. Из принципа. Следующим летом мы опять устроим музыкальный праздник, и, может, нам удастся найти какого-нибудь нормального человека, который купит соседний дом, пока его не прибрали к рукам националисты. Вы, случайно, не хотите купить дом в деревне?

Каспар объяснил цель своего приезда.

— Да-да, конечно, я помню того типа из Нижней Саксонии, — кивнул Кегельман. — Он побывал тут в каждой деревне, и везде его поднимали на смех. Собирать по улицам скинов и устраивать с ними национал-поселение — чушь собачья! По-моему, он сам вырос в одном из таких поселений. Представьте себе: у прадеда-эсэсовца усадьба в Нижней Саксонии, дед, депутат от Немецкой имперской партии¹, наследу-

¹ *Немецкая имперская партия* (нем. Deutsche Reichspartei) — крайне правая национал-консервативная партия ФРГ, действовавшая в 1950–1964 гг.

ет эту усадьбу, отец покупает для брата соседнюю усадьбу, чтобы сделать из деревни национал-поселение, и организует Патриотическую немецкую молодежь¹. Потом усадьба достается в наследство старшему сыну, а младший — наш доблестный нижнесаксонец — отправляется искать счастья на чужбине, как это всегда бывало с младшими сыновьями. Свое счастье он ищет на Востоке, а параллельно продолжает дело своих предков, пытается основать национал-поселение. Найти усадьбу ему не удастся, иначе я бы об этом услышал, но где он сейчас — продолжает ли поиски или вернулся на родину, узнав, что там опять кто-нибудь продает по соседству усадьбу, — я не знаю. Нет, ну надо же такое выдумать — собираться по улицам скинов и с ними...

Кегельман покачал головой.

Когда Каспар поблагодарил его и пошел к машине, он крикнул ему вслед:

— Ломен! Съездите в Ломен! Мне кажется, кто-то говорил, что этот нижнесаксонец живет в Ломене и держит там закусочную. Там есть — во всяком случае, была — закусочная, в которой я когда-то пару лет назад ел как раз нижнесаксонские колбаски с капустой.

Закусочной в Ломене больше не было. От нее остался только деревянный киоск с навесом, перед которым стояли стол и две скамьи. Каспар обошел вокруг заросшего высокой травой киоска. На двери ви-

¹ *Патриотическая немецкая молодежь* — основанная в 1990 г. правозащитная молодежная ассоциация неонацистской ориентации. Запрещена в 2009 г.

сел ржавый замок. Здесь давно ничего не готовили и не ели. В саду за забором в нескольких метрах от киоска работала женщина. Она то и дело поглядывала на Каспара. Он подошел к забору и заговорил с ней.

— Да, здесь вкусно готовили. Но место глухое, клиентов нет. Хотели отремонтировать и расширить дорогу, чтобы можно было быстрее ездить из Гюстрова в Бредцов, да так и не собрались.

— Нижнесаксонская кухня, насколько я...

— Какая там еще нижнесаксонская кухня? Потому что он с Запада, что ли? Колбаски! Вареные и жареные. И капуста.

— А как у него... получилось с этими молодыми людьми, которых он привез с собой?

— Он же женат. Мужчины все разъехались. Вы что, хотите купить эту закусочную?

— Надо сначала посмотреть на нее изнутри. Я бы ее разобрал и увез в другое место.

— Поговорите с ним. Его дом рядом с водонапорной башней.

Каспар пошел пешком. Тротуаров в деревне не было. Потому что не было ни машин, ни велосипедов, ни тракторов. Через два дома в саду тоже работала женщина и, подняв голову, посмотрела на прохожего. Каспар поздоровался. Она не ответила. Усадьбы пока не попадались. Каспар видел только дома для «мятников» — деревенских жителей, работавших в городе, — и пенсионеров. На одном он заметил вывеску страховой компании. Дом, к которому его направили, тоже мог бы стоять где-нибудь на городской окраине.

Каспар постучал и прислушался. Ни шагов на лестнице, ни шороха гравия на дорожке. Он обернулся, обвел рассеянным взглядом унылую панораму: улица, соседние дома, церковь без колокольни, какое-то здание за ней — не то сарай, не то склад, — водонапорная башня, сады и луга, две пасущиеся лошади. Людей не было. Он не слышал ни детских голосов, ни собачьего лая, ни щебета птиц, ни шума мотора. Вокруг было тихо и пусто.

Когда он уже собрался вернуться к машине, дверь открылась.

— Слушаю вас.

Пышная женщина в длинном голубом платье с короткими рукавами, красивая матрона. Неужели это та самая Свеня с автобусной остановки во Франкфурте-на-Одере? Выражения превосходства и безразличия к происходящему, которое отметила в ее взгляде Биргит, Каспар не увидел. Как не заметил и неприступного, вызывающе-менящего выражения, запечатленного на фото Рауля Буха. Зато ему бросилась в глаза усталость. Не та, что бывает после двух-трех бессонных ночей, а другая, — казалось, этой женщине любое движение, сама жизнь уже давно стоит немалых усилий. В то же время в ее облике многое очень напоминало Биргит: рот, темные глаза, темные волосы, и даже голос показался ему знакомым.

— Фрау Свеня Вайзе?

На пороге появилась долговязая рыжеволосая девочка лет пятнадцати в пестрой юбке и пестрой блузке. Прислонившись к дверному косяку, она внимательно посмотрела на Каспара. Потом вышел короткостриженный мужчина в белой футболке с татуировками на руках, на полголовы выше женщины.

— Ренгер. А вы кто? — ответил он за нее.

— Каспар Веттнер. Фрау Ренгер, вы не уделите мне несколько минут? Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз. То, что я должен вам сказать, касается только вас.

— Что касается, а что не касается моей жены, решаю я. Свеня, идите с Зигрун в кухню. Я послушаю, что он скажет.

Каспар растерянно покачал головой.

— Я хотел бы поговорить с вами, фрау Ренгер. А что вы сочтете нужным рассказать вашему мужу — это дело ваше.

— Так не пойдет! — решительно и громко заявил мужчина.

Она коснулась его руки и мягко произнесла:

— Говорите. У меня нет секретов от мужа. Зигрун, а ты, пожалуйста, подожди на кухне, хорошо?

Девочка ушла. Мужчина хотел что-то возразить или возмутиться, но Свеня обняла его за плечи и посмотрела на него снизу вверх.

— Мы, как ты говоришь, слушаем вместе.

Каспару все это не нравилось. Он стоял на две ступеньки ниже. Над ним грозно возвышался возмущенный Ренгер, рядом с ним стояла его усталая жена. Он чувствовал себя назойливым просителем, которого вот-вот прогонят прочь. Но другой возможности поговорить с ней у него не будет.

— Вы выросли как дочь супругов Вайзе. На самом деле вы дочь Биргит Хаген и Лео Вайзе. Биргит отдала вас сразу после родов. Потом мы с ней поженились. После объединения она принялась вас разыскивать, но недавно умерла. Поэтому ее поиски продолжил я, и, как видите, мне повезло. Я долго ничего не знал о вашем существовании и узнал о нем только после смерти жены. Я прочел ее записки. Она писала о вас.

— Свене причитается какое-то наследство?

— Подожди, Бьёрн. Давайте все-таки сядем и выпьем кофе. Проходите.

Она кивнула Каспару и усталым жестом пригласила его в дом. Теперь на лице у нее все же появилось выражение превосходства и безразличия к происходящему, словно она хотела защититься от всего неприятного, что, возможно, еще принесет неожиданный визит незнакомца.

Каспар прошел за ней в кухню и остановился сбоку от двери. Свеня занялась кофе, Зигрун сидела за столом и читала. Бьёрн тоже сел за стол. Никто не произносил ни слова. Каспар осмотрелся в кухне — слева шкаф и буфет, старые, украшенные резьбой, справа холодильник, полка, плита и раковина, посредине длинный деревянный стол с шестью стульями. Двухстворчатая дверь напротив вела в огород с цветами, кустами и грядками. Кухня была светлой и уютной.

На стене над буфетом Каспар не сразу заметил фотографию Рудольфа Гесса¹, а рядом с ней текст: «Высшее благо человека есть его народ. Высшее благо народа есть его право. Душа народа — в его языке. Мы были и будем верны своему народу, его праву и языку».

Бьёрн сидел на месте главы семейства на стуле с резными подлокотниками и спинкой и наблюдал за Каспаром. Зигрун тоже подняла голову, внимательно посмотрела на гостя, потом на отца, с явным интересом ожидая дальнейшего развития событий.

— Ты знаешь, кто это? Этот герой, принявший мученичество за Германию и за мир?

¹ *Рудольф Гесс* (1894–1987) — немецкий государственный и политический деятель, заместитель Гитлера в НСДАП и рейхсминистр (1933–1941), нацистский преступник, один из главных обвиняемых на Нюрнбергском процессе.

— Рудольф Гесс. Родился в тысяча восемьсот девяносто четвертом году в Александрии, умер в тысяча девятьсот восемьдесят седьмом году в Берлине, — ответил Каспар в надежде, что его знания о Гессе избавят его от просветительской лекции.

Но его расчет не оправдался.

— Умер? Это, по-твоему, называется «умер»? Когда человека убивают?

— Насколько мне известно, он...

— Ну конечно! Девяностотрехлетний старик, который уже еле передвигал ноги и не мог поднять руки, взял и повесился. Ты думаешь, англичане во время вскрытия случайно, по ошибке вырезали ему половину органов? Ты думаешь, если это написано в учебниках по истории, значит это правда?

Бьёрн говорил язвительным тоном в расчете на ответ, избобличающий легкоеверие Каспара или ослепленность пропагандой.

— Он уже не мог даже завязать шнурки ботинок, — вставила Зигрун с гордой уверенностью и посмотрела сначала на Каспара, потом на отца.

— Правильно, Зигрун, он уже не мог даже завязать шнурки ботинок.

«Осторожно! — подумал Каспар. — Сейчас никак нельзя допустить ошибку! Если я хочу сохранить контакт со Свеней, я ни в коем случае не должен испортить отношения с ее мужем. Но если я стану ему подпевать, рано или поздно он все равно поймет, что его водят за нос».

— Тема смерти Гесса как-то прошла мимо меня.

— А чем ты занимаешься?

— Я книготорговец.

— Про Гесса было написано немало книг. Они тоже прошли мимо тебя?

— Я не могу запомнить все книги, прошедшие через мои руки. Большинство книг, которые мне попадались на глаза, я не читал. Ни один книготорговец не может прочитать все, что продается в его магазине.

— У вас везде стеллажи с книгами? — с любопытством поинтересовалась Зигрун.

— Да, у нас везде стеллажи и полки с книгами. Вдоль стен и между стен. Но есть магазины и посolidнее нашего, в которых еще больше книг. А что ты читаешь?

— Садись, — предложил Бьёрн, и Каспар сел напротив него.

— «Юнга великого курфюрста». — Зигрун показала ему потрепанную книгу, на обложке которой был изображен мальчишка с топором в руке под бранденбургским знаменем, прыгающий с палубы одного корабля на борт другого. — Голландцы, эти толстосумы, не хотели, чтобы у нас были колонии. Они нас предали и продали. Все были против нас. А негры были за нас.

Свеня поставила на стол чашки и тарелки, Зигрун вскочила и принялась расставлять посуду и раскладывать приборы. Потом Свеня принесла кофе и сливовый пирог, нарезала его, разлила кофе и села за стол.

— Почему же ваша жена отказалась от меня? — спросила она, размешивая сахар в чашке и не глядя на Каспара.

— Да какая разница, Свеня? Ее замучили угрызения совести, и она решила найти тебя и подкинуть тебе денег. Она оставила тебе какое-то наследство, поэтому он и приехал. Верно?..

Бьёрн вызывающе посмотрел на Каспара.

— Я не нашел завещания. Хотя я пока и не искал его.

— Да никакого завещания и не нужно. Дочь — законная наследница.

Свеня наморщила лоб.

— Что ты такое говоришь, Бьёрн? Я пока что еще дочь Ирмы и Лео Вайзе, и стану ли я кем-то еще...

— Он сказал, что ты дочь его жены и что его жена умерла, — перебил ее Бьёрн, показав пальцем на Каспара. — Он распоряжается ее состоянием, он знает,

что ты наследница. И я советую ему... — Бьёрн подался вперед и угрожающе посмотрел на Каспара. — Я советую тебе: не вздумай играть с нами в кошки-мышки!..

«В кошки-мышки? — подумал Каспар. — Я использую твою жадность и найду подход к Свене и к Зигрун и узнаю все, что хотела узнать Биргит».

— Я поищу завещание. До сих пор мне это было ни к чему. Это, конечно, не бог весть какие богатства — на торговле книгами не сильно разбогатеешь. Но можете быть спокойны: то, что Свене причитается, она получит.

— Четверть!

— Что?

— Половина того, что у тебя есть, принадлежит твоей жене. Половина от этого — тебе, половина — Свене. Значит, Свеня должна получить четверть того, что у тебя есть. — Бьёрн задумался. — Как минимум восьмую часть.

— Ах, Бьёрн! Давай сначала как следует во всем разберемся. Вы были у моих родителей?

— Да. Фрау Вайзе сказала, что в последний раз вы виделись много лет назад во Франкфурте-на-Одере. А с отцом у вас были контакты?

Свеня покачала головой.

— Я не хочу никаких контактов ни с ним, ни с ней. А теперь, когда выяснилось, что они мне к тому же всю жизнь врали, — тем более. Родители Бьёрна умерли, и Зигрун, к сожалению, растет без бабушек и дедушек. Но уж лучше никаких, чем такие.

— Если они нам понадобятся, чтобы ты смогла вступить в наследство, тебе придется с ними пого-

ворить. Так что можешь даже не заводить свою сентиментальную волынку! — почти прокричал Бьёрн.

Но Свеня опять легко успокоила его своим мягким голосом и прикосновением руки.

— Давай всё спокойно обдумаем. Если уж говорить о наследстве — пока Вайзе мои родители, я — их наследница, а от них нам перепадет, может, даже больше, чем от него. — Она кивнула в сторону Каспара. — Не будем торопиться окончательно портить с ними отношения. Пусть господин Веттнер пока поищет завещание, а когда он его найдет — или не найдет, — мы решим, что делать дальше. Вы живете в Берлине? — обратилась она к Каспару.

— Да.

— А как называется ваш книжный магазин?

— «Компас».

— Я лучше всех в классе умею пользоваться компасом, — встала Зигрун, которая только делала вид, что читает, а на самом деле внимательно следила за разговором. — Он что, мой дедушка? — кивнула она на Каспара.

Свеня и Бьёрн молча переглянулись, удивленные тем, что Зигрун не пропустила ни слова и сделала свои выводы.

— Я твой приемный дедушка, — ответил Каспар и улыбнулся сначала Зигрун, а потом Свене. — И ваш отчим.

Зигрун серьезно посмотрела на него, словно оценивая, подходит ли он ей в качестве дедушки, и наконец тоже улыбнулась в ответ.

— Ты приедешь к нам на праздник в эти выходные?

И Каспар в субботу еще раз приехал в Ломен. Бьёрн, которому приглашение Зигрун явно не пришлось по душе, но который был слишком горд, чтобы демонстративно нарушить правила гостеприимства, велел Каспару быть не позже трех, мол, они все вместе пойдут на праздник. Когда тот приехал, на улицах уже яблоку негде было упасть — машины, микроавтобусы, продуктовые фургоны, целые семьи, многие в национальных костюмах.

— Нашел завещание? — вместо приветствия спросил Бьёрн.

Каспар кивнул.

— Тогда давай сначала присядем на минутку.

Они опять сели за стол на кухне, на этот раз без Зигрун. Свеня поинтересовалась, как он доехал, но Бьёрн перебил ее:

— Ну, так что там с завещанием?

— Все немного сложнее, чем я думал. С одной стороны, Биргит, вероятно, не хотелось меня огорчать, ставя перед необходимостью выделить сразу такую сумму денег. С другой стороны, она хотела вам помочь, фрау Ренгер, если выяснится, что у вас есть

дети. Она решила предложить вам сначала четверть своего, то есть восьмую часть нашего состояния, в виде ежегодных выплат, до наступления совершеннолетия последнего ребенка. Потом еще столько же на образование детей и их устройство в жизни. Кроме того, Биргит хотела, чтобы дети каждый год проводили у меня пять недель — три недели летом и два раза по неделе осенью, зимой или весной. В случае отсутствия детей вы бы получили одну четверть сейчас и вторую через десять лет.

— Через десять лет?! Это еще что за выдумки? — возмутился Бьёрн. — Зачем Свене ждать десять лет?

— Биргит не умела обращаться с деньгами и, наверное, опасалась, что и у ее дочери может быть эта врожденная слабость, поэтому будет лучше, если она получит не всю сумму сразу, а по частям.

— А сколько это денег?

— Все, что мы имеем, — квартира и магазин — стоит восемьсот тысяч. Сколько Зигрун лет?

— Четырнадцать.

— Значит, за четыре года вы получите четыре раза по двадцать пять тысяч, и к восемнадцатому дню рождения Зигрун у нее будет сто тысяч.

Свеня с улыбкой посмотрела на Бьёрна, потом на Каспара.

— Это же...

Но Бьёрн тяжело опустил свою ладонь на ее руку.

— Подачками вы от нас не отделаетесь! Нам нужно всё и сейчас. Если вы не привезете деньги, мы оспорим завещание и встретимся в суде.

— Ах, Бьёрн, перестань!

Тот, не выпуская ладонь Свени, грохнул обеими руками об стол. Свеня тихо вскрикнула, попыталась высвободить руку, но Бьёрн не выпускал ее.

— Если вы думаете, что мы ничего не понимаем, потому что живем в деревне... У нас здесь есть толковые адвокаты, которые быстро приводят в чувство таких, как вы.

— Да, господин Ренгер, поговорите со своим адвокатом. Я со своим уже поговорил. Чтобы заявить о своих правах на наследство Биргит, Свене придется заставить Вайзе раскрыть подлинные обстоятельства ее рождения, а это довольно пикантная история, и Свеня рискует быть вычеркнутой из жизни оскорбленных родителей и лишенной наследства. Если же ей удастся доказать, что она дочь Биргит — возможно, в результате эксгумации и теста на ДНК, — и она выразит несогласие с последней волей Биргит, она получит исключительно законную долю: сто тысяч. Но до этого пройдет не один год.

Бьёрн слушал с мрачным видом, наморщив лоб и сжав зубы.

— Я все это проверю, можете не сомневаться. А вы пока переводите первый взнос.

Каспар не торопился с ответом. Он смотрел на Свеню и Бьёрна. Она сидела с тихой, усталой улыбкой, покорная своей боли и в то же время не скрывающая радости по поводу денег; он — исполненный ярости и страха опозориться перед женой, приняв роль проигравшего. Каспар был уверен, что Свеня знала о его страхе и умела так повернуть ситуацию, что муж

выйдет из нее победителем — сильным и уверенным в себе. Что ж, пусть так и будет.

— Вы не прогадаете. По возвращении в Берлин я сразу же переведу вам двадцать пять тысяч. Если вы согласитесь с условиями завещания и будете каждый год присылать ко мне Зигрун на указанный срок, это будет первым траншем. Если вы оспорите завещание, мы вычтем эту сумму из того, что вы должны будете получить в конце.

— Двадцать пять тысяч.

— Двадцать пять тысяч.

Свеня высвободила ладонь и коснулась руки Бьёрна.

— Курт будет сегодня на празднике, и ты его спросишь. — Она повернулась к Каспару. — Доктор Курт Майер — адвокат из Шверина.

Бьёрн не ответил жене.

— Пора идти, — сказал он, посмотрев на часы.

Но тут в кухню влетела Зигрун, в белой блузке с длинными рукавами и длинной серой юбке; рыжие волосы были заплетены в косу, уложенную вокруг головы. Она запыхалась, щеки ее покраснелись. Несмотря на свой трогательный вид, эта девочка в форменной одежде чем-то испугала Каспара.

- Я поведу дедушку на праздник!
- С удовольствием, — сказал он, вставая.
- Но сначала я покажу тебе свою комнату.

И прежде чем родители успели возразить, Зигрун схватила Каспара за руку и потащила по лестнице вверх, в мансарду.

Перед окном под косою крышей стоял письменный стол, слева кровать, тумбочка и шкаф, справа полка с книгами. В комнате царил порядок, на столе — аккуратная стопка тетрадей, ручки и карандаши в стакане, кровать тщательно заправлена, а книги на полке распределены по группам с помощью разделителей. Каспар тщетно искал глазами неизменные атрибуты девчоночьих комнат, знакомых ему по комнатам дочерей друзей и знакомых: мягкие игрушки, куклы, динозавры, наборы косметики, гвозди, на ко-

торых висят браслеты, цепочки и бусы. Потом он заметил на потолке над кроватью звезды, маленькие, темно-синие, с узкими или широкими золотыми краями — целое звездное небо.

— Как красиво! — Он повернулся к Зигрун. — А ты знаешь, сколько звездочек на синем небо-склоне?¹

Но Зигрун не было никакого дела до «звездочек». А может, ей стало неловко, оттого что Каспар обнаружил у нее в комнате «девчоночью ноту», которую она хотела скрыть. Она показала ему три портрета, три репродукции в рамках, висевшие над книжной полкой.

— Это Рудольф Гесс, это Ирма Грезе, а это Фридерике Крюгер. Они мои любимые герои.

Каспар узнал простодушное, доверчивое лицо Гесса — это была копия фотоснимка, а не репродукция картины, как в кухне. Женщины — одна с распущенными светлыми волосами, мрачным лицом и решительным ртом, другая с милovidным, пухлым детским личиком — были ему незнакомы.

— А кто эти женщины?

— Ирма Грезе служила в СС. Ее казнили англичане, и она умерла, как мужчина, в отличие от своего командира, который ревел и просил пощады². А Фридерике Крюгер обрезала волосы, надела мужскую

¹ Перефразированная строка из немецкой песни, написанной в 1837 г. евангелистским священником и поэтом Вильгельмом Хайем (1789–1854) на народную мелодию.

² *Ирмхард Грезе* (1923–1945) — нацистская военная преступница, служила надзирательницей в концентрационных лагерях Равенсбрюк, Освенцим и Берген-Бельзен, отличалась особым садизмом.

одежду и пошла в солдаты, чтобы воевать с Наполеоном. Она была ранена, ее произвели в офицеры и наградили Железным крестом и орденом Святого Георгия.

— Да, это впечатляет. А сколько у тебя книг! — Каспар пробежал глазами по корешкам книг, стоявших на полке. Некоторые он знал: «Руламан», «Дети пещеры», «Император», «Король и папа римский», «Последние всадники», «Юный гитлеровец Квекс», «Народ без жизненного пространства», «Закат Европы»¹. — Ты и это читала?

— Нет, — покачала она головой. — В Гюстрове есть книжный киоск, в котором можно брать книги и оставлять свои. Там я их и нашла. Я люблю книги в двух томах.

— Я тоже. А то не успеешь как следует вжиться в историю, как уже наступает конец. — Он попытался запомнить названия книг. Неужели придется все их прочитать, чтобы подобрать ключи к Зигрун? — А у тебя есть любимая книга?

— Не знаю. Мне долго нравились «Как одна девочка впервые увидела фюрера» и «Дора в военнотрудовом лагере». А сейчас мне интереснее читать про историю, чем про девочек. Ты читал «Баска и солдаты 500-го ударного батальона СС»?² Ты какие книги любишь?

¹ Все перечисленные книги в той или иной мере проникнуты националистической идеей.

² Книга для подростков немецкого писателя, бывшего офицера СС Фритьофа Эльмо Порша (1924–2015), публиковавшегося под псевдонимом Инго Петерсон.

— Я ведь книгами торгую, поэтому в первую очередь стараюсь читать новинки. Надо же быть в курсе, чтобы уметь подсказать клиентам, какие книги им могут понравиться.

— Ну а сам ты что любишь читать? Какая твоя любимая книга?

— «Война и мир» Льва Толстого.

Перехватив вопросительный взгляд Зигрун, он начал рассказывать ей о Наташе и Соне, о Пьере и Николае. Зигрун сначала слушала, потом отвела взгляд в сторону, потом вообще отвернулась, руки ее нервно задвигались.

— Почему твоя любимая книга — не немецкая? Почему она русская? Ведь это же русская книга?

Она взяла его за руку. Но в этом жесте, как ему показалось, уже не было прежней радостной непосредственности. Он хотел сжать ее ладонь, но не решился, опасаясь, что это вызовет у нее еще большее раздражение.

На первый взгляд это был обыкновенный праздник, ничем не отличавшийся от других деревенских праздников. Играл оркестр; народные песни перемежались с крутым роком. В одном киоске продавались напитки, в другом шипели на решетке гриля колбаски и жарилась на вертеле целая свинья. На столах стояли блюда с картофельным и макаронным салатом и зеленью, корзинки с хлебом, подносы с пирогами. Взрослые сидели с пивом за столами, молодежь стояла группами, между ними с криком и смехом носились дети. Зигрун оставила Каспара и присоединилась к группе девочек в таких же серых юбках и белых блузках. Каспар один побрел дальше.

Он то и дело ловил на себе удивленные взгляды. Потом до него дошло: в джинсах и пиджаке поверх футболки он не вписывался в общую картину праздника, на который все явились в национальных костюмах. Он приветливо улыбался в ответ, и иногда удивление становилось дружелюбнее, но чаще всего от него просто отворачивались. Он обратил внимание, что, кроме пива, продавались вода и сок, но нигде не видно было кока-колы. Пиво разливали в стек-

лянную посуду, еду подавали на нормальных тарелках с металлическими ножами и вилками. Девочки, в том числе и Зигрун, собирали использованную посуду и приборы, относили их в здание напротив и приносили оттуда чистые. Каспар сел в конце длинного стола с пивом и колбасками рядом с пожилой парой. Те тоже не преминули выразить удивление.

— А вы как сюда попали?

— Меня пригласила Зигрун Ренгер.

Мужчина посмотрел на часы.

— Сейчас начнется. В прошлом году она победила. Посмотрим, как она выступит в этом году. Наши девочки выступают все лучше. Мальчишкам все труднее с ними бороться.

— А что это за праздник?

— Праздник урожая. Вы еще не были на большой поляне? Там сегодня в полпятого начнутся соревнования, а потом будет митинг.

В половине пятого Каспар вместе с другими стоял на краю большой поляны, в конце которой было сооружено из соломы нечто вроде алтаря, украшенного подсолнухами и увенчанного венком из колосьев с цветами и разноцветными лентами. Над поляной на высоте трех-четырех метров был натянут между двумя деревьями проволочный канат, а на земле обозначена линия, у которой ждали команды — девять девочек в серых юбках и белых блузках и десять мальчиков в кожаных шортах и белых рубашках.

— Ощутим голыми ступнями землю! Почувствуем силу земли! На старт! Внимание! Марш!

Судья взмахнул рукой, и дети бросились вперед. У Зигрун в ее длинной юбке, казалось бы, шансов на успех было мало, но она пришла к финишу третьей, вызвав бурные аплодисменты.

— Нам не страшны никакие враги! Нам не страшны никакие опасности! Нам не страшны никакие препятствия! Мы все преодолеем! К канату! Лучший результат прошлого года — одна минута десять секунд.

Победитель соревнований по бегу босиком первым поднялся по стремянке к канату, повис на руках и по команде двинулся к противоположному краю поляны, под крики толпы, с напряженным, сосредоточенным лицом. Перед финишем движения его заметно замедлились, и к ободряющим крикам примешались злорадные возгласы. Но, достигнув цели, он изящно спрыгнул на землю. Зигрун выступала третьей. Это упражнение не требовало от нее особых усилий, лицо ее было сосредоточенным, но спокойным. Она двигалась быстро и уверенно и установила новый рекорд. Каспар кричал и хлопал в ладоши вместе с другими. Следующей дисциплиной для мальчиков был рукопашный бой, для девочек — гимнастика. Судья, произнеся краткую речь о жизни как борьбе и о борьбе как жизни, построил справа от себя мальчиков, а слева девочек. Мальчики, насколько понял Каспар, состязались в дзюдо, хотя их одежда, по его представлениям, не имела ничего общего с этим видом борьбы, да и девочкам в их длинных юбках было не очень удобно манипулировать обручами, мячами и лентами, но они делали это вполне успешно. Когда судья хотел объявить победителей

и вызвал вперед Зигрун и Хорста, Хорст что-то сказал Зигрун, и та, выразительно посмотрев на него, подскочила к нему и лихо бросила его через плечо. Толпа опять разразилась бурными овациями. Хорст поднялся с земли и хотел броситься на Зигрун. Та была готова к поединку, но судья остановил Хорста и за нарушение правил состязаний объявил победителями другую пару. На этом спортивная часть праздника была закончена.

Потом к «алтарю» подошел Бьёрн. Тем временем стемнело; два мальчика в черных галстуках и белых рубашках, которые еще несколько минут назад вместе принимали участие в соревнованиях, встали справа и слева от него с факелами в руках. Гости — по оценке Каспара, человек семьдесят или восемьдесят — прошли на поляну, и все смолкло. Бьёрн выступил с речью. К удивлению Каспара, он оказался неплохим оратором. Он говорил спокойным, твердым голосом, повышая его в определенных местах, где предполагались аплодисменты, и, как только вновь воцарялась тишина, продолжал свою речь дальше. Сначала он произнес слова благодарности за урожай этого года: еще одна семья национал-переселенцев из Берлина — он архитектор, она мать пятерых детей — только что купила усадьбу в деревне и в ближайшее время въедет в свое новое жилище. Они сожалеют о том, что не смогли принять участие в празднике, но рады начать жизнь в новой дружной семье и просили передать всем привет. Потом он перешел к насущным делам и проблемам постурожайного периода. Наступает пора обрезать деревья, сказал он. Это очень важ-

но, иначе в следующем году не будет хорошего урожая. Таков закон жизни: все, что мешает росту и плодоношению, нужно отрезать и устранять. Подождав, когда стихнет одобрителный смех, он продолжил:

— Нам пришлось приложить некоторые усилия, чтобы эта усадьба поскорее освободилась для наших берлинцев. Но есть еще немало усадеб, которые не освободятся без нашего участия, придется еще не раз резать и устранять. Так растет наша семья, наше единство. Они там уже забыли, что такое единство, и живут каждый для себя, гибнут каждый за себя и умирают каждый за себя. Кроме нас, это понимают еще мусульмане со своими женами в платках и детьми. Они хотят отнять у нас Германию, они хотят сделать из нашей страны свою страну. Но мы им этого не позволим. Мы готовы к борьбе. Мы выросли на немецкой земле, наши корни в немецкой земле, и мы черпаем силы из этой земли. Будущее Германии — в нашем национальном единстве.

Пока он говорил, мальчики и девочки возвели за спинами слушателей, в центре поляны, небольшую поленницу. Факелonosцы прошли по коридору, образованному расступившейся толпой, и зажгли костер. Толпа образовала круг, и когда костер запылал, сначала заиграл оркестр, а потом мелодию подхватили люди:

Взвейся, пламя! Взвейся пламя!
Вздымайся зарницей багряной!¹

¹ Текст песни был написан октябре 1814 г., в годовщину Битвы народов под Лейпцигом, евангелическим теологом Иоганном Нонне.

Каспар не знал этой песни, не все слова мог слышать, но многое все же уловил — что «мы стоим в священном кругу» и видим «горящее во имя Отечества пламя», что «это пламя взывает к молодежи и укрепляет ее мужество», что «от этого грозного знака бледнеют враги» и что «у алтаря этого пламени мы клянемся быть немцами». Потом прозвучали «Встает молодой народ» и «Братья на Востоке и на Западе», и Каспар опять понял немного — например, что «мы — бюргеры ли, крестьяне или рабочие, — все молодые солдаты» и что «мы отправляемся в поход, и перед нами — сияющая Европа, а в нас горит рейх». Потом пошли песни более сдержанные, исполненные тоски и печали; в «Реет ветер над полями» всадники кайзера отправились на смерть во Фландрию, а в «Раздайтесь, народы!» последние готы — на поиски «острова Туле в далеком сером море». «Летит гусей большая рать», «У ворот перед фонтаном» и «Нет лучше страны в наше время» Каспар знал со своей евангелистской юности, поэтому пел вместе со всеми — это были песни, запечатлевшиеся в его сознании с тех пор, как их пела с ним, еще ребенком, его бабушка.

Он обвел взглядом толпу. Освещенные пламенем костра лица во время последних двух песен стали мягче. «А почему бы им не стать мягче? — подумал он. — Почему правые не могут испытывать те же чувства, что испытываем мы: мечтательную грусть, тоску?» Он вспомнил генерал-губернатора и палача Польши Ганса Франка, который в краковском замке проникновенно играл Шопена, и Гитлера, любивше-

го свою собаку. Ему не хотелось в этом песенном порыве чувствовать себя одним целым с участниками праздника. Он любил Шопена, он любил собак, но не желал бы услышать Шопена в исполнении Франка или поиграть с собакой Гитлера. Незаметно выбравшись из толпы, он направился к церкви и сел на ступеньку перед порталом. Пение на поляне продолжалось и закончилось «Песнью немцев»¹ со всеми тремя строфами. Только после этого толпа рассеялась и все вновь направились к киоскам и столам, а музыканты играли уже только рок.

Каспар встал и вернулся назад, на праздник. Бьёрн шел ему навстречу с двумя бокалами пива в руках.

— Держи! Выпьем за женщин! Как твою звали? Биргит? Выпьем за Биргит, и за Свеню, и за Зигрун. — Он чокнулся с Каспаром и протянул ему записку. — И за деньги, которые ты мне переведешь. Здесь написано название банка и номер счета. И за каникулы, которые Зигрун будет проводить у тебя. — Он сделал глоток. — И за Германию! — Он выпил еще. — Пойдем, я познакомлю тебя с нашим адвокатом, чтобы ты понял, что к чему.

Бьёрн взял Каспара за локоть, подвел его к столу, представил его доктору Майеру и оставил их одних. Молодой человек с умным лицом — а почему, соб-

¹ «*Песнь немцев*» (известная также как «Песнь Германии») написана в 1846 г. Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна, стала в 1922 г. национальным гимном Германии. Во время Третьего рейха исполнялась только первая строфа («Германия, Германия, превыше всего...»). После 1945 г. исполнение ее было запрещено. В 1952 г. она вновь стала национальным гимном, но было решено, что исполняться будет только третья строфа.

ственно, у правых не может быть умных лиц? Он понимал, что если Вайзе откажутся участвовать во всей этой истории, то Свене придется затеять с ними тяжбу и подключить Каспара. Он готов подтвердить, что Свеня дочь Биргит? Он даст согласие на эксгумацию Биргит? Он даст ему возможность ознакомиться с завещанием Биргит? Нет? А если он подаст на него жалобу в суд?

В конце концов доктор Майер рассмеялся, заявил, что находит предложение Каспара вполне приемлемым и что на этом можно поставить точку. А Свене следует восстановить связь с Вайзе и прозондировать почву на предмет наследства. Не каждому выпадает такой шанс — получить наследство сразу от двух родительских пар.

Каспар решил, что пора откланяться, и пошел сквозь толпу в поисках своих новых знакомых. Бьёрна он нашел в компании мужчин; они пили, громко спорили и смеялись, хлопали друг друга по плечу, грохали кулаком по столу. Зигрун сидела у костра, положив голову на плечо подруги, и смотрела в огонь. Свеню он думал увидеть среди женщин у киосков. Но она стояла в стороне, прислонившись к высокому, по пояс, штабелю дров; в руках у нее не было ни кружки пива, ни бокала вина, ни сигареты. Может, прощание с Франкфургом-на-Одере означало для нее и прощание с алкоголем и наркотиками, подумал Каспар. Она встретила его улыбкой. Это была осторожная улыбка, готовая мгновенно погаснуть. Он встал рядом с ней.

— Вы уже уходите? Скажите, почему же все-таки ваша жена так хотела от меня отделаться?

— Она никогда не говорила со мной о вас. До того момента, когда я нашел ее записки, я вообще не знал о вашем существовании...

Ему следовало бы подумать, что этот разговор неизбежен, и подготовиться к нему. Он был рад, что Свеня не торопила его и терпеливо ждала.

— Мне кажется, у нее было только одно желание — вырваться из ГДР. Она ненавидела Лео Вайзе, с которым у нее был роман и который обманул ее и просто использовал. Она боялась, что бегство возможно лишь для нее одной, а не с ребенком; может, она к тому же боялась, что я откажусь от нее, узнав о ее связи с Лео и о вас. Если бы она могла, она бы прервала беременность, но Лео долго морочил ей голову, кормил обещаниями, а когда она все поняла, было уже поздно. Вполне возможно, что свою ненависть она как-то неосознанно перенесла и на вас. Не знаю. Я многого не знаю. — Он сделал паузу в ожидании, что Свеня что-нибудь скажет, но она молчала. — Я знаю, что позже ее это страшно мучило. Она хотела вас найти. Но ей было страшно. Поэтому она никак не могла решиться начать поиски. Вместо этого она собирала материалы о сиротских домах, исправительно-воспитательных и трудовых колониях. Она просила свою подругу положить вас на пороге какого-нибудь роддома или дома священника и потом всю жизнь представляла себе, как вы кочуете из одного детдома в другой. И в то же время она надеялась, что вы стали сильной, жизнерадостной и счастливой женщиной.

— А зачем она хотела меня найти?

До этого Свеня говорила сдержанным, а когда старалась успокоить Бьёрна, мягким голосом. Теперь он звучал так, словно ей стоило усилий, чтобы не потерять самообладание, словно она подавляла в себе печаль, или злость, или ненависть, или презрение к той, что бросила ее на произвол судьбы. Каспар повернул

к ней голову и посмотрел на нее. Губы ее были плотно сжаты и лицо очень похоже на замкнутое лицо Биргит, когда та обижалась или сердилась, но хотела это скрыть.

— Она хотела сказать вам, кто она и как все случилось, хотела предложить вам себя. В надежде хоть чем-нибудь быть вам полезной. Она очень надеялась, что вы пожелаете хоть что-нибудь принять от нее. И не смела даже мечтать о том, чтобы получить что-то от вас.

— Предложить себя! — Она рассмеялась. — Предложить или навязать себя? Про завещание вы ведь сами придумали. Чтобы приглядывать за нами. Ну что ж, пусть у Зигрун будет дедушка, пусть она поживет в городе. Через три недели каникулы, и Бьёрн привезет ее к вам. Только не думайте, что можете нас купить. Если я замечу, что Зигрун уже не моя Зигрун, больше вы ее не увидите. И можете засунуть свои деньги... сами знаете куда. Бьёрн, конечно, уже раскатал на них губу, и вы это видите, но это вам не поможет.

Каспара тронуло упрямство, прозвучавшее в ее словах. Он вспомнил упрямство Биргит, которым она защищалась от него, когда он пытался призвать ее к ответу, ее готовность рвать все связи и жечь все мосты — например, бросить работу в магазине, отправиться в Индию, самоизолироваться в своей «келье», начать пить. Свеня тоже не задумываясь порвала бы с ним.

— А какой должна быть Зигрун, чтобы оставаться *вашей* Зигрун?

— Она должна гордиться собой, и нами, и Германией. Должна быть сильной и никому не позволять топтать и унижать себя. Она должна знать, кто она и чего хочет.

Теперь это уже говорила Свеня, которая не должна была узнать, кто она и чего хотела, которую долго топтали и унижали, у которой не было ничего, чем бы она могла гордиться. Она все это оставила позади — родительский дом, лишение свободы по указанию ее собственного отца, Торгау, годы, проведенные среди скинхедов — и наконец с Бьёрном, в вере в национал-идеалы и в гордости Германией нашла нечто, что помогало ей жить и что она хотела передать Зигрун.

Каспар все же решил попытаться навести мосты.

— Я не горжусь Германией. Как я могу гордиться чем-то, чего я не создавал? Но я не могу представить себя ничем другим, кроме как немцем. Этого достаточно?

— Поживем — увидим. — Она достала из кармана платя два листка бумаги и ручку. — Я написала вам наш номер телефона. Напишите и вы свой.

Когда он исполнил ее просьбу, она снова улыбнулась ему той прежней, осторожной улыбкой.

— Я понимаю, это не вы отказались от меня, а ваша жена. Вам совсем необязательно было приезжать сюда. Кстати, меня зовут Свеня.

— А меня Каспар.

— Каспар? — Она вдруг громко рассмеялась веселым, звонким смехом, но тут же, закрыв рот рукой

и продолжая тихо смеяться, произнесла: — Извини. Не обижайся, я смеюсь не над тобой, а просто потому, что еще ни разу в жизни не встречала никого, кого бы звали Каспар. — Она со смехом поцеловала его в щеку.— Счастливого пути, Каспар!

Он выехал из деревни по той же дороге, по которой приехал. Вспомнив лесопромышленный склад, мимо которого он проезжал днем, он отыскал его в темноте на противоположной стороне дороги и припарковался между двух штабелей досок.

Что делать? Он слишком устал, чтобы сейчас ехать в Берлин, да и выпил многовато. Ритцов был где-то поблизости; он даже подумал, не попроситься ли к Пауле на ночлег, но и эта относительно короткая поездка была связана с риском, а кроме того, пока он туда доберется, будет уже слишком поздно. Пансионны ему по пути в Ломен не попадались. Придется ночевать в машине. Опустив спинку сиденья и укрывшись плащом.

Но уснуть не удавалось. Через три недели к нему приедет Зигрун. Она же не может спать на диване в гостиной. Ей нужна отдельная комната с кроватью, шкафом, столом и стулом. Значит, надо приготовить для нее комнату Биргит. Ей понадобятся книги; надо поговорить с сотрудницей, которая отвечает у него за детско-юношескую литературу. Еще нужны игры, в которые он мог бы играть с ней. Что показать

ей в городе, какие музеи могли бы ее заинтересовать? Какие фильмы ей показать, в какие театры и на какие концерты ее сводить? Нужно как следует подготовиться к ее приезду, придумать программу на каждый день. Не обязательно четко следовать ей, но иметь ее надо. А как насчет подруг для нее? Где он их возьмет?

В нем росло беспокойство. Как ему со всем этим справиться? В этой беспомощности и незащищенности, которые бессонной ночью способны одолеть даже сильного человека, предстоящие задачи принимали в его глазах ужасающие масштабы. Да, сотрудница порекомендует ему какие-то книги для Зигрун. А если это будет совсем не то, что ей нужно? Что тогда делать? Самому перечитывать весь отдел литературы для девочек? А какую повесить в ее комнате картину? Уж конечно, не портрет Фридриха Великого или Бисмарка, хотя они-то как раз, возможно, пришлись бы ей по душе. Но и ничего такого, что могло бы вызвать у нее раздражение, ничего, к чему ее отец мог внушить ей отвращение, ссылаясь на выставку «Дегенеративного искусства»¹. Один из женских образов Фейербаха², олицетворение мечтательной тоски? «Сен-Готардскую почту» Коллера?³ Горный пей-

¹ Художественная выставка, организованная нацистской партией в Мюнхене в 1937 г., на которой было представлено около 700 работ немецких и других художников, чье искусство было признано вредным, «антинемецким» и «еврейским».

² *Ансельм Фейербах* (1829–1880) — немецкий художник, написавший среди прочего 28 полотен, в каждом из которых в том или ином виде изобразил свою музу Анну Ризи.

³ *Рудольф Коллер* (1828–1905) — швейцарский художник-анималист.

заж Ходлера?¹ Должна же быть какая-нибудь рок- или кинозвезда, стоящая вне политики, которая устраивала бы и правых, и левых? И увидев которую на стене в своей комнате, Зигрун приняла бы в свое сердце и его, Каспара, и свой новый дом? Кого бы спросить? И наконец, вопрос денег. На счету у него не было такой суммы, из магазина он тоже не мог ее позаимствовать. Может, взять ссуду в сберегательной кассе? Под залог квартиры?

Он сбросил с себя плащ и выпрямился. Ему захотелось на воздух. Он поискал на ощупь ручку дверцы, но не нашел, его охватил панический страх, как будто его навсегда заперли в этой темной металлической коробке, в которой он не мог ни встать, ни вытянуться в полный рост и то и дело натыкался на ее стенки головой, руками и ногами. Наконец ему удалось открыть дверцу, он высунул наружу голову, потом сполз вниз, на землю, волоча за собой туловище и ноги, и, запыхавшись, сел рядом с машиной.

Когда он отдышался, на него обрушилась такая же тишина, как та, что поразила его на берегу Одера. Ему пришло в голову, что тишина в Восточной Германии какая-то особая — и родная, и в то же время зловещая. Он прислушался, но ничего не услышал: ни потрескивания сучьев, ни мяуканья сыча, ни криков совы, ни шума деревьев. Остро пахло древесиной. «Почему древесина так хорошо пахнет? — подумал Каспар. — Потому что, до того как мы научились

¹ *Фердинанд Ходлер* (1853–1918) — швейцарский художник, один из крупнейших представителей модерна.

строить дома из камня, мы жили в деревянных жилищах? Потому что вся наша домашняя утварь сначала была деревянной? Потому что деревья — живые организмы, которые, как и люди, рождаются, растут и старятся?» Он вдруг услышал какой-то далекий, но быстро приближающийся вой и встал. Вскоре он увидел и яркие огни, потом мимо на большой скорости пронеслась машина с дальним светом фар и ревущим глушителем. Куда она так спешила? На праздник?

Даже если ему удастся решить все эти проблемы — подготовка комнаты, выбор картины, подборка книг — и Зигрун останется довольна, — что он делает?.. По какому праву он вторгается в ее жизнь? Имела ли Биргит права на полученное им наследство? Потому что Зигрун — ее внучка? О чем он, собственно, думал, пускаясь в эту авантюру с завещанием и требуя, чтобы Зигрун проводила у него каникулы? Может, он счел это естественным и даже единственно правильным решением, потому что националистическая среда, в которой она росла, ничего хорошего ей не сулила? Потому что хотел спасти ее от нравственной и духовной гибели?

Каспар всегда старался избегать какой бы то ни было «партийности». Он был членом церкви, в которую иногда ходил, не веря в Бога, но никогда не брал на себя никаких обязательств. Он состоял членом Промышленно-торговой палаты и Биржевого союза немецкой книжной торговли, не занимая никаких должностей. Иногда его злили какие-нибудь явления политической жизни, и он даже подумывал, не вступить ли в какую-нибудь партию. Иногда ему пред-

лагали вступить в «Союз борьбы за чистоту городских парков». Но его социальная и политическая активность ограничивалась тем, что он аккуратнo участвовал в выборах и время от времени, идя через парк, собирал бумажки, одноразовые стаканчики и бутылки. И вот вдруг он решает спасти — нет, не мир! — а Зигрун, что ему самому показалось не менее экзотичным и самонадеянным.

Ему стало холодно. Он надел плащ, походил взад-вперед, сел в машину, завел двигатель и включил печку. Но вскоре его стали раздражать шум мотора и сухой, пыльный воздух, который вентилятор гнал внутрь салона, и он выключил и то и другое. Чем больше он мерз, тем быстрее выветривался его хмель. В конце концов он решил все же ехать в Берлин, но тут же уснул, а когда проснулся, было уже светло.

Он выехал на дорогу и поехал домой. Пути назад не было. Он уже увяз в этой ситуации. Теперь ему придется как-то выстраивать отношения со Свеней и Бьёрном и осваиваться в роли дедушки. Ему всегда хотелось иметь детей, но это желание не сбылось. Зато теперь у него была внучка. А раз она у него появилась, его долг — заботиться о ее душе. Он рассмеялся. Душа Зигрун, немецкая душа... Каспар, куда тебя черт несет?

Вернувшись в Берлин, Каспар получил в сберегательной кассе ссуду и перевел Бьёрну и Свене двадцать пять тысяч евро. В комнате Биргит он постоял на пороге, посидел у письменного стола, намечая план переустройства. Если он отнесет большой письменный стол и стеллажи в подвал, то у левой стены поместится кровать, у окна встанет маленький стол, справа от него найдется место для книжной полки, а у правой стены можно поставить шкаф. Он принялся за дело: убрал вещи Биргит в подвал, купил у антиквара кровать, стол и шкаф; столяр по его просьбе оборудовал шкаф с выдвижными ящиками в левой части, а справа вставил штангу для вешалок, и смастерил книжную полку, такую узкую, что с десятью книгами, которые он подобрал для Зигрун, и теми, что она привезет с собой, она не будет выглядеть пустой. Каспар вернул из подвала стул Биргит: он был современнее, чем остальная обстановка в комнате, но зато с удобной спинкой. К тому же имел мемориальное значение, как память о бабушке.

Он принялся изучать книги, рекомендованные ему его сотрудницей. Это были, как она сказала, книги,

пользующиеся популярностью у четырнадцатилетних девочек. Первый роман его смутил. То, что в этом возрасте можно читать о девочках, которые на пару лет тебя старше, он понимал. Но почему обязательно о шестнадцатилетних девочках, которые считаются «классными», потому что употребляют спиртное, принимают наркотики и спят с мужчинами?

Он тоже в четырнадцать лет читал не о сверстниках. Как и другие его одноклассники, он тогда начал методически изучать мировую литературу — от Толстого и Достоевского до Стендаля и Гюго. Многие из прочитанного он не понимал и не мог тогда оценить по достоинству. Но это было интересно и, хотя и не очень понятно — или именно поэтому, — давало пищу для размышлений и темы для дискуссий. Наверное, так же дело обстояло и с рекомендованными ему книгами для Зигрун, но каковы в них примеры для подражания?

Хотя, с другой стороны, Жюльен Сорель, соблазнивший двух женщин, или Родион Раскольников, убивший двух женщин, тоже не лучшие примеры для подражания. Их отделяли от него более ста лет, но когда он о них читал, они были так близки и так вызывающе реальны, словно жили с ним в одну эпоху и в одном мире. Правда, у романа про девчонок и для девчонок был хороший конец. Может, алкоголь, наркотики и ранний секс не так уж страшны для Зигрун, если все хорошо кончается? Может, хеппи-энд все нейтрализует, подобно тому как для него, Каспара, перерождение Раскольникова через любовь к Соне нейтрализовало совершенные им убийства? Может,

он просто недооценивает аналитические способности четырнадцатилетних читательниц? Но если убийства отнюдь не делают Раскольникову обаятельным персонажем, то алкоголь, наркотики и секс, как раз наоборот, придают шестнадцатилетним девицам отрицательное обаяние. Значит, выходит, пусть Зигрун перенимает у них этот опыт?..

Он принялся за следующую книгу. В ней семь четырнадцатилетних девочек в силу обстоятельств вынуждены летом около месяца прожить в лесу, где они встречают странных людей, прелестных собак и трех мальчиков. Никакого алкоголя, никаких наркотиков, а вместо секса — робкие, целомудренные ласки. Но Зигрун, которая со своими национал-поселенцами прошла через спортивные лагеря и походы по лесам и полям, вряд ли вдохновят эти лесные приключения.

Ему понравилась история шестнадцатилетней негритянки, которая жила в гетто, но благодаря честолюбию и бережливости родителей училась в частной школе для белых и, после того как на ее глазах полицейский без всякой причины застрелил ее чернокожего друга-ровесника, начала учиться отстаивать свои интересы — и в борьбе с полицией, и в противостоянии с шайкой преступников в гетто.

Но уже на первой странице повести кто-то курит травку, а на второй речь идет о презервативах. А если Зигрун пристанет к нему с расспросами по поводу и того и другого? Травка еще куда ни шло; к тому же главная героиня ее не курит и не любит. И презерватив ей тоже не нужен. Но как он, вновь испеченный дедушка, должен объяснять четырнадцатилетней

внучке, для чего используются презервативы? Или она давно уже все знает?

Он выбрал приключения девушки, которая после неудачного романа с отрицательным персонажем встречает положительного — юного индейца, который открывает ей свой мир, свою природу, новый взгляд на жизнь, новый образ мышления и чувствования; они влюбляются друг в друга, и она решается остаться с ним, несмотря на разность их миров.

Потом он вспомнил книги своего детства: «Книга джунглей», «Черные братья», «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо», «Оливер Твист». Он любил эти книги, они были частью его жизни. Поскольку в его библиотеке их не было, он купил их, а заодно «Бетти и ее сестры» и «Властелин колец». Сам он эти книги не читал, но слышал о них. То, что больше не переиздавалось, он раздобыл у букиниста. Восемь книг — этого должно было хватить. Каспар поставил их на полку. Потом не удержался и начал перечитывать «Книгу джунглей», радуясь, как в детстве, дружбе Маугли с пантерой и медведем. С какой бы из восьми книг Зигрун ни подружилась, он разделит с ней эту дружбу.

Он купил билеты в «Комише опер» на «Волшебную флейту» и в филармонию на концерт Баха, Гласса и Брамса. Выяснил часы работы музеев. Как-нибудь он возьмет Зигрун с собой в магазин; пусть поможет сотрудницам в распаковке, упаковке и рассылке книг. Они вместе сходят на кладбище, на могилу ее бабушки. Вечерами можно будет поиграть во что-нибудь. Он нашел свои шахматы, унаследованные от

деда, с деревянными фигурами и доской, и купил еще шашки, «мельницу», реверси и скребл.

Вечером накануне приезда Зигрун он вошел в комнату и сел на стул. Так он сидел в день смерти Биргит, когда ушла полиция. Тогда это была комната Биргит, теперь это комната Зигрун. Тогда он еще ничего не знал о Зигрун, теперь то, что он знал о Биргит, спуталось, смешалось. Она писала, что его любовь к ней была для нее великим утешением. Почему она не захотела, чтобы эта любовь стала еще более глубокой? Почему она предпочла одиночество? Зачем она оставила ему Зигрун? Что это означало? А она оставила ему ее — так он это воспринимал. Чего он после ее смерти не мог себе представить, так это то, что он снова будет ходить в театр и на концерты. Теперь он будет это делать с Зигрун.

Он посмотрел на голую стену. Он так и не решил, какую картину повесить. И сейчас вспомнил, что в детстве ему нравилось смотреть на голую стену рядом с кроватью.

Бьёрн позвонил утром и сообщил, что они с Зигрун приедут в пять, и они приехали в пять. Бьёрн был в национальном костюме — в «плотницких штанах» и белой рубашке, — Зигрун в уже знакомой Каспару цветной юбке и белой блузке. В руке она держала маленький старый кожаный чемодан.

— Я взгляну на вашу квартиру? — спросил Бьёрн и, не дожидаясь разрешения, прошел в гостиную, потом в столовую, бросил взгляд в спальню и в кухню. — А где будет спать Зигрун?

Каспар показал ему комнату.

— А где она будет мыться?

Каспар показал ванную для гостей с душевой кабиной и туалетом.

— А где у вас телевизор?

Каспар ответил, что телевизора у него нет.

— У нас тоже, — сказала Зигрун, которая до этого не произнесла ни слова.

Бьёрн кивнул и положил ей руку на плечо. Остаться на ужин он не пожелал, но попросил бутылку пива, которую быстро выпил за столом в кухне. За эти пару минут он коротко обозначил главные требова-

ния: никакого телевизора, никакого кино, никаких сигарет, никаких джинсов, никакой губной помады, никакого пирсинга. Зигрун слушала с мрачным лицом. Каспар кивнул.

— Ну, значит, мы обо всем договорились. — Бьёрн встал. — Я заберу ее через неделю.

По дороге к двери он как-то вдруг утратил решительность, с которой двигался и говорил. Повернувшись к Зигрун, он произнес:

— Счастливо тебе, дочка.

Потом, наклонившись, поцеловал ее в лоб и ушел.

Каспар и Зигрун сидели за столом и смотрели друг на друга. Рыжие волосы, веснушки, глаза, не то зеленые, не то карие, а может, что-то среднее, изогнутый рот, единственное, что напоминало ему в ней о Биргит. Откуда у нее могли взяться рыжие волосы? Явно не от Бьёрна и не от Свени. Но и не от Лео. Может, они достались ей от Паулы, когда та помогла Свене появиться на свет, а потом сопровождала ее в ее первом путешествии? Каспар, сам поразившись нелепости этой версии, покачал головой.

— Сколько тебе лет, дедушка?

— Семьдесят один.

— А мне четырнадцать. В декабре исполнится пятнадцать.

Каспар кивнул.

— Прекрасный возраст. Ну что, будешь устраиваться? Тебе помочь?

— Да нет, я разберусь.

— С чего это твой отец вдруг решил, что я поведу тебя в салон пирсинга?

— Это он сказал не для тебя, а для меня. Ирмтрауд уже сделала себе пирсинг — такая маленькая серебряная свастика на ухе. Класс! Мне нравится. Ирмтрауд живет в Берлине, она из «автономных»¹. Мои родители считают, что это ложный путь. — Зигрун рассмеялась. — Сейчас они боятся, что я убегу от тебя к Ирмтрауд и останусь у нее жить. Странно, что отец не сказал тебе, что он с тобой сделает, если я и в самом деле убегу.

— А ты хочешь остаться у Ирмтрауд?

— Нет, я просто хочу с ней повидаться. Можешь пойти со мной, если хочешь.

Каспар отнес ее чемодан в комнату, показал ей шкаф, полку с книгами, объяснил, как включается верхний свет, лампа письменного стола и ночник. Потом постоял в дверях, не зная, что еще сказать.

— Ты любишь пиццу?

Зигрун кивнула.

— Ну, тогда спускайся, когда закончишь, и мы пойдем в пиццерию.

Пока она устраивалась, он прочел в «Википедии» статью об автономных националистах. Неужели она хочет вступить в эту организацию?

По дороге в итальянский ресторан Зигрун не переставала удивляться. Ее поражали высокие дома с палисадниками и без них, широкая улица со множеством магазинов и ресторанов, машин и людей. Она еще никогда не была в Берлине, так что впечатлений, которые она получит за неделю, ей хватит надолго.

¹ «Автономные националисты» — молодежные организации неонацистов в Германии.

Сильное впечатление произвел на нее и ресторан, в котором хозяин приветствовал Каспара как старого друга, а ее как юную даму, зал с красными стенами и приглушенным светом, официанты в длинных белых фартуках, белые скатерти и матерчатые салфетки.

— Настоящие столовые салфетки! — сказала она, разворачивая свою салфетку и кладя ее на колени.

Она рассказала Каспару о пиццерии в Гюстрове, где пиццу обычно продают навынос, а те, кто ест ее в зале, сидят за резопаловыми столами под неоновыми лампами, и о мальчиках и девочках из ее гимназии, которые по вечерам собираются перед этой пиццерией или на автозаправке — на «Фрайе Танке»; на «Шелл» они не ходят. Раньше они тусовались и у киоска с шавермой, но его сожгли.

— Сожгли?

— Да. В нем торговали африканцы и мусульмане. Они нам там не нужны.

— Они нужны тем, кто у них покупает еду. Если бы они были никому не нужны, их бы там не было.

— Ах, дед, ну чего ты усложняешь? Я знаю только, как это было, сама я в этом не участвовала, я такими вещами не занимаюсь. И я не хожу на их тусовки и не пью пиво. А эти пусть продают свои дёнеры в Африке. Хотя, может, ты и прав: если бы никто у них не покупал, их бы и не было. А правда, что здесь есть двухэтажные автобусы?

Каспар пообещал, что они обязательно покатаются на таком автобусе, на самом верху. Он сообщил ей о билетах в оперный театр и на концерт и о предсто-

ящем походе по музеям, о ее «практике» в книжном магазине и об играх, в которые они будут играть вечерами. Зигрун слушала с сияющими глазами. Она была рада всему, что он перечислил.

— А до Равенсбрюка отсюда далеко?

— До Равенсбрюка?

— Да. Ты помнишь Ирму Грезе? Я хочу посмотреть, где она работала. Родители возят меня раз в год в замок, а иногда еще на какую-нибудь встречу. Они никогда не ездят туда, куда я хочу. Давай с тобой съездим в Равенсбрюк?

— В следующий раз, когда ты приедешь на дольше. На эту неделю у нас с тобой и так слишком насыщенная программа.

Зигрун не возражала. Она с аппетитом ела свою пиццу и, выпив первый бокал колы, который заказала нерешительно, терзаемая любопытством и угрызениями совести, она попросила еще один. Ее интересовало все: численность населения и площадь Берлина, правда ли, что поезда метрополитена ездят под землей и что она будет делать в его магазине. Потом неожиданно спросила, какой была бабушка. Каспар сказал, что они сходят к ней на могилу и там он ей все расскажет. Зигрун это устраивало. Ее устраивало все. Утомленная поездкой, ужином, разговорами, она готова была сразу лечь спать. Зайдя к ней в комнату, чтобы пожелать ей спокойной ночи, Каспар заметил, что ей немного не по себе, что она боится засыпать в чужой комнате. Он присел на край ее кровати и рассказал ей содержание «Волшебной флейты». Рассказал о Тамино, о преследовавшей его змее, о его стра-

хе, о том, как он потерял сознание, а очнувшись, увидел Папагено, который приветствовал его песней. Он говорил медленно, спокойно, и у Зигрун вскоре стали слипаться глаза.

— Я спущусь вниз, оставлю твою дверь открытой и поставлю диск с этой песней, и ты уснешь.

Он коснулся ее руки, встал, спустился вниз по лестнице, нашел диск и включил песню Папагено. Потом вернулся к лестнице, тихо позвал:

— Зигрун!

Не услышав ответа, он еще тише прибавил:

— Спокойной ночи.

Он дочитал до конца статью в «Википедии» об автономных националистах. Ему трудно было поверить, что Зигрун хочет разрушить политическую систему путем революции и заменить ее на национальное и социальное общество, что она вообще имеет какое-то представление о таких понятиях, как «политическая система», «революция» или «национально-социальное общество». Может, ей просто импонирует дух приключений, которым веет от революционной риторики? Может, ее просто потянуло к черным штанам, свитерам с капюшоном, бейсболкам и перчаткам после набивших оскомину юбок и блузок? И ей захотелось стать одной из тех немногих девушек, что добиваются авторитета среди «автономных»?

Потом он прочел статью об Ирме Грезе и впал в еще большее недоумение. В семнадцать лет она хотела стать медицинской сестрой, в девятнадцать стала надзирательницей в Равенсбрюке, потом некоторое время работала в Освенциме, где под ее контролем было более тридцати тысяч женщин, и в конце концов командовала «маршем смерти» в Берген-Бельзен. Отличалась необыкновенной жестокостью, была,

истязала, травила людей собаками, ее считали самой страшной надзирательницей и называли «освенцимской гиеной». Да, она гордо заявила на суде, что выполняла свой долг перед отечеством, и сохраняла самообладание на эшафоте. И этого Зигрун было достаточно? Ее не интересовало, чем занималась ее героиня? Или она этого не знала? Или не хотела знать?

Когда Каспар в семь часов утра вошел в кухню, стол был уже накрыт. Зигрун, придвинув стул к окну, читала «Остров сокровищ». Увидев его, она вскочила, сказала, что всегда встает так рано, чтобы успеть к семи на школьный автобус, включила духовку, в которой уже лежали булочки, и поставила чайник на плиту.

— Не надо, я сама, — остановила она Каспара, когда тот попытался ей помочь, и приготовила черный чай для него и горячий шоколад для себя, из чего следовало, что она уже освоилась на кухне и изучила содержимое шкафов и выдвижных ящичков.

Каспара немного покорила бесцеремонность, с которой она хозяйничала на его кухне и распоряжалась его продуктами, но он был рад, что в кои-то веки его кто-то обслуживает.

День был серый, ненастный, но Зигрун не желала откладывать знакомство с городом. Они целый день путешествовали по Берлину — на подземных и наземных электричках, на простых и на двухэтажных автобусах, на самом верху впереди, где чувствуешь себя властелином мира, на трамваях, в самом конце последнего вагона, где, наоборот, кажется, что ты

убегаешь от мира, и пешком. Каспар вспомнил свой первый визит в Восточный Берлин, тот далекий воскресный день много лет назад, когда он совершил свое первое путешествие по городу. Вспомнил, что хотел чувствовать себя как дома во всем Берлине и во всей Германии. Хотел и не мог. Теперь его желание сбылось, и он был этому рад.

И вот он опять шел по Карл-Маркс-аллее с востока на запад, на этот раз с Зигрун, показывал ей Александерплац, Музейный остров, собор, Нойе Вахе, университет и Жандарменмаркт¹. Зигрун обо всем расспрашивала его и все комментировала, не скрывая своего разочарования: она все представляла себе больше, солиднее, роскошней. Только собор вполне удовлетворил ее, как снаружи, так и внутри. В Нойе Вахе она долго молча стояла перед «Пьетой» Кете Кольвитц².

— Это немецкая мать со своим мертвым сыном? — спросила она наконец.

— Да. И когда эту скульптуру выставили, многие решили, что это дань памяти немецких жертв войны, но не жертв немецкой тирании. Поэтому сделали эту надпись на полу.

— «Жертвам войны и тирании», — прочла Зигрун и покачала головой. — Но почему не немецким жертвам? Почему нельзя сделать так, чтобы мы вспоминали о своих жертвах, а другие — о своих?

¹ *Жандарменмаркт* — площадь в центре Берлина.

² *Кете Кольвитц* (1867–1945) — немецкая художница и скульптор. В Нойе Вахе в Берлине выставлена увеличенная копия ее скульптуры «Мать с погибшим сыном» («Пьета»), выполненная Харальдом Хакке.

— В смерти все равны. И это хорошо, когда люди помнят не только о своих жертвах, но и о том, что они причинили другим.

— Другим! Всегда только другим!..

— Нет, Зигрун, не только другим, а *и* другим.

Каспару не хотелось вступать в дискуссию о немцах и «других» и обсуждать вопрос, насколько немцы «плохие», а другие — «хорошие».

— Как-то раз я пришел сюда зимой. Здесь не было ни души. Было тихо и холодно. И шел снег. Снежные хлопья падали внутрь через это отверстие в потолке, кружились в воздухе и ложились на голову и на плечи матери, и это было настолько печальное и болезненное зрелище, — это была скорбь и боль, адресованные всему, что неправильно. Это неправильно, что люди убивают и умирают на войне, что они притесняют и угнетают друг друга. Земля так велика и так богата, что нам всем на ней может быть хорошо.

Зигрун не отвечала, и Каспар не знал, означало ли ее молчание, что сказанное им убедило ее, или это то самое молчание, которым он в детстве отгораживался от матери, когда та читала ему очередную лекцию на морально-этические темы, а он просто ждал окончания проповеди. Не понял он также, что означает ее жест, когда она взяла его за руку и сказала:

— Пошли?

На улице она отпустила его руку и снова как ни в чем не бывало бодро заговорила на другие темы.

По дороге домой она объявила, что они будут готовить ужин и поэтому надо зайти в магазин. Он не умел готовить, но не хотел в этом признаться. Вспом-

нив при виде грибов, как однажды ел в ресторане пасту со свежими лисичками, он купил лисички, лук, шпик, сливки, спагетти и салат. Дома он принялся за работу, долго мучился с луком, пока Зигрун не велела ему пока нарезать шпик, а сама мигом дорезала лук, отняла у него шпик, предложив ему помыть салат. По сути, готовила она, но делала вид, что только помогает ему. Может, у правых так заведено? Давать мужчине, неспособному играть руководящую роль, иллюзию, что он успешно с этой ролью справляется? Каспар читал об этой традиционной ролевой игре правых — о традиционном распределении ролей между мужчинами и женщинами — и не хотел извлекать из нее выгоду для себя. Когда лисички с луком и шпиком оказались в дымящейся сковороде, а спагетти в кастрюле с кипящей водой, он сел за стол.

— Ты молодец, Зигрун. Спасибо, что ты взяла на себя роль шеф-повара. Без меня ты бы еще быстрее управилась. Но зато я кое-чему научился, глядя на твои манипуляции, и завтра у меня уже получится гораздо лучше.

— Завтра мы будем готовить что-нибудь другое.

— Ты у матери научилась готовить?

— Она не готовит. Поэтому мне и пришлось научиться.

После ужина они по ее предложению засели за шахматы, и Зигрун оказалась настолько продвинутым игроком, что он проиграл две партии подряд. Несколько раз она указывала ему на его ошибки и предлагала переходить. Она была весела и приветлива, как во время приготовления ужина, но он чувствовал

в ней какую-то решимость, словно она начала с ним некую борьбу, в которой твердо намерена была побеждать, чем бы они ни занимались и в чем бы ни состязались. Может, это была просто борьба молодости и старости? Женщины и мужчины? А может, политическая борьба?

Но на ночь она попросила его рассказать, чем кончилась «Волшебная флейта», и когда он пожелал ей спокойной ночи и уже хотел спуститься вниз, чтобы включить «Какой чарующий портрет»¹, она поцеловала его в щеку.

¹ «*Какой чарующий портрет*» — ария Тамино из оперы В. А. Моцарта «Волшебная флейта».

На следующее утро Зигрун разложила на кухонном столе карту Берлина.

— Сегодня классный день. Пошли в поход?

Это и в самом деле был классный день. Они вышли на балкон; синело небо, блестела листва на деревьях, а в осеннем воздухе чувствовалась неотвратимость весны.

— Не знаю. Мы вчера столько ходили. К тому же мне нужно заглянуть в магазин, а в семь — начало концерта.

Зигрун покачала головой. Она все рассчитала: на городской электричке до Ванзее, на пароме до Кладова, потом пешком через Закров, берлинские предместья и Берлинер Форст до Ванзее.

— У тебя плохая карта. Но это наверняка не больше двадцати километров. Мы все успеем — и в магазин, и на концерт.

— Зигрун, у меня нет желания прошагать сегодня двадцать километров. И завтра тоже. Я видел у вас на празднике — ты очень спортивная девочка, для тебя это не проблема. А для меня — серьезное испытание.

Каспар был раздражен. Карта лежала на своем месте в стопке бумаг, среди информационных листков и брошюр с адресами и телефонами — судебные коллегии, разные окружные учреждения, таможенные пункты, клиники, врачи, оптовики, мастерские, горячие линии, почтовые тарифы. Ничего секретного или личного, но она лежала отнюдь не на самом видном месте. Зигрун успела освоиться и в гостиной. Как вчера в кухне. Он бы, конечно, разрешил ей брать все, что ей понадобится, если бы она спросила. Но без спроса?..

Зигрун не замечала его раздражения. Она улыбалась. Очередная ее победа над ним?

— В прошлом году я выдержала испытание «волчий крюк». Сто пятьдесят километров за четыре дня с пятнадцатикилограммовым рюкзаком на спине. Вообще-то, это норматив для мальчишек, но они часто не сдают его. Девочки обычно в нем не участвуют.

— Волчий крюк?

— Да. Кто сдал, получает «волчий крюк»¹. Как достойный носить оружие. Потому что эта руна символизирует защиту от врага.

— Покажешь мне его?

Зигрун бросилась наверх и, вернувшись через минуту в кухню с серебряным значком в руке, гордо положила его на ладонь Каспара. Заметив удивление, с которым тот рассматривал маленький символ, по-

¹ *Волчий крюк* (нем. Wolfsangel) — внеалфавитный символ. Используется в геральдике, присутствует на гербах ряда немецких городов. Применялся в нацистской и применяется в неонацистской националистской символиках.

хожий на вытянутую букву «z» в зеркальном изображении, она спросила:

— Ты что, не разбираешься в рунах? Я тебе сейчас все объясню. С помощью рун с нами как бы говорят наши предки.

За завтраком она нарисовала на листке бумаги несколько рун: руны победы, свою руны, входившую в число символов СС и потому запрещенную, руны, обозначающую ее возраст, руны Одал, знак свободы, и Черное Солнце, знак совершенства. Выучить весь рунический алфавит у Зигрун не хватило терпения. Да он ей, в общем-то, пока и ни к чему. Но она объясняет «мелким» из их отряда значение основных рун.

— А еще я их приучаю уважать немецкий язык и говорить «ручной телефон», а не «мобильник», «свитер с капюшоном», а не «худы», «прокат автомобилей», а не «каршеринг», «Всемирная сеть», а не «Интернет».

Каспар вспомнил изречение на стене в кухне в доме у Зигрун.

— Душа народа — в его языке?

— Точно! Ты прочитал это у нас дома.

«Душа народа в ручном телефоне и во Всемирной сети?» — подумал Каспар, но промолчал. Это изречение заключало в себе некую истину, хотя и не ту, которой Зигрун учила своих «мелких», и он не хотел насмеяться над ней — ни над истиной, ни над Зигрун. Он решил относиться к ней всерьез. Иначе как он мог достучаться до ее души?

— Значит, тебе уже доверяют работу с малышами?

— Обычно я отвечаю за группу мелких, — рассмеялась она, — мелких девчонок, когда мы в лагере ночуем под открытым небом. Мы сидим вокруг костра, я читаю им что-нибудь вслух, потом мы спим у костра, как в поговорке — ноги в тепле, голова в холоде, — просыпаемся утром хорошо отдохнувшие, и через пять дней мы уже одна дружная семья. Еще и потому, что каждый ночью хоть раз стоит на посту и один час отвечает за костер. По утрам, во время утренней зарядки, я слежу, чтобы все правильно выполняли приседания и отжимались от пола. Я хочу, чтобы они стали сильными и чтобы мы победили во время учений на местности.

— И побеждаете?

Она рассмеялась.

— А ты как думаешь?

— Думаю, побеждаете.

— Только вот с пением проблема: соревнования по пению — это дело везения. Можно заставить ленивых и толстых бегать, а если кому-то медведь на ухо наступил, то тут и дубинка не поможет.

— Ты любишь петь?

— Да. Как и ты. На празднике ты пел вместе со всеми, и я видела, что ты тоже любишь петь. В следующий раз я привезу и покажу тебе свой песенник. Ты знаешь песню «Наша жизнь принадлежит только свободе»?¹ Это моя любимая песня. А в «Братьях на Востоке и Западе» мне нравятся слова о том, что на-

¹ Песня, написанная в 1935 г. Гансом Бауманом для молодежной организации гитлерюгенд.

ша честь — это верность, верность народу и стране. Что в этом плохого?

Она поправила стул, выпрямилась и запела звонким, чистым голосом:

Верность стране и народу —
Это и есть наша честь...

Каспару захотелось ей возразить. Попытаться объяснить, что мелодия песни, которую она пела, украдена у другой песни — песни рабочего движения «Братья, к солнцу, к свободе!»¹. Что рабочее движение глубоко враждебно национал-поселенцам и факт кражи мелодии — это, по сути, кощунство по отношению к нему. Что слова «моя честь — это верность» были девизом СС. Что верность только тогда имеет отношение к чести, когда она служит праведным целям, что народ и страна не всегда преследуют эти праведные цели и поэтому такую «верность» иногда следует отменить. Но Зигрун говорила и пела так искренне, что он понял бессмысленность, во всяком случае несвоевременность, любых попыток переубедить ее; сейчас он не сможет до нее достучаться.

— Мальчишкой я был членом Евангелической молодежной организации, носил форменную куртку,

¹ Песня «Братья на Востоке и Западе» появилась в результате многократных переделок старинной прусской студенческой песни «Медленно движется время». В 1898 г. ее несколько измененную мелодию использовал Леонид Радин в своем марше «Смело, товарищи, в ногу». В 1917 г. Герман Шерхен создал на ее основе немецкий коммунистический гимн «Братья, к солнцу, к свободе!», а в 1920-х годах штурмовики НСДАП написали на ту же мелодию свой текст и назвали песню «Братья в рудниках и шахтах».

спал в лагере у костра и пел песню про диких гусей. Мне кажется, за свою честь каждый должен отвечать сам. Если кто-то совершает бесчестный поступок, этот поступок не станет честным только потому, что он совершает его из верности кому бы то ни было. — Он посмотрел на часы. — Однако нам пора собираться. Мы пойдем ко мне в магазин. Но сначала я покажу тебе, что нас ждет сегодня вечером.

Каспар дал Зигрун послушать первую часть и начало второго соль-минорного клавирного концерта Баха, первый этюд Гласса и начало Четвертой симфонии Брамса.

— Когда я слушаю Баха, у меня такое чувство, что музыка заключает в себе все — легкое и тяжелое, прекрасное и печальное — и примиряет все это друг с другом. Гласс наводит меня на мысли о реке жизни, которая несется куда-то через стремнины и водопады, спешит, спешит... А Брамс для меня — это и страсть, и ее укрощение. Я не хочу сказать, что ты на концерте должна обязательно испытывать то же, что и я. Каждый слышит что-то свое. Но когда слушаешь музыку, полезно иногда прислушаться и к себе самому — к тому действию, которое она производит на тебя. — Каспар смутился. Не слишком ли многого он от нее хочет? Может, она еще не доросла до подобных разговоров? — Ты меня понимаешь?

— Да, — ответила она, глядя на него серьезным взглядом, словно и в самом деле понимала его.

— Хорошо. Ну ладно, пошли.

В магазине он попросил ее сначала распаковать полученные посылки, а потом разложить по алфавиту бланки заказов, которые во время болезни занимавшейся этим сотрудницы просто складывали в коробку. Когда, разобравшись с делами и сделав несколько телефонных звонков, он заглянул к ней, то увидел стопки распакованных книг, аккуратно сложенные картонные коробки и рассортированные бланки заказов, но Зигрун исчезла. Он испугался, вспомнив Ирмтрауд, вышел на улицу и, не обнаружив ее и там, рассудил, что если она и в самом деле решила уйти, то не стала бы дожидаться его перед дверью магазина, и вернулся в магазин. Он обошел все отделы. Ее не было ни в отделе детско-юношеской литературы, ни в отделе беллетристики. Наконец он нашел ее перед стеллажом с книгами по истории. Она сидела на полу и читала.

— У тебя, оказывается, есть книга о Рудольфе Гессе. Но в ней — сплошное вранье. И вообще, все эти книги здесь — вранье. Гитлер не хотел войны, он хотел мира. И немцы не убивали евреев.

Каспар тоже сел на пол напротив нее.

— Все эти книги писали историки, которые много лет собирали материал. Почему ты думаешь, что они пишут неправду?

— Их купили. Им платят, чтобы они писали неправду. Оккупанты хотят держать Германию на коротком поводке. Они хотят, чтобы мы стыдились своего прошлого и были тише воды и ниже травы. Так им нас легче угнетать и эксплуатировать.

— Если ты все же заглянешь в эти книги, ты увидишь, что они основаны на фактах — на документах немецкого правительства и НСДАП, на материалах о концентрационных лагерях, на показаниях свидетелей и на письменных свидетельствах самого Гитлера и его соратников. Ты думаешь, это все неправда?

— Они врут про Освенцим. «Циклоном Б» нельзя было уничтожать людей, во всяком случае, так много и так быстро, как пишут про Освенцим. Как говорит папа, это не политика, это химия. А если врут про химию, про которую врать невозможно, потому что это наука, значит врут и про все остальное.

— Но может, ты все-таки хочешь прочесть одну из этих книг? Возьми ее с собой. А дома у меня к тому же есть одна хорошая книга про химию.

Зигрун взяла с собой биографию Гесса, в которой хотела показать Каспару места, где пишут неправду, а поскольку он дал ей вместительный фирменный матерчатый мешок с логотипом магазина, она сунула туда еще и книгу о девочках. Перед тем как отыскать книгу о Гессе, она явно ознакомилась с отделом детско-юношеской литературы, и это немного успокоило Каспара.

К этому разговору они больше не возвращались. Они сходили в Старую Национальную галерею, и Зигрун, в полном восторге от Каспара Давида Фридриха и Адольфа Менцеля, засыпала Каспара вопросами об их жизни и творчестве. Тот был рад, что вечером накануне кое-что прочел об этих двух художниках. Понравился ей и концерт. Это был ее первый в жизни концерт, если не считать фестиваля правого рока в Саксонии, на который родители взяли ее с собой. С возрастом они остыли к року, но на этом фестивале у них была возможность повидаться со старыми друзьями, связь с которыми им не хотелось терять. Зигрун надела свое лучшее платье — дирндль, заколола свои рыжие волосы, вплела в них голубую ленту и не бежала, как обычно, на полшага впереди, а шла спокойной, рядом с Каспаром, по фойе, по лестницам. Что произвело на нее большее впечатление — интерьеры филармонии, оркестр с дирижером и пианистом или сама музыка, — он не мог понять по ее лицу и поведению. Возможно, Зигрун и сама этого не знала. Но она не ерзала на стуле, не поглядывала на часы и не вскакивала в антракте и по окончании концерта. По дороге домой она была молчалива.

Дома она заварила чай, ромашку с медом, и некоторое время молча мешала ложечкой в чашке.

— Я хочу побольше узнать об этих композиторах. Бах и Брамс были немцы. А третий?

— Он тебе понравился?

Зигрун кивнула.

— Он еще жив. Больше я о нем ничего не знаю. — Каспар встал, взял свой ноутбук и пощелкал клави-

шами. — Филипп Гласс, американец, тысяча девятьсот тридцать седьмого года рождения, еврейская семья, с детства занимался музыкой, учился играть на скрипке, флейте и пианино, в десять лет уже играл в оркестре, в двадцать восемь сочинил свою первую вещь. Он сказал: «Интереснее всего музыкальный материал, который можно найти в повседневной, обыденной жизни». Хорошо, правда?

— Не знаю...

Она произнесла это неуверенно, словно усомнившись в правильности своего первоначального впечатления от Гласса. Потому что он американец? Потому что еврей? Каспар задумался, должен ли он что-нибудь сказать? Зигрун показала рукой на гостиную.

— Там стоит пианино. Ты играешь на нем?

— Нет, давно уже не играю. Биргит раньше много на нем играла.

— Можно мне завтра попробовать?

— Конечно. Мы можем найти тебе учителя.

— Но я же потом вернусь домой, и мне там не на чем будет играть.

— Есть электрические пианино, которые звучат так же, как обычные. Если тебе понравится, мы можем купить тебе такое пианино. Оно состоит из одной клавиатуры и легко поместится в твоей комнате.

Зигрун слушала его со скептическим выражением лица.

— Я уверен, что и у вас там можно найти учителя музыки.

Увидев, что она по-прежнему относится к его затее с недоверием, он рассмеялся.

— Какого-нибудь национал-поселенца, против которого твои родители не будут возражать.

— А ты не смейся над нами.

— Я вовсе не смеюсь.

Она недоверчиво покосилась на него, допила свой чай и встала.

— Я пошла спать. Включи, пожалуйста, музыку, в которой нет пианино. Можешь не подниматься наверх, я сама усну.

Он слышал, как она мылась, потом поднялась по лестнице к себе в комнату и легла в постель.

— Спокойной ночи! — крикнул он ей.

— Спокойной ночи, — откликнулась она.

Каспар включил вторую часть Четвертой симфонии Брамса. Несмотря на спокойный монолог валторн, размеренное пиццикато басов, ласковое тутти скрипок и мягкость мелодии, — еще до вторжения темы-призыва, когда валторны зазвучали более тревожно, скрипки более решительно, а мелодия стала более мрачной, — у Каспара болезненно сжалось сердце. Это отнюдь не колыбельная. Музыка растревожила его. Интересно, растревожила ли она Зигрун? Почему она сегодня решила обойтись без него? Может, он обидел ее? Может, уже потерял? Но дверь она все же не закрыла и не отказалась от ежевечерней порции музыки.

Вторая часть симфонии кончилась, и Каспар включил музыку. Взяв с полки книгу о технической и химической составляющей массовых убийств в Освенциме, он задумался, куда бы ее положить. Зигрун должна как можно скорее ее заметить, но это не

должно выглядеть так, будто он специально подсовывает ей книгу. Он постоял некоторое время, озираясь по сторонам, но так и не нашел подходящего места. Потом ему стало стыдно. Он не знал, достучится ли он вообще когда-нибудь до нее. Во всяком случае, никакие фокусы тут не помогут. Он поставил книгу на место. Захочет найти — найдет.

Он проснулся от тихих ударов по клавишам рояля. Зигрун подбирала какую-то мелодию. Когда он вышел из душа, она ее уже играла. Мелодия была ему незнакома.

Стол на кухне опять был уже накрыт. Но перед завтраком Каспар показал Зигрун правильное расположение и чередование пальцев при исполнении гаммы, и она не успокоилась до тех пор, пока не сыграла свою мелодию не одним указательным, а всеми пятью пальцами правой руки.

— Да у тебя просто талант пианиста!

Зигрун небрежно пожала плечами, но он видел, что похвала ее обрадовала.

— Попробуй начать заниматься. Может, тебе понравится.

— А почему ты сам перестал играть?

— Твоя бабушка играла так хорошо, что мне не хотелось позориться. Она начала учиться, когда мы уже поженились, но занималась с таким усердием, что очень скоро оставила меня далеко позади. Сходим сегодня к ней на могилу?

Они снова шли по широкой улице со множеством магазинов, ресторанов, машин и людей, которая два дня назад произвела на Зигрун сильное впечатление. На этот раз она была настроена критически. Почему люди так помешались на потреблении? Почему они обязательно хотят есть в ресторанах, а не дома? Почему ездят на машинах, а не ходят пешком, не пользуются метрополитеном или автобусами? Каспар, не зная, что ей ответить, повел ее узкими улочками, мимо неказистых лавчонок, погребков, контор, мастерских — от обувных до компьютерных. Он рассказал Зигрун о старинных заброшенных могилах на кладбище, которые можно купить и привести в порядок, и что Биргит выбрала себе такой участок и теперь покоилась там. Когда-нибудь его похоронят рядом с ней, и это хорошо, хотя ему все равно, в какой могиле покоиться, в старинной или обычной.

Они прошли через большие открытые ворота, мимо часовни, по главной аллее кладбища, осеняемой старыми высокими деревьями. Впереди медленно ехал черный катафалк, запряженный четырьмя черными лошадьми, с кучером в черной одежде и гробом под черным сукном. Дорога шла в гору, и вскоре катафалк исчез за горизонтом, там, где между деревьями синело небо.

Могила Биргит находилась у стены, за которой проходила железная дорога. Вертикальная каменная плита между двумя колоннами, увенчанными ангелами, а перед ней каменная плита на земле. На вертикальной плите можно было с трудом разобрать по-

лустерты имена тех, кого похоронили здесь сто лет назад, на горизонтальной было высечено имя Биргит Веттнер.

— Ты знаешь, кто были эти люди?

— Коммерсанты, офицеры. Последними здесь похоронили четырех сыновей. Они погибли во время Первой мировой войны. Каждый год по одному. — Каспар показал на каменную скамью у соседней могилы. — Давай сядем, и я расскажу тебе о твоей бабушке.

Он решил представить Биргит такой, какая она была. Рассказал о ее семье, о Лео Вайзе и ее бегстве, потом о ее учебе, ее профессиях, увлечении роялем, ее индийской эпопее, ее борьбе против загрязнения окружающей среды и о том, как она последовательно, одно за другим бросала все свои начинания.

— Она так и не нашла свое место в этом мире.

— Потому что сначала жила у нас, а потом у вас?

Каспара удивил ее вопрос. Потом он вспомнил, что Биргит начала пить, когда поступила в университет и по-настоящему осознала свою инородность по отношению к Западу. Может, эта инородность стала началом ее бесприютности? И она пыталась утопить и то и другое в вине?

— Не знаю, Зигрун. Разве обязательно жить сначала у вас, а потом у нас, чтобы не найти свое место в мире?

Еще не успев договорить, Каспар подумал, что она может неверно истолковать его вопрос, и не ошибся.

— Я у тебя просто в гостях. Это совсем другое. А вот если бы я осталась здесь жить — я имею в виду

без родителей, без моих друзей и знакомых, без родной почвы под ногами, — не знаю, как бы я себя чувствовала... — Она нахмурилась. — Расскажи еще про бабушку.

Он рассказал о надеждах Биргит, в частности о ее желании написать про свою жизнь и найти свою дочь и о том, что обе эти надежды были связаны друг с другом и ни одна из них не сбылась. А ведь она хорошо писала. Как это грустно, говорил он, что Биргит была таким разносторонне одаренным человеком, но все ее дарования так и остались нереализованными из-за ее внутренних противоречий.

— Тебе знакомо это чувство, когда ты хочешь что-то сделать, но никак не можешь решиться?

Зигрун на мгновение задумалась.

— Нет, — ответила она наконец. — Мне это незнакомо. По-моему, надо так: или-или.

— Да, наверное, так и должно быть: или-или. Но один человек ничего не боится, другой пугается собственной тени. Может, твоя бабушка была не самого смелого десятка. Она хотела найти твою мать. Но не знала, как у той сложилась жизнь. Если плохо, твоя бабушка обвинила бы в этом себя. А она боялась вины. Ей было страшно, что дочь сурово осудит ее. Она сама обвиняла и судила себя, и еще больше вины, еще более сурового приговора она бы не вынесла.

— Мы бы с ней понравились друг другу?

— Ты бы ей точно понравилась. Ты не можешь не нравиться. Понравилась бы она тебе? Она бы очень старалась. Но у нее были светлые и мрачные перио-

ды. Она могла быть чужой, холодной и неприступной. Не знаю, как бы ты с этим мирилась.

— Какие у нас еще на сегодня планы?

— А какие у тебя пожелания? Можно сходить в Музей современного искусства, можно покататься на пароходе, я могу позвонить учителю музыки твоей бабушки; может, он согласится дать тебе урок прямо сегодня. Ты можешь пару раз обыграть меня в шахматы, а я тебя в скребл. А вечером мы можем опять вместе заняться кулинарией.

Зигрун кивнула.

— Звони!

Учитель музыки не брал любителей и тем более начинающих. Он учил Биргит, потому что та вместе с его женой занималась йогой и они стали подругами. Они с Каспаром тоже немного подружились. Когда Каспар рассказал о Зигрун, тот изъявил готовность пожертвовать ради нее своим послеобеденным сном. До этого Каспар показал Зигрун могилы братьев Гримм и других знаменитостей, они съели по жареной колбаске с картофелем фри, и он проводил ее к учителю музыки, жившему на набережной Шпрее, а сам устроился в ближайшем кафе. Через час он зашел за ней. На его вопросы, как прошло занятие, чему она научилась и понравилось ли ей, она отвечала односложно, а по дороге домой и в супермаркете упорно молчала и мысленно была где-то далеко. Учитель дал ей нотную тетрадку, которую она достала из сумки и, не показав Каспару, положила на рояль.

— Я не буду тебе мешать, если немного поиграю? Ты не мог бы оставить меня одну?

Каспар ушел в столовую, закрыл за собой дверь, и Зигрун начала заниматься. Судя по доносившимся из гостиной звукам, она осваивала нотную грамоту и пыталась играть по нотам какие-то незатейливые мелодии. Она неустанно трудилась два часа, и в ее игре наметился явный прогресс. Когда стемнело, она встала из-за рояля, походила взад-вперед по гостиной, изредка на минуту останавливаясь, потом поднялась к себе, снова спустилась вниз и постучала в дверь столовой.

— Да-да!

— Он сказал, что если я хочу, то могу приходиться к нему каждое утро в девять, пока буду в Берлине.

Каспар так разволновался, что вскочил на ноги.

— Ты знаешь, что это означает? Он в тебя верит. Он очень редко берет учеников, и только тех, у кого есть явные способности.

Она опять пожала плечами. Но при этом покраснела, торжествующе сжала губы и кулаки.

— Ну что, займемся ужином? — произнесла она небрежно.

После ужина она вдруг, не глядя на него, сказала:

— Ты нас презираешь. Ты считаешь, что мы тупые и ничего не понимаем, что с нами бесполезно разговаривать. Ты считаешь себя лучше нас.

Каспар хотел возразить ей. «Но разве она не права?» — подумал он и посмотрел на нее. Она сидела, опустив голову и плечи, ее рыжие волосы упали ей

на лицо; по-видимому, она смотрела на свои руки, лежавшие на коленях. В этот момент она являла собой воплощение одиночества и неприступности.

— Мне никогда, ни разу не пришло в голову, что ты тупая. Ты понимаешь все, что я говорю, ты обыгрываешь меня в шахматы, с тобой захотел заниматься учитель музыки, который берет только талантливых учеников. Ты сильная, выносливая, как в учебе, так и в спорте...

Он умолк. Может, ему следовало прибавить, что он гордится ею? Но он уже предвидел разговор, в котором она скажет, что гордится быть немкой, и он возразит, что нельзя гордиться тем, чем ты являешься, можно гордиться лишь тем, что ты сделал, чего ты добился, а Зигрун явно не его заслуга. Не решился он сказать и то, что рад иметь такую внучку: либо он показывает ей свою радость и она видит ее в разных ситуациях, так что ему не надо выражать ее в словах, либо никакие слова не помогут. Ему не нужна никакая другая внучка, он обрел эту и не хочет ее потерять. Может, ему...

— Ты все сказал? — прервала она его раздумья.

— «Ничего не понимаем!»! А кто тебе сказал, что ты уже сейчас должна все правильно понимать? Может, сначала надо кое-что просто увидеть? Тебе четырнадцать лет. В четырнадцать лет никто не может все понимать и видеть. И при этом еще и знать, что правильно, а что нет. — (Зигрун все еще вопросительно смотрела на него.) — Почему бы тебе пока просто не посмотреть на все это? — Он отвел руки в сторо-

ны, имея в виду себя, свою квартиру, свой магазин, Берлин, все, что он собирался ей показать. — На мир, в котором я живу?

— А тебе на мир, в котором живу я?

Он улыбнулся.

— Поехать с тобой в спортивный лагерь? Принять участие в учениях на местности и испытаниях мужества? Пройти сто пятьдесят километров с пятнадцатикилограммовым рюкзаком на спине за четыре дня? И стать дедушкой, награжденным волчьим крюком? Ах, Зигрун...

Она молчала, обдумывая его слова. Когда он встал и принялся мыть посуду, она подошла, взяла полотенце и стала вытирать тарелки, вилки и ножи.

— У тебя на полке стоит «Дневник Анны Франк»¹. Почитай как-нибудь «Правду о дневнике Анны Франк».

Закончив вытирать посуду, она повесила полотенце на крючок.

— Я пойду наверх и немного почитаю. Ты мне через час пожелаешь спокойной ночи? И поставишь какую-нибудь музыку? С пианино?

В гостиной он заметил, что книги о технической и химической составляющей массовых убийств в Освенциме на полке нет. Это была первая из многих

¹ «Дневник Анны Франк» — записи на нидерландском языке, которые вела еврейская девочка Анна Франк с 12 июня 1942-го по 1 августа 1944 г. в период нацистской оккупации Нидерландов. Впервые издан в 1947 г. при содействии отца Анны Отго Франка, подготовившего для публикации несколько сокращенную и переработанную версию по сравнению с оригиналом.

книг, которые она брала и ставила на место, не говоря ему ни слова. Он тоже не заговаривал с ней о них. Время от времени он замечал пустые места на полке. Но даже когда он их не замечал, она читала книги из его библиотеки; когда он спрашивал ее о книгах, которые отобрал для нее и поставил на полку в ее комнате, она ничего не могла о них сказать.

Через час он пожелал ей спокойной ночи, и она выразила радость по поводу завтрашнего занятия музыкой. Он включил ей «Нотную тетрадь Анны Магдалены» Баха.

На занятия по музыке Зигрун ходила даже в субботу и в воскресенье. И в последний день ее пребывания в Берлине, когда за ней в пять часов должен был приехать Бьёрн, она тоже утром сходила на набережную Шпрее. Она уже давно ходила туда одна. После занятий она каждый раз дома садилась за рояль и два-три часа играла. Доставляло ли ей это радость или было тяжелой повинностью, стала ли музыка для нее счастливым открытием, или она просто хотела доказать что-то ему и себе, Каспару трудно было судить. Но как бы то ни было, «Волшебную флейту» в театре она слушала внимательно, с живым участием, затаив дыхание, качала головой, смеялась.

В магазине музыкальных инструментов она присмирела, робко кивала на все комментарии и предложения Каспара, но решительно воспротивилась его намерению купить электрическое пианино — она, мол, не знает, что скажет отец, увидев это пианино. Вполне возможно — нет, наверняка, — он не разрешит ей взять его с собой. Каспар видел по ее лицу, что ее пугает перспектива конфликта с отцом. Он предложил заказать пианино через Интернет с доставкой ей на

дом. Ведь у нее, кажется, в декабре день рождения? Третьего числа? Впереди еще целых полтора месяца, и она успеет все объяснить родителям и уговорить их. Но это не рассеяло ее страха. Остановились на том, что она позвонит ему, если родители не разрешат ей принять подарок.

В Музее Бергрюна¹ Зигрун проявила гораздо больше интереса и терпения, чем он ожидал. Они быстро обошли все залы; Зигрун явно стремилась сначала получить общее представление об экспозиции. Потом они много времени провели перед скульптурами Джакометти². Зигрун увидела в них материализовавшуюся длинную тень, которую человек отбрасывает в утренние и вечерние часы, и они ей понравились. К полотнам Матисса и Клее³ она приближалась осторожно, словно не зная, можно ли ей и хочет ли она вообще смотреть на такое. Перед картинами Матисса она стояла дольше, чем перед работами Клее; у Каспара было такое впечатление, что они нравились ей все больше, но он не решался спросить ее об этом, чтобы не смущать, потому что Клее был немецким художником, а Матисс французским. Пикассо было единственным именем, которое она знала. Его она решительно отвергла. Он ей не нравится, заявила она. Это не искусство. Каспар на нескольких картинах показал ей его творческую эволюцию, и она оказалась

¹ *Музей Бергрюна* — одно из наиболее ценных собраний искусства эпохи классического модерна.

² *Альберто Джакометти* (1901–1966) — швейцарский скульптор, живописец и график.

³ *Пауль Клее* (1879–1940) — немецкий и швейцарский художник.

достаточно умна, чтобы проявить интерес к этой теме, но осталась непоколебима в своем отрицании Пикассо, и когда она назвала один из его женских портретов «дегенеративным», Каспар плавно, не вступая в дальнейшие дискуссии, завершил визит в музей.

Может, она сознательно провоцировала его? С ней что-то происходило. По дороге домой она вся ощипилась, в метро нашипела на женщину, которая ее случайно задела локтем, нашипела на Каспара за то, что тот слишком медленно выходил из вагона; долго ворчала по поводу продуктов, которые он купил на ужин. Это был последний вечер; Каспар сначала подал крабы в йогуртово-укропном соусе, потом жареный стейк, потому что Зигрун любила мясо, жаренное на огне, салат и багет, а на десерт шоколадный мусс. Он очень старался, сам приготовил соусы, а остальное долго и обстоятельно выбирал в магазине. Зигрун говорила о доме, о том, как хорошо умеет готовить отец и как мастерски жарит мясо, о том, что они никогда не покупают то, что могут приготовить сами, и что она не понимает, как Каспар собирается выживать в этой катастрофе без огорода и запасов продуктов.

— В какой катастрофе?

— Вы закрываете на это глаза, — продолжала она высокомерно-покровительственным тоном, — но это видно уже каждому — что мусульмане хотят захватить Германию, изнутри и снаружи. Мы можем покориться или бороться. Если мы хотим победить, мы должны быть готовы к борьбе. Мы должны стать сильнее их. Или они станут сильнее нас.

— Это говорит твой отец?

— Это вечный закон. Вы его забыли. А отец не забыл и постоянно напоминает нам о нем.

— Постоянно?

— Каждый раз, когда мы устаем и начинаем думать о собственной шкуре или о всякой ерунде, вместо того чтобы работать.

— Работать? А что вы делаете?

Зигрун уставилась на него как на слабоумного.

— Мы — поселенцы. У нас пока еще мало земли, но придет время, и у нас будет ее столько, сколько надо. Мы работаем, занимаемся крестьянским трудом. А ты что думал?

— Ваше хозяйство не похоже на крестьянскую усадьбу. Я думал, твой отец или твои родители работают в городе.

— Я же говорю: у нас пока мало земли. И скотины у нас нет, только куры. Но у матери работы хватает, хоть я ей и помогаю. У отца есть кое-какая сельхозтехника, и он выполняет разные заказы. Его брат, который получил в наследство усадьбу в Нижней Саксонии, купил себе новую технику, а отец привел в порядок старую и работает на ней.

Каспар опять недооценил Бьёрна. Тот все же кое-чего добился и, возможно, предложил Свене и ее приятелям другие горизонты — альтернативу автобусной остановке и бензозаправочной станции с пивом и дебошами. Может, то, что показалось ему в поведении Свени покорностью, было просто благодарностью?

Позже, присев к Зигрун на край кровати, чтобы пожелать спокойной ночи, он серьезно посмотрел на нее.

— Это была для тебя непростая неделя. Не знаю, как бы я в четырнадцать лет переварил столько новых впечатлений. Когда ты приедешь ко мне весной, тебе будет уже легче. Мы можем даже отправиться в какое-нибудь путешествие. Как ты на это смотришь?

— Я так и не повидала Ирмтрауд.

— Наверное, это я виноват. Мне надо было подумать об этом.

— Нет. Ничего, в следующий раз повидаю. — Она наморщила лоб. — Я не знаю, можно ли мне пригласить тебя на день рождения... Я не знаю, что скажут родители.

— Ерунда. Не переживай. Я рад, что у меня теперь есть ты. Я буду скучать по тебе. — Он коснулся ее руки, как в первый вечер. — Спокойной ночи.

Она ничего не ответила. Каспар спустился вниз, включил одну из «Детских сцен» Шумана. Когда вещь кончилась, он услышал шаги Зигрун на лестнице. Она быстро спустилась вниз, подбежала к нему, поцеловала его, снова умчалась наверх и закрыла за собой дверь.

На следующий день после занятия, домашних упражнений и обеда оставалось еще три часа до приезда Бьёрна. Зигрун изъявила желание еще раз побывать в книжном магазине и попросила разрешения выбрать и взять с собой три книги.

В магазине она сказала, что ей нужно какое-то время, чтобы найти подходящие книги, что она сама сориентируется, и направилась в отдел исторической литературы. Когда он через полчаса заглянул к ней, она лежала на полу, на животе, и играла с котенком. Даже не успев удивиться, откуда в магазине мог взяться котенок, он мгновенно тоже увлекся игрой. Зигрун, сняв носки, соорудила из них некое подобие мячика, стянула его резинкой, подвесила на другую резинку и гоняла котенка взад-вперед, заставляла прыгать вверх и ловить мячик лапой. Это был черный котенок с белыми лапами. Он то вел себя как неуклюжий, глупый детеныш, то вдруг превращался в хитрого, ловкого охотника, то в маленького грозного тигра. Зигрун сквозь смех подзадоривала его возгласами, манила, дразнила. Наконец устав, он грозно выгнул спину, зашипел на нее, отошел в сторону

и улегся на пол. Зигрун подползла, прижалась к нему и принялась гладить и ласкать его.

До этого Каспар видел ее бойкой, самостоятельной, решительной, ершистой. Он забыл, что в свои четырнадцать лет она сама еще была ребенком, и ей хотелось играть, хотелось ласки и тепла. Она была так поглощена общением с котенком, что даже не заметила Каспара. Вся ласка, которую он мог себе позволить в отношении Зигрун, — это на мгновение положить ладонь на ее руку, может быть, дружески обнять в качестве приветствия или прощания, в особых случаях — поцелуй в лоб. Может, завести для нее котенка? Она ведь наверняка будет рада. А он? Готов ли он иметь в доме кошку ради того, чтобы Зигрун во время берлинских каникул было веселей?

Как выяснилось, котенка принесла в магазин одна из сотрудниц. Ей, конечно, следовало позвонить и спросить разрешения, но у нее не было выбора: Лолле каждые два часа нужно давать таблетку, а дома никого не было, кто мог бы взять на себя эту заботу. Каспар поинтересовался, насколько это хлопотное дело — держать в доме кошку, и задумался, радует ли его эта перспектива или пугает. В конце концов он спросил, можно ли просто одолжить кошку, в частности, Лолу на время каникул Зигрун, и получил отрицательный ответ. Кошки — не собаки, пояснила сотрудница, они привязываются к месту сильнее, чем к человеку, и таскать их из дома в дом жестоко. Но Зигрун и Лола могут встречаться в магазине.

В этот момент появилась Зигрун с Лолой на руках. У нее был заспанный вид.

— Мы с ней вместе уснули! — сообщила она удивленно. — Правда! Нам что, уже пора? Я оставила свои книги там, в отделе.

Она сходила за книгами. Это были «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи, роман Джойс Кэрол Оутс¹ о девочке, потерявшей мать в результате несчастного случая, и книга о депортациях немцев и поляков в двадцатом веке. Каспар удивился ее выбору, но промолчал.

Дома Зигрун выразила желание, чтобы Каспар присутствовал при ее сборах и следил, чтобы она ничего не забыла. Книги из магазина она положила на дно чемодана. Каспар не стал спрашивать, хочет ли она утаить их от родителей. Потом они в последний раз посидели вместе на кухне за чашкой ромашкового чая. Беседа не клеилась. Да, на следующей неделе опять в школу, и ей в семь часов утра надо уже сидеть в школьном автобусе. Нет, она не знает, когда начинаются весенние каникулы. Ну, раз его компьютер говорит, что за две недели до Пасхи, значит, наверное, так и есть. Она надеется, что родители не будут возражать против пианино. Учитель музыки дал ей, кроме нотной тетради, еще «Нотную тетрадь Анны Магдалены» Баха. Если Каспар как-нибудь соберется ей написать, было бы классно, если бы он прислал фото Лолы.

Бьёрн приехал, пытливо взглянул на Зигрун, так же как в прошлый раз, быстро выпил бутылку пива,

¹ *Джойс Кэрол Оутс* (р. 1938) — американская писательница, прозаик, поэтесса, драматург, критик.

потребовал, чтобы Каспар сделал следующий перевод ко дню рождения Зигрун, заявив, что выплаты должны быть привязаны не к календарному году, а к году жизни, осведомился, был ли соблюден его запрет на кино, и назначил дату следующего приезда Зигрун — за неделю до Пасхи.

Через минуту Зигрун уехала, и Каспар остался один.

Она оставила комнату в идеальном порядке: сняла и аккуратно сложила постельное белье, сверху положила полотенце, книги поставила на полку, стул задвинула под стол, точно посередине. Каспару стало грустно. Ни худи, или свитера с капюшоном, забытого в шкафу, ни фото родителей на стене рядом с кроватью, ни одного каштана из тех, что она подобрала под деревьями у Нойе Вахе, на столе... Хоть бы что-нибудь оставила и тем самым показала, что эта комната, пусть ненадолго, но все же была ее домом и что она собирается сюда вернуться!

Благовоспитанность, которую она проявила, покидая свое временное жилище, вселяла в него надежду получить вскоре принятое в таких случаях коротенькое благодарственное письмо. Но ни письма, ни открытки, ни звонка он так и не дождался. Не позвонила она и чтобы отменить затею с пианино, поэтому он заказал его и проследил в Интернете продвижение заказа: товар был доставлен по указанному адресу. Но и после этого она не позвонила, а выполнив банковский перевод, он не дождался благодарности или хотя бы подтверждения получения денег и от

родителей. Может, самому написать Зигрун? А если родители перехватят его письмо? А как быть в Рождество? Послать ей подарок по почте или отвезти самому? А вдруг они празднуют не Рождество, а Йоль?¹ Дарят ли на Йоль подарки? Он прочел в справочнике, что на Йоль двери дома всегда открыты для гостей и что их щедро угощают. Значит, он может прийти и вручить ей подарок, не рискуя, что у него перед носом захлопнут дверь?

Дни, проведенные с Зигрун, оказали на него благотворное воздействие. Ему было хорошо с ней — дома, в магазине, в городе. Теперь, после ее отъезда, он вновь осиротел, как в первые месяцы после смерти Биргит. Он продолжал «функционировать», не позволяя себе небрежности в одежде и вообще во внешнем виде, в магазине был, как всегда, со всеми приветлив, аккуратен и точен в работе. Но это поглощало все его силы, и вечером его хватало лишь на то, чтобы сунуть готовое блюдо в микроволновую печь и после ужина сесть с книгой на диван. Через несколько минут он уже не читал, а предавался мыслям и воспоминаниям, не отдельным и определенным, а похожим на клочья тумана и вызывающим смутное чувство, что его жизнь, как внешняя, так и внутренняя, развалилась на куски. К тому же он стал много пить — чтобы забыть Биргит и забыться самому. Каждый вечер, вернее, каждое утро он давал себе слово ограничиться вечером половиной бутылки, но как-то незаметно выпивал всю целиком.

¹ *Йоль* — праздник середины зимы у исторических германских народов.

Те немногие дружеские связи, которые они приобрели вместе с Биргит, заглохли еще до ее смерти; пьющая и в конце концов пьяная Биргит внушала брезгливую жалость не только друзьям и подругам, но и самой себе. Когда ее не стало, он разослал всем извещение о смерти, получил соболезнования, потом несколько приглашений в гости, но, поскольку ответных приглашений от него никто не дождался, внимание к нему постепенно иссякло. До визита Зигрун он не испытывал по этому поводу особых сожалений. Теперь же вдруг задумался, не стоит ли эти связи реанимировать? А может, лучше попытаться завести новых друзей и приятелей? Но как это сделать, если тебе семьдесят один год?

Он нашел кафе, в котором можно было играть в шахматы. Отчасти и для того, чтобы в следующий раз быть достойным противником для Зигрун. Но хозяин сообщил, что шахматисты у него больше не встречаются, а играют в Интернете, и он теперь устраивает шахматные вечера лишь раз в неделю по понедельникам. Каспар несколько раз сходил туда, поиграл с переменным успехом, заинтересовался книгами по шахматам, которые хранились там в шкафу вместе с шахматами и шахматными часами, заказал себе одну из таких книг, обещавших превратить любого любителя в гроссмейстера, с увлечением принялся штудировать ее, и ему показалось, что дома он учится быстрее, чем в кафе, тем более что там за шахматной доской никакого общения все равно не получалось.

Членство в фитнес-клубе и посещения студии пилатеса тоже не помогли ему в поисках новых контак-

тов. Но он не сдавался. Он хотел иметь соответствующую физическую форму на случай, если Зигрун опять предложит ему отправиться в поход. Чтобы не чувствовать себя в следующий раз рядом с ней полным идиотом на кухне, он пошел на кулинарные курсы для начинающих, а в надежде съездить с ней как-нибудь на неделю в Венецию, Флоренцию или Рим решил реанимировать свои знания и навыки в итальянском языке, приобретенные много лет назад вместе с Биргит, и купил абонемент в Народный университет. На кулинарных курсах он учился вместе с молодыми мужчинами, которые хотели или были вынуждены освоить эту премудрость ради своих подруг, а в Народном университете — с молодыми парами, мечтающими о доме в Тоскане. Дружеские связи ни там, ни здесь приобрести не удавалось. Зато он теперь не сидел по вечерам один дома.

Но где бы он ни был — на работе, на тренировке, на занятиях, — он то и дело ловил себя на ощущении, будто все это какая-то бутафория, будто он играет какую-то нелепую роль, причем играет плохо, и окружающие видят эту фальшь и не хотят иметь с ним ничего общего. Ему не было места в этом мире. Его место было рядом с Биргит. Рядом с умершей Биргит, которая была исполнена радости бытия и любви к нему, которая лежала на диване или на полу, которую он нес на руках в спальню, которая вызывала в нем умиление, когда он сидел рядом с ней на пуфе и смотрел на нее, которую он любил. Но это была и умершая Биргит из прочитанных им записок, из скрытых от него удачных и неудачных литературных опытов,

из утаенного от него ненаписанного романа, из утаенных от него поисков и не-поисков Свени. Сколько всего, что она утаила от него, в чем обманула и чего лишила его! Он понимал, что это одна и та же Биргит, нужно лишь увидеть ее двойственность как единое целое, соединить две половины. Но если он соединит их вместе, это будет некий конструкт, некое искусственное образование, тоже далекое от реальности. Выходило, что так же, как ему не было места в этом мире, ему не было места и рядом с умершей Биргит. Ему не было места нигде.

Реальной была лишь эта неделя, проведенная с Зигрун. Реальными были его удивление, его испуг, брошенный ею вызов. Все это не было бутафорией, ролевой игрой. Даст ли общение с ней какие-то плоды? Во всяком случае, оно был реальным. Удалось ли ему оставить в этой реальности какой-то след, отпечаток или нет, — он хотел в ней остаться. Ему хотелось также получить доступ к Свене. В любом случае он должен был спросить ее, может ли он рассказать о ней Раулю и не хочет ли она вместе с ним навестить Паулу. Нужно было выбрать правильный подарок для нее и для Зигрун к Рождеству или к Йолю. Да, двадцать пятого декабря он приедет в Ломен, позвонит в дверь, а когда ему откроют, надо будет сразу же заговорить о древнем прекрасном обычае «открытых дверей» на Йоль, поблагодарить за гостеприимство и не дать Бьёрну выставить его за порог.

Он позвонил восемнадцатого декабря. Узнав, что Йоль чаще всего празднуется не двадцать пятого, а двадцать первого декабря, он испугался, что, не смотря на прекрасный обычай, его визит воспримут как наглое вторжение. Лучше явиться на пару дней раньше, рассудил он. Так надежнее.

Дверь открыла Свеня в кухонном фартуке; руки ее были в муке.

— А, это ты, — сказала она и пошла в кухню.

Каспар последовал за ней. Она раскатывала на столе тесто и, продолжив свое занятие, через минуту придала тесту приблизительную форму Франции на карте — близкую к квадрату с извилистыми линиями побережий и границ.

— Чего тебе? — спросила она, отложив в сторону скалку и опершись на стол.

У него по щекам катились слезы. Много лет назад Биргит однажды в субботу перед Рождеством пекла праздничное печенье, и тогда раскатанное тесто тоже напомнило ему очертания Франции; он сказал ей это, и она рассмеялась. Каспар помог ей тогда: смазал противень маслом и сунул его в духовку. Он был

счастлив. Он не знал, что эта затея с печеньем была для нее лишь причудой, забавой, которая больше ни разу не повторилась, что для нее это было просто своего рода обещание в будущем всегда праздновать его любимое Рождество только с ним. Для нее самой этот праздник ничего не значил, она не хотела никаких елок, свечей и подарков и тем более — ходить с ним в церковь. Поскольку ему это всегда причиняло боль, совместное предрождественское кулинарное действие порадовало его вдвойне. Почувствовав прилив острой нежности к Биргит в фартуке, с белыми от муки руками, с заколотыми волосами, с раскрасневшимся сосредоточенным лицом, он обнял ее. Биргит развеселила эта неожиданная ласка и его перепачканное мукой лицо.

— Извините, — смущенно произнес Каспар. — Все это... — он обвел рукой стол с тестом, духовку и Свеню, — напомнило мне, как Биргит когда-то тоже пекла печенье. В фартуке, руки в муке...

— Я похожа на нее?

— Те же темные волосы и темные глаза. Рот... Еще когда я увидел вас в первый раз — вы стояли с мужем в дверях, — ваш рот очень напомнил мне Биргит. А когда вы сжимаете губы...

— Ну ладно, не важно, — с чуть заметной обидой в голосе перебила она его. — Если ты снова решил мне выкатать, это твое дело. Я буду обращаться к тебе на «ты». Чего тебе надо?

— Я привез подарок для Зигрун. И для вас с Бьёрном. Она дома?

— Они уехали за какой-то запчастью. Ты можешь оставить свой подарок. Я ей передам.

Она отвернулась, сняла с полки металлическую коробку, поставила ее на стол, достала из нее форму и принялась вырезать из теста звезды.

«Неужели она и в самом деле ожидает от меня, чтобы я достал из сумки подарки, положил их на стул и ушел?» — подумал он. Он поставил сумку на пол, подошел к столу, взял из коробки первую попавшуюся форму и вырезал из теста фигуру. Оказалось, что это свастика. Не прямая, а круглая — похожая на вписанный в круг крест. Свеня ничего не сказала. Когда Каспар отложил свастику в сторону и достал из коробки петуха, она тихо рассмеялась. Через пару минут она поменяла форму, и он сделал то же. Потом все повторилось еще раз. Наконец она достала два противня, смазала их маслом, и они дружно выложили на него вырезанные фигурки из теста: звезды, солнца, сердечки, петухов, зайцев, елочки и свастику. Потом она засунула противни в духовку, ловко слепила из остатков теста небольшой шар и снова раскатала тесто.

— У тебя хорошо получается.

— Надо просто не бояться. Ни ингредиентов, ни теста, ни формочек.

— А зачем тебе понадобилась свастика?

— Ты имеешь в виду форму для выпечки? Она была в наборе с другими. — Свеня поняла, что он имел в виду другое. — Ты думаешь, мне стыдно за свастику? — Она выпрямилась и посмотрела на него сверху

вниз. — Свою первую свастику я нарисовала в семьдесят восьмом году на стене Дома культуры. И горжусь этим. Мы были единственными, кто отказался играть в эту игру — в социализм, который выступает за мир и никого не эксплуатирует и любит людей, в то, что все мы в нем едины — партия, и свободомыслящие граждане, и христиане, и церкви, все, кто исполнен доброй воли. Как я ненавидела эту лживую болтовню про общее гуманистическое наследие, эту дешевую приманку, чтобы мы во всем этом участвовали. Нет уж, без меня!

— Из-за этого ты и попала в Торгау?

— В Торгау меня сдал мой отец. Он не понимал, что со мной происходит. Да я и сама этого тогда еще не понимала. Он просто видел, что я иду совсем не туда, куда бы ему хотелось меня направить.

— Но после объединения тебе ведь не надо было больше воевать с ними. Почему же ты...

— Почему я осталась со скинами? Чтобы крушить, ломать то, что сломало меня. Панки под конец тоже скурвились и стали подпевалами этих скотов. Потом изо всех щелей полезли вьетнамцы, беженцев голожопых развелось — как собак нерезанных! Потом вы нас завалили арабами. Тут либо они, либо мы. Если хочешь от кого-то избавиться, лучший способ — нагнать на него страху. Бить тараканов! И время от времени что-нибудь поджигать.

Глаза ее сузились, губы были плотно сжаты; казалось, она вот-вот, как фурия, бросится со своей скалкой на какого-то невидимого врага. Каспар вспомнил

карикуры на женщин, встречающих своих неверных мужей на пороге с этой кухонной палицей, и невольно рассмеялся.

— Что тут смешного?

Каспар показал на скалку в ее руке, Свеня, поняв, что он имеет в виду, тоже рассмеялась, взмахнула скалкой, положила ее на стол и села за стол напротив него.

— Вот такая вот история.

— А почему вы... почему ты оставила эту борьбу?

— Печенье скоро будет готово. Как насчет чашки горячего шоколада со свежим печеньем? У меня всего два противня, так что со второй порцией придется подождать, пока не испечется первая.

Она встала и принялась хозяйничать. Каспар молчал. Он хотел дожидаться ответа на свой вопрос. К тому же этот восхитительный аромат, постепенно заполнявший кухню, запах духовки, запах детства, домашнего уюта был для него не просто ностальгическим — это был еще и запах печали, запах боли о том единственном мгновении их с Биргит глубинного родства, полного слияния, которое больше никогда не повторилось. Но почему? Ведь он сам мог начать печь рождественское печенье и соблазнить ее этим ароматом, вызвать у нее желание принять участие в его кондитерских опытах. Почему он не сделал этого? Слезы опять хлынули у него из глаз, но тут Свеня поставила на стол чашки с дымящимся шоколадом и тарелку с печеньем. На самом верху лежала свастика.

— Прошу! — сказала она, придвинув к нему тарелку.

Каспар заколебался: съесть свастику, чтобы она продолжила свой рассказ? Может, его отказ оскорбит ее? Он взял свастику и положил ее рядом с чашкой. Свеня улыбнулась. Интересно, понимала ли она, что в нем происходит?

— В один прекрасный день со скинами все кончилось. Это можно было предвидеть: все давно уже шло к тому. Когда у тебя работа и ты женат или замужем и у тебя есть дети, мир выглядит уже по-другому. Когда появился Бьёрн, многие уже соскочили или собирались соскочить. А от тех, кто еще оставался, толку было мало. Бьёрн попытался их расшевелить, но у него ничего не вышло. Вышло только со мной. — Она посмотрела на Каспара. — Я сидела на игле. Была страшнее атомной войны — худая как спичка, гремела костями. Не знаю, что он во мне нашел. Но что-то нашел. Я была нужна ему. Для себя, для семьи, для хозяйства. Для жизни на земле, с нашими, для порядка и единства. — Она кивнула. — Я бы хотела иметь много детей. Но если у нас будет настоящая усадьба, мы найдем Зигрун хорошего мужа, и у них тоже будет усадьба, и пусть она нарожает детей.

Каспар сомневался, что Зигрун позволит кому бы то ни было распоряжаться своей судьбой, но ничего не сказал. Свеня знала Зигрун и, скорее всего, тоже сомневалась в реалистичности упомянутого сценария. Не стал он спрашивать и о том, почему Свеня выбрала этот «порядок» и это «единство». По-видимому, они были логичным продолжением физической и пиротехнической борьбы с «тараканами». Он был рад, что она хоть немного открылась, и боялся разрушить

этот мостик дальнейшими расспросами. Лучше он дождется следующего удобного случая поговорить с ней.

Они навыврезали и сунули в духовку вторую порцию. Каспар вручил ей подарки — маленький CD-плеер и несколько дисков с фортепианной музыкой для Зигрун и японский кухонный нож для Свени и Бьёрна. Свеня показала ему электрическое пианино в комнате Зигрун и сказала, что та играет каждый день.

Потом они, прощаясь, стояли в прихожей. Уже стемнело, Свеня щелкнула выключателем, и они отчетливо увидели друг друга в резком, голом свете. Оба были немного смущены. Они открылись друг другу чуть больше, чем хотели.

— Я не всегда так плаксив, как сегодня, — улыбнулся Каспар. — Немецкий мужчина...

— Ну ладно, счастливого пути, немецкий мужчина!

Она опять поцеловала его, как в прошлый раз, после праздника.

Уже идя к машине, Каспар вспомнил, что так и не заговорил с ней ни о Пауле, ни о Рауле. Он остановился, оглянулся на закрытую дверь и темные окна и покачал головой. Он ей напишет. Если она не ответит, значит тема Паулы и Рауля закроется автоматически.

Он написал в Рождество. Приставать к Свене со всеми своими вопросами сразу же после визита было, конечно, рискованно. Но праздничные дни выдались спокойными, писать ему было легко; к тому же на первые дни после Рождества в магазине была запланирована инвентаризация, а отправить письмо можно и позже.

Он написал ей о своем визите к Раулю и о его интересе к ней, о Пауле, которая помогла ей появиться на свет, потом была у них в гостях на югендвайе, иногда ездила по делам в Ниски и каждый раз невольно озиралась там на улице по сторонам в надежде увидеть ее и часто вспоминала о ней. Она была бы рада повидать ее. Не желает ли Свеня вместе с ним съездить к ней?

В начале января он наконец отправил письмо. Ответ пришел быстро. На электронный адрес магазина. Свеня не хотела, чтобы Каспар сообщал ее адрес Раулю, но готова была повидаться с Паулой. Она спрашивала, может ли он заехать за ней в следующий вторник в девять утра и привезти обратно к четверем. На ее мейл отвечать не обязательно; если он приедет,

она будет готова, если нет, она при случае предложит ему другую дату. Все это, очевидно, должно было произойти за спиной у Бьёрна. Каспар не хотел придавать этому обстоятельству особого значения, но оно его обрадовало. Он объяснил Пауле, что Свене не просто вырваться из дома, и та взяла себе на следующий вторник выходной. В клинике всегда народ, сказала она и предложила ему пройти со Свеной через сад прямо в кухню.

Каспар приехал ровно в девять. Не успел он заглушить мотор, как Свеня вышла из дома и села в машину. Он в ту же секунду тронулся с места. Выехав из деревни, он объяснил, куда они едут, сказал, что дорога займет не больше часа, что они останутся у Паулы на обед и что, если она хочет, он готов оставить их наедине. Свеня кивнула, но ничего не ответила. Когда он попытался завязать разговор, на все его вопросы — есть ли у нее водительское удостоверение, не собирается ли она приобрести какую-нибудь профессию и не привлекает ли ее еще какая-нибудь роль, кроме роли жены и матери, любит ли она книги и музыку, — она тоже отвечала неохотно и односложно. Большую часть пути они проехали молча.

— Зачем тебе все это надо? — неожиданно спросила она.

Каспар хотел спросить: «Что ты имеешь в виду?» Но он знал, что она имеет в виду. Выиграть время — минуту-другую? Какой смысл? Она и так не торопит его с ответом.

— Я хотел довести до конца то, что начала Биргит, — произнес он наконец. — Вернее, то, что она хо-

тела начать, но не решилась. Она хотела предложить тебе себя и предоставить тебе самой решать, нужно ли тебе это или нет. И я подумал, что я тоже мог бы это сделать.

Свеня покачала головой.

— Мог бы. Но не сделал.

Она опять надолго умолкла.

— Ты не предложил мне себя, ты навязал мне себя. Ты влез в нашу жизнь, мою и Бьёрна, а главное — в жизнь Зигрун. Нам не надо было связываться с тобой. Но ты ловкий малый, а Бьёрну позарез нужны деньги. Вернее, нам. Они нужны нам на покупку усадьбы. Но Бьёрну особенно не терпится поскорее их получить. Оставил бы ты нас в покое! Или ты хочешь спасти наши души? Душу Зигрун?

— Что тебе сказать? — растерянно откликнулся Каспар, сам понимая, что это не ответ.

Свеня молчала.

— Я не смог отстать от вас. От тебя, потому что твой голос, твой рот, твои глаза и волосы напоминали мне Биргит. И внимательный взгляд Зигрун, когда она стояла рядом с тобой на крыльце, а потом ее вопрос: «Он что, мой дедушка?..» Я всегда хотел иметь детей и внуков. Мне хотелось иметь дочь, в которой бы я видел Биргит, и сына, который продолжил бы мое дело. И сейчас в Рождество они бы собрались у меня, и мы бы пели, музицировали, беседовали... Зигрун — особенная девочка. — Он рассмеялся. — Я уже так привязался к ней. Иногда мне кажется, что и она ко мне тоже.

— Я уже говорила тебе это и сейчас еще раз повторю: если ты попытаешься настроить ее против того, во что мы верим, ты ее больше не увидишь. Плевать, привязался ты к ней или она к тебе или нет и сколько нам еще причитается твоих денег. Дело не в нас. Зигрун принадлежит Германии, и я не позволю, чтобы ты отнял ее у Германии.

— Почему ей нельзя просто открывать для себя мир — твой, мой и еще многих других людей? И искать свое место в этом мире? Почему...

— Потому что этот мир болен. Если бы это был мир народов и семей, единства, чести и труда... Тогда пусть себе ищет свое место. И она бы нашла его, потому что в правильном мире каждое место — правильное. Но эта эра еще не наступила.

— Когда же она наступит?

Каспар не удержался и добавил в свой вопрос крохотную щепотку иронии. Правда, тут же разозлился на себя за это и обрадовался, что она этой иронии не услышала.

— Мы до нее не доживем. Мы можем только бороться за нее. Но она наступит.

Каспар посмотрел на нее. Каким суровым было ее лицо! Эти глаза, которые могли быть такими теплыми, эти мягкие волосы. Он вспомнил пугавшую и смущавшую его разноликость Биргит.

— Почему твое лицо становится таким суровым, таким жестким, когда ты говоришь о новой эре? О новом мире? Почему Зигрун не может просто быть счастливой в *этом* мире, а не бороться за новый?

— Я знаю, тебе трудно понять, что борьба требует суровости и в то же время дает счастье. Вы давно забыли это, вы разучились бороться, достигать цели, побеждать. И испытывать радость от суровости. — Она улыбнулась. — Ты не борешься даже со мной. Ведь ты против того, что я говорю, но не возражаешь, не споришь, а слушаешь с пониманием, может, с тревогой, может, с печалью. Если ты такой же и с Зигрун, то я могу быть спокойной.

В груди у Каспара вскипела злость — на нее, на себя, на то, что он не дал выход этой злости, а подавил ее. Он больше не произнес ни слова и с облегчением вздохнул, когда через двадцать минут они прибыли на место. Пройдя через сад к кухне, они постучали, Паула открыла им и обняла сначала Свеню, потом Каспара.

— Я бы хотела поговорить с вами с глазу на глаз, — сказала Свеня еще в дверях.

Паула посмотрела на Каспара, тот кивнул и пошел к машине.

— Ждем вас в половине первого на обед!

Трактир «Немецкое единство» был открыт, но в нем царил такой холод, что Каспар, выпив там чашку кофе, поехал к автостоянке на опушке леса, мимо которой они проезжали, оставил на ней машину и быстрым шагом двинулся в лес. Небо было серым, сосны бурными и больными, а ветер таким ледяным, что Каспару никак не удавалось согреться, хотя он взял хороший темп. И все же на воздухе ему было комфортнее, чем в трактире или в машине.

«Ты не борешься даже со мной» — это, с его точки зрения, был удар ниже пояса. «Борьба» означала бы серьезный риск потерять с ней контакт, а отказ от борьбы обернулся для него позорным клеймом слабака. Или ему следовало расценивать ее слова просто как глупость? Может, она представляет себе борьбу не иначе как открытое словесное противостояние? Что ж, это было бы неплохо. Он не будет бороться с Зигрун, она не будет рассказывать дома о ходе «борьбы», и Свеня успокоится. Он начал борьбу за Зигрун по-другому и продолжит ее по-другому. Он должен дать Зигрун возможность узнать другой мир и приобрести другой опыт, чем тот, что навязывают ей ро-

дители. На его предложение совершить весной какое-нибудь путешествие она не отреагировала. Может, надо было предложить ей что-нибудь эксклюзивное? Венеция, Барселона, Стамбул?

Но слова Свени стали для него чем-то вроде рыболовного крючка, они засели в нем и не отпускали его. То, что он не боролся с ней, было не просто тактическим приемом. Он не умел бороться, выходить из себя, взрываться, проявлять агрессию. Он умел упорно идти к цели, преодолевать препятствия, стойко переносить неудачи, умел быть строгим по отношению к нерадивым сотрудникам. Но борьба — это нечто другое. Может, он и в самом деле разучился бороться? За годы жизни с Биргит, когда он боялся ее потерять, а она была уверена, что он никуда не денется? Когда он не позволял себе никакой свободы, а ей предоставлял свободу полную, в том числе и свободу пить? Когда подавлял в себе боль и гнев?.. Неужели в своей любви к ней он стал маленьким и слабым?

А раньше? Был ли он раньше другим? Он вспомнил свои драки на школьном дворе, свою ссору с матерью, когда он в ярости разбил тарелку, и жесткие дискуссии с подругой по поводу его отношения к ее родителям и гольф-клубу, где проходила спортивная и деловая жизнь ее семьи. С другом своей сестры он однажды так поругался, что отправил его в нокаут, когда тот толкнул его. Из-за чего произошел конфликт, он уже не помнил. Факт то, что раньше он был другим.

Ну и пусть! В нем вдруг проснулись упрямство и гордость своей любовью к Биргит и своей жизнью

с ней. Никакой он не маленький и не слабый! И пусть это единственная тактика, на которую он способен, — не бороться со Свеней и с Зигрун, — это тактика верная. Он будет следовать ей и дальше и добьется своего.

Ему все больше нравилось в лесу, по которому он шел, хотя сосны даже в чаще были чахлыми и грязно-бурыми. На небольшом поле стояло несколько молодых лиственных деревьев, защищенных от косуль изгородью. Каспар вспомнил две елочки, которые его мать однажды принесла из леса и посадила в саду, сказав, что одна будет его, а другая сестры. Елочка сестры росла стройной и красивой, а его все больше вширь, потому что косуля отъела ей верхушку. Мать называла их Пружинкой и Пышкой, и эти прозвища соответствовали телосложению и характеру их маленьких хозяев — стройной, проворной сестры и того неповоротливого, пухлого гномика, каким он был в то время. Стоят ли еще эти елки в саду? И как они теперь выглядят? Он не был дома с тех пор, как родители переехали в церковный дом престарелых. Странно, что мать тогда не побоялась выкопать в лесу два деревца. Кажется, в начале пятидесятых годов это было запрещено? Как и собирать в лесу хворост на растопку... А они собирали. И крапиву. Все вместе: мать, тетя, сестра и он. Он помнил, что они варили из нее «шпинат», но вкус этого «шпината» уже забыл. В этом лесу он не видел ни крапивы, ни ежевики, ни малины. Может, где-нибудь росли грибы. Зато хвороста было полно, хватило бы на две зимы.

Он вдруг вспомнил, как однажды гулял по лесу с дедом и тот сказал ему, что в зимней природе все уже готово к лету: он разрезал перочинным ножом коричневую почку на кончике ветки, и Каспар увидел в ней крохотные листочки, которыми лес зазеленеет летом, бледно-зеленые, спрессованные друг с другом. Ему это показалось чудом. Несколько мгновений он боролся с искушением повторить это чудо, но ему пришлось бы сделать разрез, совершить насилие над нежной материей, разрушить ее, и он отказался от своего намерения.

Мать и дед были важнейшими фигурами в его детской жизни. Отец заботился о своем приходе и о прихожанах, на заботу о собственных детях у него не хватало времени, а жившая у них беженка-тетя, овдовевшая, бездетная, потерявшая родину, была немного не в себе; она помогала по хозяйству, играла с детьми в ромме¹, но на большее ее не хватало. Это мать подсовывала Каспару нужные книги, ходила с ним в театр, на концерты, говорила с ним обо всем, что интересовало его и ее, а когда он вырос и переключился на друзей и подруг, общение их хоть и стало эпизодическим, но не прерывалось, пока он не уехал в Берлин. Когда она, женщина твердых религиозных и моральных убеждений, была в чем-то не согласна с ним, она не пыталась убедить его в своей правоте, навязать ему свои убеждения, а просто выражала их и предоставляла ему самому решать, отстаивать ли свою точку зрения или прекращать дискуссию, но делала

¹ Ромме — карточная игра.

это так авторитетно, что он не мог уйти от разговора. Дед был совсем другим. Он жестко отстаивал свой националистический взгляд на прошлое и настоящее. Летние каникулы Каспар проводил у них с бабушкой, любил совместные походы по окрестностям и рассказы о немецкой истории и усвоил достаточно дедовских суждений и взглядов, чтобы понимать мир Свени и Бьёрна. Но мать, будучи тоньше, осторожнее, оказала на него более глубокое влияние, чем крикливый дед, потому что проводила с ним больше времени.

Лесная дорога вела к озеру. Каспар уже какое-то время видел впереди между деревьями влажный блеск. А может, ему показалось. И вдруг озеро открылось перед ним, обрушилось на него своей неожиданной красотой, казавшейся еще ярче на фоне больного леса. Оно было огромным — таким же огромным остался в его детских воспоминаниях Рейн; в сторону от него протянулась куда-то вдаль не то узкая протока, не то впадающая в него река, не то ответвление, соединяющее его с другим или несколькими озерами и в конце концов с морем. Деревья подступали прямо к воде, к маленькому песчаному пляжу. Матово-серая вода была неподвижной и гладкой и лишь изредка местами курчавилась от ветра. Потом по всему озеру вдруг разлился металлический блеск, а там, где над водой пронесся ветер, вспыхнули ослепительные искры. Каспар удивленно посмотрел на небо, откуда сквозь узкую прореху в облаках на мгновение хлынуло солнце.

Он вернулся к дому Паулы в веселом расположении духа и за обедом — яйца с горчичным соусом, картофель и салат — узнал, что весной Паула с мужем впервые смогут позволить себе месячный отпуск и, оставив практику на сына, отправятся в Южный Тироль, а потом в Северную Италию, что Свеня никогда не была за границей и не понимает, зачем вообще ездят в другие страны; что она предпочла бы, чтобы Паула подкинула ее в какой-нибудь детдом, а не отдала Лео и его жене, но что, однако, понимает логику ее действий; что она понимает и Биргит и рада, что избежала встречи с ней и тем самым мучительного выбора — влечь ей пощечину, броситься ей на грудь или обдать ее холодом презрения.

— Что же все-таки не так с Вайзе? — спросил Каспар Свеню на обратном пути. — Недостаточно сердечная, любящая мать? Деспот-отец?

— Может, и сердечная, и любящая... Но такая слабая, что больно было смотреть. Лео был для нее бог, а бог всегда прав — и когда ласкает, и когда бьет. Если бы она хоть раз за меня вступилась!..

Свеня отвернулась, и Каспару показалось, что она плачет. Потом она опустила окно, в салон хлынул холодный воздух.

— Насколько я понимаю, ты хотела расспросить Паулу о Биргит, — сказал Каспар через некоторое время, когда она снова закрыла окно. — Почему ты не спросишь о ней меня?

— А что ты мне можешь рассказать? Что ты ее любил? Что она была хорошей женой? Или что и тебе от нее досталось? Чтобы я почувствовала себя

ближе к тебе? Или поняла, что ее раздирали противоречия, и проявила снисхождение к тому, что она сделала? — Она покачала головой. — Все это не то. От Паулы я хотела узнать, как все произошло. Факты, конкретные события. — Она грустно рассмеялась. — Такой подруги мне иногда очень не хватает.

— Она тебе никогда не откажет ни в совете, ни в помощи.

Свеня посмотрела на него, словно желая убедиться, серьезно ли он это говорит, и снова устремила взгляд на дорогу.

— Когда мы стояли рядом на празднике и потом, когда мы вместе пекли печенье, мы понимали друг друга. Сегодня ты опять где-то очень далеко. Слово не доверяешь мне.

— А почему я должна тебе доверять? Потому что ты мой отчим? — Она язвительно рассмеялась. — После плохого настоящего отца хороший отчим? Нет. Я доверяю Бьёрну. Семья — хорошая штука. Это значит давать и получать, иначе и быть не может. И пока ты даешь, ты получаешь. Бьёрн дает мне, независимо от того, получает ли он что-то от меня взамен или нет. Так было и так будет всегда. Я верю ему, и это все, что у меня есть, а большего мне и не надо.

— Но ведь...

Он хотел сказать, что мы не можем знать, на что способен другой, что люди развиваются, меняются, особенно дети, например Зигрун, да и муж, Бьёрн, что доверие не означает определенность, что доверие — всегда своего рода аванс. Но он не стал этого говорить. Ей, разочарованной в родителях и травми-

рованной, которая в Бьёрне наконец обрела надежную опору, это показалось бы пустой болтовней. «Умник нашелся!» — если бы не сказала, то точно подумала бы она.

Они больше не говорили до самого Ломена. У указателя населенного пункта Свеня попросила Каспара остановиться и, коротко попрощавшись, ушла.

Через несколько дней Каспар получил открытку от Паулы. Она благодарила его за то, что он привез к ней Свеню, писала, что после этого много думала о Биргит. Спрашивала, не хочет ли он как-нибудь летом еще раз провести с ней вечер в саду. На открытке была изображена девушка, не шоколадница, а знатная дама в платье эпохи Ренессанс. Она сидела, выпрямив голову и расправив плечи, волосы расчесаны на прямой пробор, высокий лоб, потерянный взгляд. Каспар раньше никогда не слышал о художнике Джозефе Корнелле.

Бьёрн, как и в прошлый раз, позвонил утром и приехал с Зигрун в пять часов. Как в прошлый раз, обошел квартиру, сел за кухонный стол, выпил бутылку пива, напомнил про запрет на телевидение, сигареты, губную помаду и пирсинг. Сказал, что заберет Зигрун в следующее воскресенье, за неделю до Пасхи, и уехал.

— Он забыл про кино и про джинсы, — произнесла Зигрун с упреком, словно сожалея о том, что тот упустил из вида эти два пункта.

— Может, он так выразил разрешение на то и другое? Ты бы хотела носить джинсы? А как насчет кино?

— Я хочу повидать Ирмтрауд. Хочу в Равенсбрюк. Хочу в твой магазин. А еще — можно я снова буду ходить к учителю музыки?

— Конечно. Он уже ждет тебя. Каждое утро в девять.

Еще не распаковав чемодан, Зигрун села за рояль и сыграла Каспару пьесу, которую завтра собиралась показать учителю. Это была несложная пьеса из «Нотной тетради». Она играла ее медленнее, чем следовало, но без ошибок, и Каспар вспомнил, что

сам он за четыре месяца занятий не смог добиться таких успехов, как она. Поощренная его похвалой, Зигрун сыграла еще одну вещь, гораздо сложнее первой, и призналась, что еще не разучила ее как следует: ей пришлось начинать ее трижды. Каспар стоял, прислонившись к дверному косяку, и смотрел на ее сосредоточенное лицо, наморщенный лоб, когда она ошибалась, едва заметную улыбку, когда ей удавалось безошибочно сыграть какой-нибудь трудный пассаж. Ее слияние с роялем, погруженность в музыку, ее подколотые кудри, наглухо застегнутая блузка — все это вызывало у Каспара ассоциации с эпохой романтизма или бидермейера. За того, кто так живет музыкой, можно не волноваться, подумал он, но тут же вспомнил о Гансе Франке, Ирме Грезе и о предстоящей поездке в Равенсбрюк, которую, если не удастся ее избежать, он надеялся хотя бы отстрочить.

Ужинали они — по желанию Зигрун — в том самом итальянском ресторане, где были в первый вечер ее первого визита. Она снова с явным удовольствием принимала знаки рыцарского внимания со стороны хозяина.

— Может, нам совершить какое-нибудь путешествие? — спросил Каспар.

Но она не хотела никаких путешествий. Тем более в Стамбул, Барселону или Венецию. Уже хотя бы потому, что туда пришлось бы лететь, а она противница самолетов, потому что они загрязняют окружающую среду. И вообще, она не хочет пропускать ни одного занятия, она хочет играть на рояле, хочет лучше узнать Берлин. Кроме того, они так и не сходили

в поход до Кладова, а ей еще нужно хоть раз побывать в его магазине, съездить в Равенсбрюк, встретиться с Ирмтрауд.

— И может, еще сходить в кино.

Пожелав ей спокойной ночи, Каспар включил адажио из «Сонаты для молоточкового фортепиано»¹. Он думал, что под звуки этой медленной, спокойной вещи Зигрун наверняка быстро уснет. Но когда адажио кончилось, она спустилась по лестнице и вошла в гостиную.

— Что это было? Можно я еще раз это послушаю?

Он включил адажио еще раз. Зигрун присела на край дивана и слушала с закрытыми глазами, крепко сжав руки и жадно впивая каждый звук. Она чувствовала, что за адажио должно было последовать еще что-то, и, удержав Каспара, когда тот хотел включить проигрыватель, прослушала и Largo, так же внимательно, но уже спокойнее и изредка улыбаясь Каспару. Уже на лестнице она обернулась и спросила:

— А мы можем еще раз сходить на концерт?

Каспар и сам спросил бы ее об этом, но она опередила его, и он остался этим очень доволен. Не будучи уверен, что из его затеи с путешествием что-нибудь выйдет, он к ее приезду на всякий случай купил билеты в филармонию на концерт музыки Моцарта и Бетховена и в концертный зал на «Страсти по Матфею». Он уже предвкушал и то и другое, а кроме того, радовался возможности опять заранее готовить ее

¹ Имеется в виду 29-я соната Бетховена, за которой почему-то закрепилось это название, хотя оно стоит на титульных листах всех поздних сонат композитора.

к восприятию музыки. Ее реакция на фортепианный концерт Моцарта была предсказуема, с Четвертой симфонией Брамса, а потом и Седьмой симфонией Бетховена тоже, пожалуй, проблем не будет. А вот со «Страстями по Матфею»... Но может, «Нотная тетрадь Анны Магдалены» сыграет свою положительную роль? Ведь Зигрун, скорее всего, еще никогда не слышала хоралов.

Когда на следующее утро Каспар вошел в кухню, Зигрун уже успела приготовить завтрак, послушать новости и прогноз погоды и сообщила, что во вторник погода будет хорошая и они могут сразу же после ее занятия отправиться в поход. Она еще из Ломена договорилась с Ирмтрауд о встрече в понедельник после обеда. Еще она позвонила в его магазин, попросила к телефону хозяйку Лолы, и та пообещала ей в среду принести с собой на работу кошку. Каспар, посмеиваясь, кивнул. Расторопная внучка могла стать ему достойной сменой в магазине.

— Ты пойдешь со мной к Ирмтрауд?

— А ты хочешь, чтобы я пошел с тобой?

— Да, — ответила Зигрун и, видя его удивление, продолжила: — Я ей написала, что у меня есть дедушка, и она спрашивает, какой ты, и я подумала, что просто возьму тебя с собой.

Но она хотела, чтобы он сопровождал ее не только поэтому. Когда после обеда они вышли из метро в Кройцберге, свернули с большой улицы в маленькую боковую улочку, а потом в узкий переулок и пошли мимо мелких закусочных, мимо шумной компании

молодых людей, сидевших на двух ветхих желтых диванах с бутылками пива в руках, мимо комиссионных лавок, мимо старухи с бутылкой водки в подворотне, говорившей сама с собой, мимо мужчины и женщины, оравших друг на друга, Каспар заметил, что дно Берлина было для Зигрун серьезным испытанием. Тяжелое впечатление произвел на нее и второй задний двор, грязь и мусор, обшарпанные стены и обрывки обоев в подъезде. Она почувствовала облегчение, когда, вскарабкавшись на шестой этаж, они увидели в дверях Ирмтрауд, но в то же время явно испугалась: такой Ирмтрауд она еще не видела — в черных джинсах, в черной футболке и черной бейсболке.

Ирмтрауд провела их в кухню, достала из холодильника три бутылки пива и села с ними за стол. Она расспрашивала Зигрун о каких-то общих знакомых, о группах, встречах, акциях. Зигрун относилась к ней с большим уважением, внимательно слушала ее, старалась давать четкие и конкретные ответы, пила пиво, хотя оно ей явно не нравилось. Когда Ирмтрауд начала рассказывать о себе и о девушках своей общины, Зигрун не сводила с нее глаз, ловя каждое слово. Им надоела болтовня, они шли на улицы и вели реальную борьбу — стычки с антифашистами, с полицией. Им не нужны были бюсты Гитлера и знамена со свастикой, им было плевать на авторитеты НДП¹ или Немецких Женщин, они не позволяют

¹ Национал-демократическая партия (нем. Nationaldemokratische Partei, неонацистская партия в ФРГ; NDP).

мужчинам командовать собой, решать за них, чем им заниматься или не заниматься в политике. Да, они — кость в горле у мужчин. Но она считает, что может быть немецкой женщиной и немецкой матерью, хотя они с девчонками тоже швыряются бутылками, прорывают кордоны легавых, напоминают журналистам, которые пишут про них всякие гадости, что у тех тоже есть имена и адреса.

— Я — это я! Я знаю, что такое национализм и социализм, мне не нужны никакие наставники, которые будут объяснять мне, что такое народное единство. Я и без них — часть этого единства.

— Ты еще учишься?

— Да. И ты, кстати, даже не думай удирать из дома, чтобы присоединиться к нам. Сначала ты должна закончить школу и поступить в университет. Мы должны стать политическими партизанами. Мы должны незаметно разрушить эту систему изнутри. Национальная революция может победить только в том случае, если она начнется и снаружи, и изнутри. — Она вдруг повернулась к Каспару. — А вы что скажете?

— Вы правы, Зигрун должна закончить школу. — Каспар улыбнулся Зигрун. — А потом... У нее столько талантов и такая сильная воля, что она непременно добьется успехов, в какой бы области она их ни применила.

Ирмтрауд молчала. Он понимал, что она хотела услышать его мнение по поводу национальной революции, но вместо этого сказал:

— Зигрун с восторгом рассказывала мне о маленькой серебряной свастике, которую вы носите в виде пирсинга. Можно взглянуть на нее?

Ирмтрауд рассмеялась и приподняла волосы над ухом.

— Что, Зигрун, тебе все еще нельзя? Родители все еще против? А вы как насчет этого? — спросила она Каспара.

— Вы имеете в виду, не хочу ли я сделать такой пирсинг?

Он со смехом покачал головой. Ирмтрауд и Зигрун тоже рассмеялись и стали прощаться.

В походе Зигрун первая заговорила о встрече с Ирмтрауд. Они какое-то время молча сидели на террасе церкви Спасителя¹; Каспар думал, что Зигрун, как и он, поглощена завораживающим зрелищем колонн аркады, сверкающего на солнце озера и молодой зелени леса на другом берегу и пребывает в мажорном настроении. Но она думала о своем будущем.

— Я понимаю, что мне надо закончить школу, — произнесла она вдруг. — Но для этого мне обязательно торчать в Ломене. Почему я не могу жить у Ирмтрауд и ходить в школу здесь?

— Потому что Ирмтрауд не хочет, чтобы ты жила в их общине. Куда ты так спешишь?

— Мне надоело болтаться на канате, прыгать с обручем и петь песни. Я хочу бороться.

— С кем?

— С системой.

Каспар не знал, что ей сказать.

¹ Построенная в 1844 г. лютеранская церковь в районе Закров города Потсдама.

— А что ты называешь системой?

— Все. То, что Германия больше не принадлежит немцам, что иностранцы живут у нас лучше, чем мы, что все решают евреи и их деньги, что у нас столько мусульман и мечетей.

— А у вас в Ломене есть мечеть?

— Нет, но была эта лавка, где продавали дёнеры, и отец говорит, что если мусульмане останутся, то обязательно настроят мечетей, и скоро вместо колокольного звона мы будем слышать вопли этого... как его?

— Муэдзина?

— Да. Мы не ходим в церковь, но нам необязательно ходить в церковь, чтобы любить нашу западную культуру, и церкви, и колокола.

— А где у вас ближайшая мечеть?

— Не знаю.

— А ты знакома хоть с одним иностранцем, который живет лучше, чем немцы?

— К этим продавцам дёнеров иногда приезжал какой-то тип на огромном новом «мерседесе», тоже иностранец. Я знаю, многие немцы тоже ездят на таких «мерседесах», но ты понимаешь, что я имею в виду.

— Нет, Зигрун, я не понимаю, что ты имеешь в виду. Я не вижу, чтобы иностранцам у нас жилось лучше, чем немцам, и ты тоже не видишь этого. И где ты видела евреев, которые со своими деньгами все решают?

— Отец говорит, что они прячутся.

— Вот и их ты тоже не видишь. Откуда ты знаешь, что они существуют?

— Потому что существует это вранье про холокост. Если бы не было евреев, которым это вранье приносит пользу, то не было бы и вранья.

— А зачем же им это вранье, если они и так все решают благодаря своим деньгам?

— Чтобы мы мучились угрызениями совести и не могли бороться. А нам не надо мучиться угрызениями совести. Немцы ничего такого не делают. Ну, может, погоняли их немного и посадили в лагеря. Может, кто-то из них и погиб — во время войны такое бывает. Вот и всё.

Зигрун явно гордилась тем, что могла ответить на любой его вопрос, отразить любой его аргумент. Каспар почувствовал усталость. Он устал от гипертрофированной активности этой девочки, от ее высокомерия, самонадеянности, непробиваемости и от сознания собственного бессилия. Что ей еще сказать? Как до нее достучаться?

— Есть вещи, в которых человек вынужден полагаться на других. Когда ты болен, тебе приходится верить врачу; когда выходит из строя автомобиль, ты зависишь от механика. Но нельзя полагаться на других, слепо верить другим, когда ты сам можешь узнать правду. Прежде чем судить об иностранцах и евреях, пообщайся с ними. Кстати, с одним из них ты и так уже общаешься.

— С евреем?..

— Твой учитель музыки приехал из Египта. Его родители были монархистами, и им пришлось бежать, когда свергли короля. — Каспар тихо рассмеялся. — Я не знаю, мусульманин ли он, я никогда его об

этом не спрашивал. Спроси ты. И если он мусульманин и ходит в мечеть, ты можешь спросить его, не возьмет ли он тебя как-нибудь с собой.

— В мечеть?..

— А почему бы и нет?

— Не знаю... — неуверенно произнесла она, словно вдруг растерявшись перед таким множеством вопросов: спросить ли учителя, может ли он взять ее с собой в мечеть, надо ли пообщаться с иностранцами, мусульманами и евреями, надо ли переосмыслить и переоценить то, что казалось ей аксиомой.

— Ну что, пошли дальше? — сказала она наконец, сунув бутылку с водой в рюкзак.

Каспар думал, что весенняя неделя с Зигрун пройдет так же, как осенняя. Но он ошибся. Как в прошлый раз, было только то, что она пользовалась его квартирой и вещами как своими собственными, готовила завтраки и ужины, занималась на рояле, приходила в магазин и играла с Лолой, что они много времени проводили вместе и большинство вечеров заканчивалось коротким визитом Каспара в ее комнату с пожеланием спокойной ночи и музыкой в качестве колыбельной. Но Каспар чувствовал какое-то напряжение, которого не было осенью. У него постепенно появилось ощущение, как будто она, начав с ним полгода назад некую непонятную для него борьбу, заняла позицию силы и твердо намерена была ее отстаивать. Сначала он отнесся к ее неуклонному стремлению настоять на *своих* предложениях относительно их досуга, шопинга и меню как к забавной игре. Потом он заметил, что для нее это было больше чем просто своеволие: это была борьба за власть. Она навязывала ему дискуссии по истории и политике, которых он, считая их бесполезными, предпочел бы избежать.

На концерте ее потрясло блестящее мастерство пианиста, исполнившего концерт Моцарта. Она заявила, что тоже хотела бы так играть, а когда Каспар вечером включил для нее одну из шумановских вариаций на тему второй части симфонии, она спустилась вниз и пожелала услышать и остальные, и снова сидела с закрытыми глазами на краю дивана.

— Как ты думаешь, я смогу когда-нибудь так играть? — спросила она затем.

— Ммм, — промычал Каспар и утвердительно кивнул.

Она поцеловала его в голову и ушла.

Утром за завтраком она сказала:

— Все великие композиторы были немцы, верно? Бах, Бетховен, Брамс, Моцарт, Шуман — все, кого мы слушали.

— Да, это всё были немцы. Есть еще и другие немецкие композиторы, но есть и много таких, которые не были немцами. Почему это для тебя так важно?

— Мне кажется, я потому и люблю музыку. Это моя музыка.

— Твоя музыка?

— Немецкая музыка. Я знаю, ты считаешь, что все...

— Немецкая музыка для немцев? — не выдержал Каспар.

— Ты можешь смеяться сколько угодно. Но немецкая музыка...

Каспар встал.

— Иди сюда. Садись на диван. Я буду включать тебе музыку, а ты будешь говорить, немецкая это му-

зыка или иностранная. — Он посмотрел на часы. — У тебя, правда, в девять урок. Но я закажу такси, и мы сэкономим сорок пять минут. Сначала ты будешь говорить, нравится ли тебе вещь или нет, а потом уже, кто композитор — немец или иностранец.

У нее был слишком хороший слух, чтобы ей могли не понравиться Шопен, Дворжак, Григ и Элгар; за иностранцев она приняла только Чайковского, Брукнера и Вагнера, а композитором «Французской сюиты» назвала Баха, что почти примирило с ней Каспара.

— Так что насчет немецкой и иностранной музыки ты не права, — подытожил он. — Ты не смогла определить, где немецкая, а где иностранная. И это о многом говорит. В музыке, искусстве и литературе не важно, что немецкое, а что иностранное. Важно лишь, хороши они или нет.

Зигрун ничего не ответила и молчала всю дорогу. Каспар не мог понять, что означало это молчание — смущение и признание своей неправоты или упрямство. Прежде чем такси остановилось у дома учителя, Каспар сказал:

— Ты узнала Баха. У тебя прекрасный музыкальный вкус и талант пианиста. Это особый, драгоценный дар, Зигрун. Держи его подальше от политики.

После занятия она пришла в магазин и, перед тем как отправиться на поиски Лолы, сказала Каспару:

— Ты хочешь, чтобы я обо всем думала по-твоему. В музыке... в музыке, может, ты и прав. Но теперь ты тоже прочтешь, что я тебе скажу. Вечером я дам тебе «Правду о „Дневнике Анны Франк”». Я специально привезла ее для тебя.

Отыскав Лолу, она извлекла из кармана какой-то маленький матерчатый мешочек, набитый чем-то мягким, некое подобие мячика на веревке, которое Лола, в отличие от Каспара, приняла за мышь и тотчас же начала погоню. Зигрун искусно дирижировала «охотой», то давая Лоле возможность схватить добычу, то ловко выхватывая ее из кошачьих лап. Наконец Лола устала и хотела удалиться, но Зигрун, сидевшая на полу, сграбастала ее, усадила к себе на колени и принялась гладить, почесывать, ласкать. Лола покорилась судьбе и вскоре уснула. Когда Каспар в очередной раз заглянул в отдел, чтобы проведать Зигрун, та посмотрела на него снизу вверх, счастливо улыбаясь.

Вечером он обработал царапины на руках Зигрун одеколоном, чтобы не чесались. Когда он, поднявшись к ней в комнату, пожелал ей спокойной ночи, она вручила ему «Правду о „Дневнике Анны Франк“».

Каспар включил ей внизу Гайдна, медленную, довольно скучную часть клавирной сонаты. Он не хотел, чтобы Зигрун опять возбужденная принеслась в гостиную и потребовала продолжения. Откупорив в кухне бутылку красного вина, он с бокалом и бутылкой устроился на диване в гостиной. Было прохладно; он накинул на себя лежавший рядом сложенный плед. Так обычно сидела Биргит, в этом углу дивана, укутавшись в плед, с бокалом и бутылкой на маленьком столике справа. Интересно, как бы она отнеслась к Зигрун? Как реагировала бы на ее взгляды?

Никак. Она не стала бы нянчиться с Зигрун. Она умела держать людей на расстоянии, умела рвать отношения. Она предложила бы себя Свене и Зигрун, как собиралась, а увидев разделявшую их пропасть,

отменила бы свое предложение. Впрочем, возможно, она не стала бы торопиться с оценкой преодолемости или непреодолимости этой пропасти, чтобы не обрывать так резко действие романа. Вряд ли она стала бы утруждать себя чтением правды о «Дневнике Анны Франк».

Каспар вздохнул, взял книгу в руки и углубился в чтение. Автор писал, что стиль дневника трудно признать стилем девочки-подростка, что в основу публикации был положен текст отца Анны Франк, что предъявленный в конце концов оригинал написан разными почерками, а в нескольких местах — шариковой ручкой, в то время как первые шариковые ручки появились в тысяча девятьсот пятьдесят первом году. Что разность почерков видна невооруженным глазом, а использование шариковой ручки установили эксперты Федерального управления уголовной полиции, что отец признался в подделке оригинала. Что истина, таким образом, установлена. Попытки скрыть ее объясняются тем, что дневник является важным идеологическим проектом, частью индустрии холокоста, что определенные силы стремятся еще больше очернить немцев и усилить в них комплекс вины, унижить их как нацию.

Нет, он не будет обсуждать с Зигрун эту книгу пункт за пунктом и снова доказывать ей, что все, что она слышала, читала и во что верила, — ложь. Он встал, пошел к компьютеру, нашел публикацию Фонда Анны Франк, посвященную попыткам дискредитации дневника, и распечатал ее. Потом положил на стол в кухне книгу Зигрун, распечатку и сам дневник.

Однако Зигрун восприняла это не как тактичность, а как унижение. Когда он утром вошел в кухню, она вместо приветствия обрушила на него все свое возмущение.

— Ты считаешь, что поговорить со мной о книге — это ниже твоего достоинства? Швыряешь мне вот это вот в лицо, — она взяла со стола распечатку, — чтобы я прочла и заткнулась?

Каспар примирительно поднял руки.

— Послушай...

— Что — «послушай»? Ты не должен обращаться со мной как с дурой! Ты должен слушать меня и говорить со мной. Я дала тебе книгу, в которой показано, что этот дневник — ложь. Тебе есть что сказать? Или ты вообще ее не читал?

Каспар сел.

— Зигрун, Зигрун... Конечно, я ее читал. Я просто подумал, что тебе будет удобнее прочесть, а не услышать от меня, что в этой книге неправда. Мы можем поговорить после того, как ты это прочтешь, или до того. Например, сразу после твоего урока. Я не считаю ниже своего достоинства...

— Хорошо, сразу после урока, — перебила она его.

Налив ему и себе кофе, она села и энергично срезала ножом верхушку своего яйца. За завтраком она больше не произнесла ни слова, и Каспар мысленно посочувствовал ее будущему мужу, которого она будет наказывать молчанием. Прежде чем отправиться на занятие, она, опустив голову и не глядя на Каспара, словно говорила не с ним, а со столом или дверью, произнесла:

— Он говорит, что раз я опять надолго уезжаю, то было бы хорошо, если бы я в субботу пришла не на час, а на два. Если ты не возражаешь...

— Конечно. Я очень рад. Значит, он верит в тебя.

— Он хочет составить со мной план, чтобы я правильно занималась дома самостоятельно.

— А твои родители не будут возражать, если ты начнешь заниматься дольше, чем обычно?

— Ты думаешь, что у меня темные, необразованные родители? Что они не понимают, что занятия музыкой — это важно?

— Нет, просто им может понадобиться твоя помощь по хозяйству, а работы у них хватает.

— Мне пора идти.

Каспар понял, чем было на самом деле то, что показалось ему борьбой за власть. Зигрун чувствовала его скепсис в отношении ее мира, ее родителей, ее взглядов и ее самой и пыталась все это отстоять. Ей хотелось убедить его в том, во что она верила. Но это у нее не получилось. При этом ей надо было самой не утратить свою веру. Чувство говорило ей, что она права, хотя у нее и не было убедительных аргумен-

тов. Но она была умна и понимала, что аргументы нужны.

Когда Зигрун вернулась с занятия, он объяснил ей историю возникновения рукописи Анны Франк, смысл и причины изменения оригинала ее отцом, рассказал о восстановлении первоначального варианта, о графологической экспертизе и заключении экспертов Федерального управления полиции, прокомментировал следы шариковой ручки, найденные позже страницы, судебные процессы. Все, против чего была направлена критика в привезенной Зигрун книге, имело свое объяснение и оправдание.

— Ну, не знаю... — Она покачала головой. — Я пошла заниматься.

Она занималась несколько часов подряд, и Каспар понимал почему. Закончив упражнения и проголодавшись, она одна сходила за покупками и одна приготовила ужин: кёнигсбергские битки с картофелем и салатом. В половине пятого еда была на столе, и после комплиментов по поводу ее кулинарных и музыкальных подвигов она снова стала разговорчивой, рассказала об уроках музыки в школе и о том, что предпочла бы узнавать на этих уроках, а не вычитывать в книге, которую ей дал берлинский пианист. Потом она предложила после ужина поиграть в шахматы. Они оба понимали, что ей хотелось победить. Наконец-то снова победить.

— Учти, я теперь стал играть лучше, — предупредил Каспар. — Я занимался по специальной книге.

— Хорошо, — ответила она, уверенная, что, не смотря на это, все равно выиграет.

И выиграла. Но он и в самом деле стал играть лучше, ей пришлось думать дольше, и во второй партии ему удалось дотянуть до эндшпиля. В третьей партии он делал одну глупую ошибку за другой.

— Ты устал, — сказала она. — Продолжим в следующий раз. Первые две партии были очень интересными.

Она была рада, что может похвалить его и что ему приятна ее похвала.

— Давай летом куда-нибудь съездим? — предложил он. — Если ты не хочешь лететь на самолете, поедем на поезде или на машине. Можно поехать в спальном вагоне в Италию или во Францию. А хочешь — на пароходе в Норвегию, в Швецию или Финляндию.

— Чтобы я побывала за границей и пообщалась с иностранцами?

— Мы можем поехать и на Северное или Балтийское море. Или в горы.

— Я подумаю. — Она встала. — Это, конечно, классно, что ты хочешь совершить со мной путешествие. Но завтра мы поедем в Равенсбрюк.

В дороге Зигрун хранила упорное молчание, и Каспара это вполне устраивало. Она взяла с собой несколько компакт-дисков — сонаты Бетховена, — и они слушали их одну за другой. В Фюрстенберге Зигрун вдруг выключила музыку и заявила, что в Равенсбрюке им лучше ходить отдельно и встретиться уже после осмотра.

— Я знаю, ты захочешь мне все объяснять или будешь стоять рядом и ждать, что́ я скажу или подумаю. Лучше я сама.

Они поставили машину на стоянке, взяли у входа проспекты и договорились, что сначала она осмотрит жилую зону СС, а он комендатуру и лагерь, а потом наоборот. Каспар проводил Зигрун взглядом. Выпрямившись, с поднятой головой, как Ирма Гресе на эшафоте, она направилась к дому, в котором раньше жили надзирательницы, а сейчас находилась выставка, иллюстрирующая их жизнь и службу.

Он вошел в здание комендатуры и стал ходить из помещения в помещение, читая тексты, рассматривая немногочисленные фотографии и экспонаты; перед ним медленно разворачивалась мрачная пано-

рама: история возникновения лагеря, внутренний распорядок, заключенные, солдаты и офицеры СС, больничные бараки, массовая гибель людей, освобождение лагеря. Он то и дело останавливался перед маленькими табличками с фотоснимками и биографиями заключенных из Германии и других стран Европы. Долго стоял перед раскрытой книгой регистрации, в которой аккуратным почерком были записаны имена и фамилии вновь прибывших, строка за строкой. Каждая из этих женщин представляла собой целый мир, родившийся и умерший вместе с ней. Каспар вспомнил слова Гейне и почувствовал, что больше не в состоянии выносить это зрелище, эту выставку, эти злодеяния, эту стихию разрушения, уничтожения жизни. В комнате, где описывались медицинские и хирургические эксперименты, проводившиеся на заключенных, к ужасу, охватившему его при виде зверств лагерных врачей, примешался страх по поводу Зигрун: что подумает и скажет она? Что целью всего этого были эффективные методы лечения раневой инфекции у немецких солдат?

Выйдя из комендатуры, он пошел по обширной территории, на которой сохранились лишь тюрьма и несколько хозяйственных построек. Сгнившие деревянные бараки были давно снесены. Но на бывшей главной улице лагеря, осеняемой высокими деревьями, он увидел слева и справа маркировку, нанесенную на темную щебенку, — следы бывших барачных дворов, которые были обозначены и на схеме и четкими рядами тянулись вдаль, вперед, и за деревьями, по всей территории. Он остановился. Бараки, куда ни посмот-

ри — бараки, а между ними заключенные, надзирательницы, сторожевые овчарки.

Он не сразу заметил, что стоит на месте и неотрывно смотрит в землю перед собой. У него пропало желание продолжать осмотр. Дойдя до мемориала, он сел на ступени на берегу озера. На противоположном берегу, залитом солнцем, возвышалась церковь, пестрели дома. Чем был для узников этот вид на город у озера, в котором жизнь шла своим чередом, — утешением или мукой? Или они воспринимали жизнь в лагере не как исключение, затянувшуюся чрезвычайную ситуацию, а тоже как жизнь, которая идет своим чередом? Каспар вспомнил созданные в лагере рисунки и поделки: маленького кролика, которого с любовью вырезал кто-то из заключенных для одной из жертв медицинских экспериментов, вышитый носовой платок. Как они смогли сохранить человеческое достоинство, проявлять заботу о других, бороться и не превратиться в животное, которому нет никакого дела до остальных? Равенсбрюк был женским лагерем. Может, у женщин чувство солидарности сильнее, чем у мужчин?

— А, вот ты где! — Зигрун села рядом с ним. — Было очень интересно. Да, конечно, злые надзирательницы и бедные, несчастные заключенные — обычная история. Но если внимательно слушать и смотреть, то всё, оказывается, не так просто. Это были преступницы, которые воровали, обманывали, занимались проституцией, не хотели работать, поддерживали врагов или даже сами становились врагами. Как, по-твоему, с ними должны были обращаться надзи-

рательницы? Без строгости и жестокости им было не обойтись. Ты посмотри на их лица! Это добрые лица. А некоторые из них были такими молодыми! — Она покачала головой. — Не знаю, смогла бы я через три года тоже, как они... Ирме Грезе было восемнадцать, когда она начала здесь свою службу.

Каспару не хотелось говорить о надзирательницах. И смотреть выставку о них — тоже. Он предпочел бы остаться сидеть на этих ступенях. Можно ли снять туфли и опустить ноги в воду? Не будет ли это кощунством по отношению к женщинам, страдавшим и умершим здесь. Это прояснило бы его мысли. Как ему говорить с Зигрун?

Он встал.

— Пока!

Зигрун удивленно посмотрела на него. Ей были непонятны ни его реакция на ее слова, ни внезапный уход.

— Ты чего?

— Комендант ввел темный карцер и телесные наказания для женщин. Он приказывал убивать больных и инвалидов. А лицо у него — как у приветливого почтальона, который старается вовремя доставить корреспонденцию по указанным адресам. — Он покачал головой. — Добрые лица!..

Но Зигрун была права: жестокость надзирательниц не была написана на их лицах, а во время совместных воскресных поездок или прогулок они были веселы и беззаботны, как обычные молодые женщины на отдыхе. Многие из них выросли в бедных семьях и, до того как ради хорошего заработка или

хороших условий работы добровольно поступили или были призваны на военную службу, работали на заводах и фабриках и сначала, как свидетельствовали заключенные, еще проявляли какие-то человеческие чувства, но очень скоро стали такими же бесчувственными и безжалостными, как другие. Все это Каспар мог себе представить. Но некоторые из них расторгли контракт и увольнялись — откуда в них брались понимание происходящего, сила и мужество?

На верхнем этаже авторы экспозиции попытались придать документальным свидетельствам художественный характер, дополнив их видеоматериалами, текстовыми и звуковыми инсталляциями. Каспар переходил из помещения в помещение, потом спустился по лестнице вниз и на мгновение ослеп от яркого солнца. Автостоянка была прямо напротив, и Каспар сел в машину, стоявшую в тени. Он не помнил, сколько просидел в ней, прежде чем Зигрун постучала в окно и открыла дверцу.

У Каспара не было сил на разговоры. На него так подействовало не столько то, что он увидел, сколько то, что дополнило и проиллюстрировало его воображение. Огромная территория, темный щебень, высокие старые деревья, комендатура и хозяйственные постройки, дома СС — все это было не так страшно. Страшно стало, когда он представил себе на этой территории стоявшие плотными шеренгами бараки, слоб, изможденных, шатающихся от ветра женщин на дорожках, надзирательниц, их сторожевых овчарок, жестокость, услышал крики, увидел трехэтажные нары в тесных вонючих бараках. Он мысленно превратил Равенсбрюк сегодняшний в Равенсбрюк тогдашний. Это был тяжелый, изнурительный душевный труд, и теперь, обессилив от этой работы, он молчал, неотрывно глядя на дорогу. Конечно, его интересовали впечатления Зигрун. Но пока он был не в состоянии говорить с ней.

— Почему ты все время защищаешь других? — начала она сама.

— Я защищаю?..

— Да, ты все время защищаешь других. Иностранцев, евреев... О чем бы мы ни говорили — о музыке, или об Анне Франк, или о холокосте, — ты всегда за других, а не за нас.

— Ах, Зигрун... Речь не о том, за кого я и кого я защищаю. Речь идет о фактах. Иностранцы живут не лучше, чем немцы, а у евреев не больше денег, чем у других, а что касается музыки...

— Из того, что мы сейчас видели, далеко не все правда. Люди врут, и фотографии тоже могут врать. Это же так просто — сказать: вот тут происходило то-то, а там — то-то. Достаточно приклеить на дверь табличку. Отец прав. Холокост изобрели задним числом, и я теперь понимаю, как легко изобрести задним числом что угодно.

Они проехали мимо каких-то домов, пересекли какой-то ручей или канал, и дорога снова нырнула в лес. Небо потемнело, затянулось черными грозовыми тучами. Каспар на мгновение забыл о Зигрун, радуясь грозе, первой грозе этого года, предвестнице лета. Через несколько минут тяжелые капли забарабанили по ветровому стеклу, потом на землю обрушился мощный ливень, и Каспар, съехав с шоссе, остановился на лесной дороге. Дождь грохотал по крыше, заливал стекла; ни дороги, ни леса не было видно. Каспар почувствовал острое желание закурить сигарету, чего он не делал уже не один десяток лет. Он с удовольствием выпил бы глоток коньяка из плоской серебряной фляжки. Или виски. Хотя он не любил крепких напитков. Он поймал себя на мысли, что ему хочется побаловать себя подобными не-

затейливыми удовольствиями. Но тут же одернул себя: стыдно предаваться таким мыслям после посещения Равенсбрюка. Зигрун неподвижно сидела рядом и смотрела на свои сложенные на коленях руки.

— Слишком много свидетелей, жертв и преступников, слишком много документов, слишком много следов и улик... Сохранились книги учета, в которых все написано черным по белому — о конфискации денег и имущества евреев, об их транспортировке в лагерь, об их убийстве в лагерях. Управление железных дорог рейха вело учет перевозок, фабрика, производившая «Циклон», — учет поставок своей продукции, а фабрика, выпускавшая печи для крематориев, фиксировала на бумаге весь технологический процесс. Комендант Освенцима оставил воспоминания и подробно описал все, что там происходило. По-твоему, это всё — выдумки тех, кто не любит немцев? Тысячи ученых — немецких и иностранных — исследовали эту тему, и, если бы немецкие исследователи нашли что-нибудь другое, что-нибудь более убедительное, они бы обязательно рассказали об этом. Кому охота выдумывать чудовищные преступления собственного народа и тем самым очернять себя самого, свою семью и своих друзей? Может, такие и есть, но это единицы, а не тысячи. Я... я не могу выразить, как я был бы счастлив, если бы никакого холокоста не было. Но он был. И с этим фактом придется научиться жить и тебе.

Зигрун не отвечала. Она продолжала смотреть на свои руки, сплетая и расплетая пальцы.

— Но почему об этом нужно обязательно постоянно напоминать и говорить? — произнесла она наконец. — Это же неправильно. Другие помалкивают о своих черных делах.

— О мелких черных делах можно и забыть. Все забывают, и мы тоже — зачем о них помнить и говорить? А вот настоящие злодеяния... Если ты кого-то убил и другие об этом знают, а ты делаешь вид, будто никого не убивал, другие не захотят больше иметь с тобой дело. Нужно отвечать за свои дела и показать другим, что ты раскаиваешься в содеянном и сделал соответствующие выводы, и никогда больше не совершишь ничего подобного. Тогда они снова примут тебя в свою компанию.

— Вряд ли я могу заговорить об этом с отцом.

— А с матерью?

— Ее это не интересует. Она говорит, пусть холокостом занимаются веси, а у нас и других забот хватает: земля, усадьба, правильная жизнь. Мне кажется, автономных националистов тоже не очень-то волнует холокост. Так же как знамена со свастикой и бюсты Гитлера.

— Ну что ж, тогда ты можешь быть хорошей националисткой и хорошей социалисткой.

— Ты что, издеваешься надо мной?

— Нет, Зигрун. Я подумал о том, что национал-социализм невозможен без преследования и уничтожения евреев, и спросил себя, не слишком ли легко ты отделила одно от другого. Но провести между ними черту можно.

Небо просветлело, и дождь начал стихать.

— Поехали дальше? — спросил Каспар.

— Ты же ведешь машину, чего ты меня спрашиваешь? — пожала плечами Зигрун.

Когда они выехали из леса, солнце, пробившись сквозь тучи, брызнуло на видневшуюся впереди деревню.

— Но я все равно могу гордиться тем, что я немка.

Каспар снова съехал с шоссе и остановился на левой дороге.

— Не знаю. Мне кажется, гордиться можно лишь тем, что ты сам создал. Но может, я ошибаюсь...

Он показал рукой на холмистую местность, на поля, группу деревьев, на деревню, освещенную солнцем, и на другую, расположенную в низине, из которой торчали лишь церковная башня и несколько крыш. Солнце уже клонилось к горизонту, обещая восхитительный закат.

— Я люблю свою страну, я рад, что говорю на языке этой страны, понимаю живущих в ней людей, что она мне до боли знакома. Мне необязательно гордиться тем, что я немец, мне вполне достаточно того, что я этому рад.

Они оба смотрели на раскинувшийся перед ними пейзаж. Каспар открыл окно. Ему хотелось услышать колокольный звон; он бы хорошо дополнил картину. Но колокола не звонили.

— Ты все еще думаешь, как тебе относиться к евреям? Ты никого не обязана любить. Я вообще не понимаю, что значит любить или не любить немцев, или евреев, или французов. Всюду есть симпатичные

и неприятные люди. И если ты не любишь, скажем, французов вообще, значит тебе трудно будет найти симпатичных французов.

Он поехал дальше.

— Я слишком разговорился, да? Мне всегда хотелось иметь детей, — продолжил он, не дожидаясь ответа. — И объяснять им окружающий мир или рассказывать то, что я о нем знаю. Я и тебе с удовольствием рассказываю, что знаю. Но я дал себе слово не читать тебе лекции и не произносить речи и постараюсь сдержать его.

Зигрун завершила его, что все в порядке, что она на него не в обиде. Но ему всю дорогу до самого дома не давала покоя мысль, когда и как — а главное, насколько многословно — он должен был высказывать свое отношение к ее взглядам. Что лучше — говорить больше или меньше? Лучше слишком мало, чем слишком много? Или наоборот? Когда есть повод — событие или впечатление — или только когда она сама начинает разговор?

Он так ничего и не придумал до отъезда Зигрун. Урок в субботу утром продлился не два, а три часа, в половине пятого они отправились слушать «Страсти по Матфею», а перед этим Каспар рассказал ей историю Страстей Христовых, о которой она никогда не слышала.

Он боялся, что ей будет скучно. Но она внимательно слушала даже речитативы.

— Такого я еще никогда не слышала! — шепотом сообщила она ему и несколько раз, читая тексты арий в программке, признавалась, что не понимает смысла в некоторых местах.

По дороге домой Каспару пришлось нелегко: он пытался объяснить ей особенности религиозной лирики Баха. Хоралы понравились ей больше всего, и она расспрашивала его об их назначении. Он объяснял ей, что, подобно тому как она со своими друзьями и родителями пела на празднике, христиане тоже любят петь.

— Я буду скучать по тебе, — сказал он, поднявшись к ней, чтобы пожелать спокойной ночи. — Ты замечательная внучка.

Она улыбнулась ему.

— У тебя хорошо. Хотя правда всегда обязательно должна быть на твоей стороне, а на моей — никогда.

— Есть только одна правда. Она ни моя и ни твоя, она просто есть, и все. Как солнце и луна. И так же, как луна, она иногда видна лишь наполовину. И все же лик ее целен.

— Целен?

— Это слова песни.

Вы видите светило?
Сияет половина,
Но целен лунный лик.
Вот так, порой не зная,
Мы что-то утверждаем,
Но наших глаз обман велик¹.

— Что тебе включить? Баха? Моцарта? Ты уже хорошо знаешь мой репертуар.

— Что-нибудь новое, но для фортепиано.

Он включил Сати². Интересно, спустится ли она и потребует ли продолжения? Он прислушался, но так и не услышал ее шагов. Она не спустилась и не крикнула: «Красивая вещь!», или: «А что это было?», или: «Спокойной ночи!»

Утром, выключив электробритву, он услышал музыку. Из ванной трудно было расслышать, что это за музыка. По дороге в кухню он узнал Сати. Зигрун сидела за столом, держа руки перед собой на крышке стола, словно играла на фортепиано.

¹ Слова из «Вечерней песни» Маттиаса Клаудиуса. Перевод Владимира Кормана.

² *Эрик Сати* (1866–1925) — французский композитор и пианист.

— Сати был француз.

— Напрасно ты надо мной насмехаешься. Я прочитала в твоей энциклопедии, что у него нормандские корни. Я никогда не говорила, что только немцы могут быть композиторами. У каждого правила есть исключения. Папа говорит: даже когда речь идет о евреях.

— Даже когда...

— Есть еврейские музыканты, и художники, и ученые. Папа говорит, что было бы глупо это отрицать. Но еврейские музыканты играют то, что сочинили другие. Евреи всегда пользуются тем, что создали другие. Так они и богатеют. С оригинальностью у них плохо.

— Откуда это известно твоему отцу? Он что, знает много евреев?

— Не знаю. У нас вроде нет евреев.

— А много он знает англичан?

— Ну что ты пристал со своим «знает-не-знает»! Ты ведь тоже знаешь не все, что сам видел и изучал. Многие вещи просто знаешь, и все. Англичане, например, — купцы, у французов на уме одна мода и еда, а поляки — гордые и тащат все, что плохо лежит.

— О господи!..

Каспар остро почувствовал свою беспомощность. Как разгрести эти груды предрассудков? Надо отправить ее на год в Англию. По обмену. Рассказывать ей об англичанах — что они никакие не купцы, а великая нация — бесполезно. Как и любые разъяснения относительно французов, поляков и евреев. Для ее отца все это не аргументы. Он думал, что хотя бы

закрыл с ней вопрос о немецкой музыке и немецких композиторах, но, похоже, ошибся. Сати, оказывается, исключение.

— А ты не хочешь поехать на год за границу? По обмену? В Англию или в Канаду? Или в Штаты? Есть такие программы.

Зигрун растерянно смотрела на него.

— У меня с английским неважно. Я еще никогда не уезжала из дома так далеко. Да и родители... — Она запнулась. — Я не знаю, что скажут родители. Как они без меня... И я целый год буду одна?..

Каспар объяснил ей, что она жила бы в семье с детьми, в языковой среде, где все говорят только по-английски, и тоже очень скоро свободно заговорила бы на английском.

— Подумай. Если захочешь, мы можем поговорить с родителями.

— Но только не сегодня. Отец не любит, когда к нему с ходу, без подготовки пристают с неожиданными вопросами.

Она на минуту задумалась и неуверенно посмотрела на Каспара.

— Ты думаешь, меня возьмут? Зачем я им? Я не лучшая ученица, и мне кажется, учителя меня не любят и вряд ли дадут мне хорошую характеристику. А за эту поездку надо платить? — Не дожидаясь ответа, она мысленно уже перенеслась за границу. — Вот было бы классно! Целый год в другой стране, все новое... — Она рассмеялась. — И я тоже!

Ей явно хотелось повидать мир. И пока ей этого хотелось, он может надеяться. Летом она снова при-

едет к нему, и он свозит ее куда-нибудь и освободит от лишних предрассудков. А еще его надежду питали ее уроки музыки. Плевать, что Ганс Франк тоже играл на пианино в краковском замке. У нее было музыкальное чутье, она поняла — и со временем поймет еще лучше — глупость этой теории о немецких музыкантах и немецкой музыке.

Поднявшись потом к ней в комнату, когда она собирала вещи, он положил ей в чемодан диск с Сати.

На этот раз она кое-что оставила. Намеренно? Или просто забыла? Судя по идеальному порядку, который она опять навела в комнате перед отъездом, забывчивость, скорее всего, можно было исключить, и это обрадовало Каспара. На столе лежало ее серебряное кольцо с узором в виде кельтской косички.

Они так и не договорились, куда поедут во время летних каникул. Лететь на самолете Зигрун не хотела, но не прочь была увидеть что-нибудь новое. Еще она хотела играть на рояле, читать, совершать длинные пешие прогулки и плавать.

— Выбери сам что-нибудь, дед, — сказала она на прощание.

Каспар проконсультировался у себя в магазине. Дав сотрудницам исходные данные — новые края, рояль, чтение, прогулки и плавание, — он спросил, куда бы они поехали, чтобы можно было все это сочетать. Те единодушно посоветовали Средиземное море. Но для девочки, помешанной на охране окружающей среды и выбросе в атмосферу углекислого газа, это была бы слишком длинная поездка на машине. Поэтому он выбрал пансион с роялем на Лю-

цернском озере. Удовольствие было дорогое, но он уже вошел во вкус относительно ссуд в сберегательной кассе и увеличил сумму до ста тысяч евро, имея в виду в том числе и следующую выплату по «завещанию». Первые несколько дней каникул они проведут в Берлине, потом три дня в дороге, потом две недели на озере, с пятницы по пятницу, потом опять два дня в дороге, в Берлин. В Швейцарии Зигрун увидит «новые края», в которых к тому же прекрасно уживаются друг с другом четыре разных этноса. Может, это произведет на нее впечатление. По пути в пансион он покажет ей Гейдельберг и Страсбург.

Каспар стал спокойнее, чем был в первый приезд Зигрун. Он продолжал ходить в фитнес-клуб не потому, что хотел соответствовать ей во время походов по швейцарским горам, а просто потому, что уже привык. И готовить ужин два-три раза в неделю и разбивать время от времени шахматную партию по книге тоже вошло у него в привычку. Он стал меньше пить и предпочитал имбирный чай.

Он прочел все, что нашел о правых, о нацистах и неонацистах, о НДП и АдГ¹, автономных националистах, идентитаристах², артаманцах³, национал-по-

¹ Альтернатива для Германии — ультраправая политическая партия, основанная в 2013 г. (нем. Alternative für Deutschland, AfD).

² Идентитаристы — представители возникшего во Франции движения за возврат к традициям и возрождение европейской идентичности, в основе которого лежит этнонационализм.

³ Артаманцы — члены основанной в 1923 г. Артаманской лиги, движения, в основе которого лежал идеал земледельца-собственника. Зародившись в «народническом» крыле германского молодежного движения, артаманцы были непримиримыми противниками славянских народов и требовали, например, выселения польских крестьян, живших в Германии.

селенцах, об их поселениях и очищенных от «инородных элементов» зонах, их женских и молодежных организациях. Это было довольно депрессивное чтение; он и не подозревал об угрожающих масштабах этого явления, о том, как гибко они приспособляются к современным условиям, как сильно представлены в среднем классе и как много в их молодежных организациях детей адвокатов и врачей, учителей и профессоров. В поисках литературы — не того, что писали о правых, а того, что писали они сами, — он с удивлением должен был констатировать, что такую литературу не собирает ни федеральное управление политического образования, ни ведомство по охране конституции. Единственным учреждением, которое интересовалось этим, была маленькая антифашистская группа в Кройцберге. Материалы, которыми они располагали, носили случайный и неполный характер. В брошюрах и листовках, написанных молодыми людьми для молодых людей, говорилось о встречах и поездках — часто в Восточную Пруссию, Померанию и Силезию, — высказывались мысли о рейхе — прошлом и будущем, — о жизни, поставленной на карту, о союзной молодежи и органичном государстве, печатались стихи о народе и земле, рекомендовались правые книги и фильмы. Авторы то и дело призывали к единству и общности и в то же время к отрицанию других, инородцев, которые не относились к этому единству. Почему бы обществу не дать молодежи другой, положительный образец единства? Что сам он мог предложить Зигрун в качестве альтернативы ее лагерям, приключениям, ее соревнова-

ниям, ее ответственности за младших товарищей? Он поискал в Интернете организацию следопытов в Гюстрове, но не нашел. Не то чтобы он надеялся, что она может перейти к ним, он просто хотел узнать, существуют ли они.

Ему хотелось найти способ расширить духовный мир Зигрун, но ничего стоящего в голову не приходило. Не было такого трюка, такого фокуса, с помощью которого он мог бы мгновенно открыть заветную дверцу, ведущую в этот мир. Он мог лишь говорить с ней. Когда она этого желала. Его приводили в уныние мысли об их последнем разговоре о музыке. Она слушала то, что он ей включал, и убедилась, что не может отличить немецкую музыку от ненемецкой; они договорились, что в музыке не важно, кто композитор, немец или иностранец. А через пару дней она опять завела свою шарманку — что настоящими композиторами могут быть только немцы, а Сати — исключение. Это напомнило ему собаку Павлова, которая получала пищу одновременно со звуковым сигналом: через какое-то время слюна у нее начинала выделяться даже при одном звуковом сигнале, без пищи. Потом ее постепенно избавили от этого условного рефлекса, но как только ей снова дали пищу одновременно со звуковым сигналом, рефлекс мгновенно сработал и был таким же устойчивым, как прежде.

— Родителям не нравится, что я проведу с тобой три недели, — пояснила Зигрун, когда Бьёрн привез ее и попрощался с Каспаром не просто холодно, как обычно, а вызывающе грубо. — Теперь им уже не нравится даже, что я играю на пианино. Они сами ни на чем не играют, и у нас нет ни одного знакомого, кто бы играл на каком-нибудь инструменте. Барабан, или волынка, или лютня еще куда ни шло, а пианино... Они не запрещают мне играть, но когда слышат, что я занимаюсь, сразу кто-то приходит — мать или отец — и говорит, что мне надо помочь в саду, или в курятнике, или еще где-нибудь. Чаще всего я играю в наушниках, и они меня не слышат, но иногда мне хочется, чтобы в комнате звучала музыка...

Она посмотрела на Каспара, наморщив лоб. Она понимала, что, когда сидит за пианино, она кажется родителям чужой, понимала, что сообщение Каспара об их путешествии рассердило отца, для которого это была не просто поездка, а поездка в другой, чуждый для него мир.

— Если бы ты не сказал, что мы поедem на машине ради меня, потому что я не хочу лететь на самолете,

он бы запретил эту поездку. Он заметил, что я обрадовалась, и не хотел меня огорчать.

— Есть еще что-нибудь, что им не нравится?

— Есть. Книги, которые я взяла в городской библиотеке в Гюстрове. О войне и о евреях и «Дневник Анны Франк». Они думают, что я читаю все это из-за тебя. И что это ты внушил мне дурацкую идею поехать на год за границу. Кстати, так оно и есть. — Она покачала головой. — Они тебя не любят. Я имею в виду твое влияние на меня. А так им на тебя наплевать. Им нужны деньги, но они чувствуют себя паршиво из-за того, что берут их у тебя. Как будто ты их купил.

— Что же мне сделать, чтобы они ко мне нормально относились?

Зигрун грустно улыбнулась.

— Стать таким же, как мы.

Не распаковывая чемодан, она достала из него ноты, села за рояль и играла до самого вечера. Прежде чем перейти к Баху, она долго увлеченно играла этюды Черни, которые когда-то без увлечения играл и сам Каспар. За полгода Зигрун добилась больших успехов, чем он за три года. Кроме того, у нее был свой, особый подход к занятиям, которого у него не было и которым он восхищался. Он не подсовывал ей в прошлый приезд ноты в чемодан, она приобрела их сама.

А еще она сама в прошлый раз попросила у учителя номер его телефона и, позвонив ему еще из Ломе-на, самостоятельно договорилась с ним о двухчасовом занятии на следующее утро после приезда. Вернулась она от него с нотами для занятий во время каникул. Книгами на каникулы она запаслась в биб-

лиотеке Каспара и в его магазине, куда она уже являлась без приглашения и где могла брать что хотела, предупредив кассиршу. Каспара порадовал ее выбор: детективы Дюрренматта и новеллы Стефана Цвейга из его библиотеки, а из магазина биографии Баха и Моцарта и два американских романа, которые он не знал, но на вопрос о которых его сотрудница одобительно кивнула.

Вечером накануне отъезда Зигрун призналась, что ей, вообще-то, нужен купальник. У нее был купальник, купленный матерью несколько лет назад на возраст, который теперь стал ей мал, серо-белый, с шортиками. В таком виде она не могла показаться на пляже. Они отправились в торговый пассаж, нашли подходящий зеленый купальник, который понравился Зигрун. При этом Каспар развеселил ее, настояв на приобретении еще одного купальника, поскольку ему в детстве внушили, что сидеть или лежать в мокром купальном костюме вредно и нужно сразу же надеть сухой. Вечер был теплый, на улице царило оживление, они шли в приподнятом настроении, смеялись дождю из конфетти — выдумке организаторов какой-то рекламной акции. И вдруг услышали громкий крик:

— Отстаньте от меня!..

Трое мужчин приставали к молодой женщине.

— Оставьте женщину в покое! — крикнул Каспар и, тут же получив удар в живот, упал на землю.

Веселая троица невозмутимо двинулась дальше. Прохожие обходили лежащего Каспара и шли своей дорогой, как будто ничего не произошло. Только Зигрун преградила путь ударившему Каспара и обруши-

лась на него с гневной отповедью. Каспар не слышал, что она говорила. Преодолевая боль, он с трудом поднялся на ноги. Он испугался за Зигрун, которая отважно распекала огромного мужчину, и с облегчением вздохнул, когда тот просто отодвинул ее в сторону и пошел дальше.

Зигрун попыталась подставить ему плечо, но он отказался.

— Все хорошо. Спасибо.

Боль и в самом деле отпустила. Но в нем вскипела злость — оттого что его ударили и унизили, а он не сумел постоять за себя. Если бы эти типы перенесли свою агрессию на Зигрун, он не смог бы ее защитить. Вот, значит, что испытывает человек, когда беззащитен сам или не может защитить жену или дочь. И сознание бессилия и ярость не причиняют никакого вреда его обидчику, а терзают его самого.

— Что ты ему сказала?

— Что мне за него стыдно. Что он носит Тор Штайнер¹ и при этом обижает женщину и бьет пожилого человека. Извини за «пожилого человека». Я сказала, что мы должны быть лучше других, а не хуже.

— Ты увидела эту символику и подумала, что он из ваших?

— Да, подумала.

— А он оказался?..

— Ах, отстань!

¹ *Тор Штайнер* — немецкая марка одежды, логотип которой представляет собой комбинацию из двух рун, напоминающих символику нацистской Германии.

На дорогу до Гейдельберга Каспар запланировал семь часов, но из-за огромной пробки, возникшей в результате какой-то аварии, они ехали все девять. Сначала Зигрун спала, потом они пять часов подряд слушали «Приключения Тома Сойера». После этого Зигрун спросила Каспара, правильно ли это или неправильно, выражать свои убеждения с помощью одежды. Он рассказал ей об амишах, и они долго говорили о монахинях, монахах и солдатах, о кипах иудейских мужчин и хиджабах мусульманских женщин. Зигрун интересовало, должна ли одежда соответствовать политической позиции, всегда ли мусульманка в хиджабе хорошая мусульманка, а иудей в кипе — хороший иудей. Ей не давал покоя инцидент с уличным хулиганом в футболке от Тор Штайнера. Она пыталась найти утешение в том, что и иудеи тоже, наверное, творят свои злые дела в кипах, но это было слабое утешение.

В Гейдельберге она сразу же изъявила желание отправиться гулять. Ей понравился этот город на реке со старинным мостом и мощным замком, узкие переулки, площади, крутая лестница на террасу замка,

где они полюбовались закатом. И так было все три недели: Зигрун непринужденно, бурно радовалась всему прекрасному, без высокомерно-покровительственного выражения на лице, свойственного тинейджерам, без попыток осудить французов за то, что Страсбург стал частью Франции, или базельцев, за то что они во время войны 1870–1871 годов поддержали французов и даже установили им памятник. Она была в восторге от страсбургского и базельского соборов, от паромной переправы через Рейн, от вида на Цюрихское озеро с моста Кейбрюке, и у Каспара пела душа.

Она была в восторге и от апартаментов, которые он снял в шестиквартирном доме на высоком берегу Люцернского озера, с большим садом и выходом к озеру. Кроме их квартиры, заняты были еще две; в них остановились две пожилые американские пары. Остальные квартиры владельцы выставили на продажу, и их время от времени приходили осматривать потенциальные покупатели. Так что сад и пляж были в полном распоряжении Каспара и Зигрун.

Каспар надеялся, что среди их соседей-отдыхающих найдутся подружки для Зигрун, поэтому в первые дни уговаривал ее пойти в городской бассейн. Но она не захотела. Ей не нужны товарищи для игр, заявила она, у нее их дома хватает. Она хотела играть на рояле, загорать и купаться в озере, читать, ездить за покупками в Люцерн, по вечерам готовить ужин, а после ужина играть в шахматы или в реверси — ей этого вполне хватало. Когда Каспар предлагал прогулки или поездки, она охотно соглашалась. Ее очень

порадовали прогулка по озеру на пароходe, памятник Теллю и часовня Телля, поход на гору Риги. Они съездили на два дня на машине в Лозанну, потом на пароходe в Женеву и, проведя там почти целый день, вернулись обратно, проделав часть пути на поезде и часть на машине. Всё у нее вызывало восторг — озеро, виноградники, деревушки, фонтаны и роскошные постройки, она удивлялась мирному сосуществованию франко- и немецкоязычных жителей. После поездок она снова с удовольствием предавалась домашнему отдыху и купанию, не испытывая потребности осматривать места, о которых читала в книге по истории Швейцарии.

Только в Женеве они заговорили о политике. Перед Дворцом Наций Зигрун с гордостью сообщила, что выход Гитлера из Лиги Наций стал началом освобождения Германии от позорных оков Версальского договора. Что он шаг за шагом снова сделал Германию великой и могущественной. Она знала о возвращении всеобщей воинской повинности, о вступлении немецких войск в демилитаризованную Рейнскую область и о присоединении Австрии. Замечание Каспара, что Гитлер начал войну, которую не мог выиграть и, конечно же, проиграл, ее не смутило. Он думал и заботился о Германии так же, как каждый немец должен думать и заботиться о Германии, возразила она. Он много поставил на кон, поэтому много и проиграл, но игра еще не закончена. Когда Каспар спросил ее, неужели она начала бы новую войну, и какие страны или области она хотела бы отвоевать, и как распорядилась бы судьбами живущих там людей, она рас-

терянно умолкла. И он оставил ее в покое. Некоторое время она молчала. Каспар не мог понять, что означало это молчание, — недовольство им или собой, его нежеланием принять ее позицию или своей неспособностью убедить его в своей правоте. Но потом она забыла и о Гитлере, и о великой, могущественной Германии.

Каспару понадобилось больше времени, чтобы привыкнуть к этому совместному отдыху с Зигрун и расслабиться. В первые дни он постоянно испытывал тревогу: довольна ли Зигрун? Не чувствует ли она себя одинокой? Не скучно ли ей? Играет ли она так много на рояле ради удовольствия или оттого, что ей больше нечем заняться? Все ли он сделал для того, чтобы ей было хорошо? Потом он вспомнил, как проходили его школьные каникулы, которые он проводил у деда с бабушкой. Он тоже не испытывал потребности в других детях, тоже был рад, что наконец-то есть много времени для чтения, что дед с бабушкой всегда готовы к общению с ним. Они любили гулять с ним или ходить в походы, водили его в музеи, на концерты или в театры. Ему этого было вполне достаточно.

На второй неделе он наконец вошел в колею. Он вовсе не обязан был занимать, развлекать, веселить Зигрун, а забота о ее политическом воспитании была ему не по силам. Если ей что-то понадобится, она скажет. Они ходили в Люцерн на рынок, в супермаркет и в книжный магазин, гуляли по крытому деревянному мосту, сидели в уличных кафе, ели мороженое, пили эспрессо, наблюдали за прохожими. Из-за

дождя один день они просидели в квартире; Зигрун несколько часов подряд играла на рояле и спросила его мнение об одной вещи, которую она разучивала. Ее интересовало, как он понимает эту вещь. Каспар не знал, что ей ответить. Он заметил, что у нее более глубокое отношение к музыке, чем у него. С «Нотной тетрадью Анны Магдалены» она продвинулась гораздо дальше его. Солнечные дни они проводили в саду, на лужайке или на берегу. Если кому-то из них хотелось побыть одному, он просто уходил, а когда возвращался, приносил с собой сок, яблоки или шоколад. Они говорили о книгах, которые читали, о пароходах, плававших по озеру, о горах и облаках. Зигрун расспрашивала Каспара о его жизни и о жизни своей бабушки, и он рассказывал. Им было легко друг с другом.

В Берлин они вернулись поздним вечером. Каспар, просидев десять часов за рулем, устал. Зигрун, проснувшись уже в предместьях Берлина и хорошо отдохнувшая, заварила ромашковый чай, и они сели за стол в кухне. Успев отвыкнуть за три недели от этой квартиры, они чувствовали себя как в гостях. Их сложные отношения, полемические страсти, угрюмое ворчание Бьёрна въелись в стены, как застарелый запах табака. Разве все это не осталось в прошлом? Завтра наступит обычный берлинский день; Зигрун на два часа уйдет на урок музыки, он тем временем разберется с делами в магазине, она зайдет за ним после занятия, он спросит ее, не сходить ли им в кино и не посмотреть ли ремейк «Вестсайдской истории», меж-

ду ними опять, независимо от того, как она ответит на этот вопрос, встанут ее родители. Он грустно улыбнулся ей.

— Не расстраивайся, дед! Осенью я опять приеду.

Это так растрогало его, что он с трудом сдержал слезы. Он закивал и сказал, что устал как собака и срочно должен лечь спать. Зигрун включила ноктюрн Шопена, под который он и уснул.

Поскольку весной Бьёрн не запретил однозначно кино, они на следующий день посмотрели «Вестсайдскую историю», и Зигрун, впервые попавшая в кинотеатр, была совершенно потрясена музыкой и красотой фильма и страдала вместе с Марией, не заботясь о том, что та была темнокожей. В воскресенье, прощаясь с Каспаром, она на глазах у Бьёрна поцеловала его в щеку.

Как быстро люди привыкают друг к другу! Зигрун приехала и уехала, один раз, два раза, три раза. Вот она опять уехала, но скоро вернется. А сколько радости заключает в себе это привыкание! Встретившись осенью, Каспар и Зигрун радовались, что все было как всегда, радовались привычному течению дней, ужину в итальянском ресторане, совместному визиту в книжный магазин; Зигрун радовалась урокам музыки, а Каспар — возможности снова выбирать для нее музыку на ночь. Кроме общих привычек, у них уже были общие воспоминания, а из воспоминаний рождались планы. Помнишь, как мы год назад ходили в филармонию? Давай сходим туда в ближайшие дни? Помнишь, как ты осенью побоялся пойти в поход, в который мы ходили весной? Может, еще раз сходим? По желанию Зигрун они еще раз сходили в Музей Берггрюна. На этот раз она долго стояла перед картинами Пикассо, молча, не выражая ни отрицательных, ни положительных эмоций.

Однажды вечером после ужина Зигрун спросила:

— Ты бы приехал ко мне на югендляйте¹, если бы они тебя пригласили?

¹ *Югендляйте* — обряд инициации молодежи, возникший в гитлеровской Германии, национал-социалистическая альтернатива югендвайе (см. сноску на с. 159).

Она объяснила ему, что такое югендляйте — праздничный обряд прощания с детством и посвящения во взрослую жизнь, во время которого родные и близкие, друзья и товарищи собираются с горящими факелами вокруг большого костра, поют песни, произносят лозунги и речовки, виновник торжества должен пройти определенное испытание, а в конце получает пощечину, потому что прощание с детством — болезненная процедура и во время посвящения в рыцари тоже практиковались пощечины.

— Конечно приехал бы. Ну а как все прошло? Было интересно? Какое у тебя было испытание?

— Есть разные испытания — для мальчиков и девочек. Я еще пару месяцев назад сказала отцу, что хочу настоящее испытание, как для мальчишек, а не шить там что-нибудь или плести. Ну он меня и оставил в лесу без еды и воды, с одним ножом. Правда, не на сорок восемь часов, как положено мальчишкам, а всего на тридцать шесть.

— Ну и как? Выдержала?

— Конечно. А ты как думал! Я в лесу хорошо ориентируюсь, летом там полно грибов и ягод. Правда, можно промокнуть, если идет дождь, но дождя не было.

— А какой тебе достался девиз? На конфирмацию каждый получает какую-то цитату из Библии, которая должна сопровождать его всю жизнь.

— «Гори и свети, как солнце». Это отец нашел его для меня. Он говорит, что мы живем в эпоху, которая требует от человека полной самоотдачи. Мы по очереди подходили к костру, получали девиз и пощечи-

ну, а потом глоток меда из рога и пели «Молодежь встает»¹. Было классно. Только взрослые очень много пили. Они начали пить, еще когда мы вернулись с наших испытаний, и пили до самого праздника. А в праздник — еще больше. Почему они всегда так много пьют?

Каспар решил выяснить происхождение ее девиза, искал в Интернете и узнал, что это слегка измененные слова Гитлера. Он не сказал ей этого. То, что «Молодежь встает» — песня гитлерюгенда, ей, скорее всего, было известно, и это ее ничуть не смущало. Как ему быть? Смириться с этим? С тем, что она осталась такой же, как была год назад? Погрузилась в его мир с любопытством, иногда даже с восторгом, потом стряхнула этот мир с себя, как собака стряхивает воду после купания, и вновь вернулась в свой мир, в свою национал-поселенческую жизнь, словно ничего не произошло. Неужели их совместные летние каникулы, во время которых она вдруг так увлеченно заговорила о Гитлере, а через минуту уже забыла о нем, были лишь исключением? Выходит, что он полюбил ее только в надежде на то, что она отречется от своего мира и выберет его мир? Нет, так любить он не хотел. Да и как он мог хотя бы на минуту вообразить себе, что его личность, его присутствие, его влияние за пару недель исправят, вылечат душу, которую уродовали пятнадцать лет? Какая наивность, какое самомнение!

¹ «Молодежь встает» — песня гитлерюгенда, написанная Вернером Альтендорфом в 1935 г.

Они опять пошли в поход. Двенадцать километров по Бризенталю¹. Для Зигрун легкая, для него терпимая нагрузка. На лугу, где стояло несколько старых яблонь, Каспар спросил Зигрун, любит ли она стихи, и, не дожидаясь ответа, прочел:

Осенний день — еще такого не видал!
Недвижен воздух, словно все окаменело,
Но падают, шурша, то тут, то там
Плоды прекрасные с деревьев.

О, не мешайте празднику природы!
Сбор урожая, что давно созрел...
Ведь наземь с веток падает сегодня
Лишь то, что солнца теплый луч согрел².

— Когда я познакомился с твоей бабушкой, я прочел ей стихотворение о весне. Сейчас осень, и я прочел тебе стихотворение об осени. Красивые стихи, правда? И очень подходят к этому пейзажу.

Они стояли и смотрели. Воздух и в самом деле был неподвижен, тишину нарушал лишь едва уловимый шорох листвы, а на ветвях деревьев висели в лучах теплого, ласкового солнца маленькие, сморщенные яблоки.

— Да, красивые, — прошептала Зигрун, не желая нарушать этот праздник природы. — А ты много знаешь стихов? — спросила она, когда они пошли дальше. — Я вот не знаю ни одного. В школе мы как-то

¹ *Бризенталь* — лес, расположенный на севере Берлина, недалеко от Ораниенбурга, часть природного парка Барним.

² Стихотворение «Осенняя картина» немецкого поэта Кристиана Фридриха Хеббеля (1813–1863). Перевод М. Чичилонова.

разбирали стихотворение, но оно мне не понравилось. Там было про луну и всякое такое. А твои мне нравятся.

Каспар разозлился на себя. Почему он ей раньше не читал стихов? Хоть он и был книготорговцем, но музыку ставил выше литературы. Он предпочел бы написать хоть одну песню, чем опубликовать хоть одно стихотворение, и был бы счастлив, если бы в свое время подарил Биргит не поэтический, а музыкальный альманах. Но это не повод лишать Зигрун поэзии, хоть она и не знала ни одного стихотворения. Он уже не злился, а радовался перспективе открыть Зигрун мир поэзии.

Они опять сходили в филармонию, послушали концерт для скрипки с оркестром Бетховена и симфонию Корнгольда¹ фа-диез мажор. Каспар был так же растроган, как когда-то в возрасте двенадцати лет, когда слушал этот скрипичный концерт по радио, сидя у постели больной матери и деля с ней радость наслаждения музыкой. Он украдкой посмотрел на Зигрун — та сидела, сложив руки на груди. Симфонию она слушала с меньшим восторгом, но очень сосредоточенно. Эта музыка явно напомнила ей «Вестсайдскую историю», что Каспару было вполне понятно. Зигрун не спросила его, что это за композитор, а он, не желая в очередной раз услышать, что и среди евреев попадаются исключения, ничего не стал комментировать.

¹ *Эрих Вольфганг Корнгольд* (1897–1957) — австрийский и американский композитор.

День накануне отъезда выдался холодным, и Зигрун растопила кафельную печь. В последний раз Каспар топил ее для Биргит. В подвале было достаточно дров и брикетов, и Зигрун с радостью продемонстрировала свои навыки грамотного обращения с печью. Когда печь нагрелась, она положила на пол подушки, заварила ежевечерний ромашковый чай, и они сидели, прислонившись к печке спиной.

— Почти как в лагере, — рассмеялась Зигрун.

На следующий день, перед самым приходом Бьёрна, Каспар спросил ее, что бы она хотела получить в подарок к своему шестнадцатилетию. Книги ей были не нужны — она и так могла брать себе все, что ей нравилось. А вот музыка — совсем другое дело; лучше для фортепиано. Сначала ее пугала виртуозность исполнителей на компакт-дисках, призналась она, а теперь, наоборот, — подстегивала. Потом она спросила, когда у него самого день рождения и какие у него пожелания. Это тронуло его. Но еще больше тронуло его то, что, прощаясь, она опять на глазах у Бьёрна обняла и поцеловала его.

Оставшись один, Каспар вдруг испугался, что Бьёрн мог почувствовать себя обделенным и выместить свою обиду на Зигрун. Приехав, тот в качестве приветствия положил ей руку на плечо, а она ответила на отцовское приветствие, коснувшись кулаком его груди. Может, они привыкли так здороваться. А если нет, то, может, Бьёрна больно задело, что Зигрун проявила больше тепла в отношении чужого человека.

В первые дни после ее отъезда Каспару часто казалось, что она еще здесь и ждет в кухне за накрытым столом, или вот-вот спустится по лестнице, или начнет играть на рояле, или нетерпеливо крикнет: «Дед!», потому что им пора выходить из дома, а он еще не готов. Когда до него наконец дошло, что она уехала, его начала мучить тревога за нее — что родители запретят ей играть на пианино, что они заметят произошедшие в ней изменения и накажут ее или что она сама будет страдать от необходимости жить в двух разных мирах. Потом эти страхи перешли в его сны. Ему снилось, что Зигрун висит на канате, на этот раз над бездной, и силы ее уже на исходе, или что она заблудилась в лабиринте городских улиц и переулков

и не может найти выход из него, или что она пианистка и ей надо выступать, а пальцы ее не слушаются. А потом оказывалось, что это он сам то парит над бездной, то не может вырваться на свободу, то страдает от бессилия, что это его собственные старые ночные кошмары трансформировались в сны о Зигрун.

На книжной ярмарке он нашел томик немецкой поэзии, который не претендовал на благородную миссию наконец-то познакомить читателей со стихами, обделенными вниманием, а просто содержал многое из того, что Каспар знал и любил и что, по его мнению, не могло не понравиться и Зигрун. «Немецкая поэзия» — против такого названия и ее родители вряд ли будут против. Он послал Зигрун ко дню ее рождения эту книгу и шесть компакт-дисков с фортепианной музыкой от Баха до Гласса, а Бьёрну перевел следующий транш.

Через несколько дней ему позвонила Зигрун и спросила, не может ли он приехать к ним в воскресенье, в пять часов. Она говорила очень странно — как будто под давлением, как будто в отчаянии, как будто только что плакала.

— Зигрун, что случилось? Ты...

— Ничего.

Она положила трубку.

Это было в четверг. Каспар уже ничего не мог сделать, ничего не мог выяснить, исправить. Он мог только ждать и томиться страхом. В воскресенье он решил выехать пораньше, чтобы иметь запас времени и не торопиться. Он должен приехать спокойным. Если его ждет неприятная размолвка с Бьёрном и Све-

ней, ему надо чувствовать себя уверенным. Что-то там не так. Зачем он им вдруг понадобился? Чего они хотят? Чтобы он больше никуда не ездил с Зигрун? Не водил ее в кино? Чтобы он не проводил с ней по три недели? Он решил проявить гибкость и был готов обсуждать любые варианты.

Припарковавшись, он вышел из машины и направился к дому. Не успел он позвонить, как ему открыла Зигрун с заплаканным лицом. Она поздоровалась, не глядя на него, и пошла в кухню. Каспар пошел за ней.

Все было как во время его первого визита — справа Свеня с суровым лицом, слева Зигрун с опущенной головой, во главе стола Бьёрн, положив руки на поставленную на ребро книгу, название которой Каспару было не видно.

— Садись.

— Что-нибудь...

— Я доверял тебе, — перебил его Бьёрн. — Я знал, что ты читаешь лживую прессу и поддерживаешь этот культ вины, что ты один из их подпевал. Ты ненавидишь Германию. Это все равно что ненавидеть самого себя. Это патология. У тебя нет чести. Но я думал, что у тебя найдется хоть капля уважения к семье. Семья — это отец, мать и дети, и в нее нельзя бессовестно влезать, присасываться к ней как клещ. — Бьёрн все еще стоял, положив руки на книгу и с презрением глядя на Каспара. — Вы вообще не понимаете, что это такое — уважение, вы ничего не уважаете, ни Германию, ни тех, кто служит Германии, ни учителей, ни служащих, ни солдат, ни крестьян. Вы смеетесь над ними.

Единственное, на что вы способны, — это «самореализация»! Вы курите гашиш, нюхаете кокаин, вы гуляючи прошли все инстанции, пролезли во все дыры, заняли все посты и заграбастали все деньги. Семья? В лучшем случае — неполноценная, или склеенная из разных семей, или союз двух гомиков. А чаще — свободная любовь. Вы не знаете, что такое здоровые семьи. Ты небось подумал: дай-ка я посмотрю, что у них тут за семья! Может, ее можно отравить, изуродовать, чтобы мы тоже стали такими уродами, как ты. Ты тайком сунул Зигрун в чемодан эту книгу! — Он стукнул книгой по столу. — Когда она ее обнаружила, она должна была сразу же показать ее мне. И то, что она этого не сделала, — первое серьезное разочарование, которое я испытал по вине своей дочери. Но это больше не повторится, верно? — Бьёрн устремил на Зигрун мрачный, угрожающий взгляд. Она испуганно вскинула глаза и кивнула. — Ты думал, что купил меня? На деньги своей жены, этой шлюхи, которая предала Свеню? Ты думаешь, если я беру эти деньги, значит буду спокойно смотреть, как ты горишь мою семью? Засунь себе эти деньги знаешь куда? В жопу! И вот это вот тоже засунь себе в жопу! — Он бросил книгу через стол то ли ему, то ли в него. — И чтобы я тебя здесь больше не видел! А если ты вздумаешь приставать к Зигрун за моей спиной, я тебя по стенке размажу, ты понял? По стенке!

Каспар наконец увидел обложку книги и название: «Мой путь» и изображение молодой женщины. Эта книга была ему незнакома.

— Эту книгу я... — начал он, но тут же умолк, перехватив умоляющий взгляд Зигрун.

Она знала, что он хотел сказать, и боялась, что ее отец поверит ему и поймет, что она сама выбрала эту книгу и сама положила ее в чемодан. Отец пришел бы в еще большую ярость. Она не вынесла бы этого, если бы отец обрушил на нее ярость, адресованную Каспару. Каспар мгновенно прочел на ее лице мольбу, почти заклинание, чтобы он промолчал и как можно скорее ушел.

И он ушел. Молча. Свеня и Зигрун, боясь Бьёрна, тоже не проронили ни звука. Тихо закрыв за собой дверь, он дошел до машины, сел, положил книгу на сиденье рядом с собой и несколько минут приходил в себя. У него дрожали руки. Когда он наконец смог тронуться с места, он доехал до склада древесины, у которого провел ночь после праздника, и остановился. Книга была посвящена молодой женщине, порвавшей со своими ультраправыми родителями и ультраправой средой, в которой она выросла и из которой в конце концов смогла вырваться. Родителям от автора крепко досталось, и Бьёрн со Свеней не могли не узнать в них себя. Их к тому же, судя по всему, очень испугала та радость освобождения, которую испытала героиня романа. Каспар прекрасно понимал, насколько нежелательна была эта книга для Бьёрна. Интересно, когда он обнаружил ее — до того, как Зигрун ее прочитала, или после того? И сразу ли он устроил этот скандал или сначала дождался следующего транша?

Каждый раз, вспоминая эту встречу с Бьёрном, Свеной и Зигрун, Каспар испытывал чувство отвращения. Она была грязной, отвратительной, мерзкой. Он ничего не сказал, но чувствовал себя так, словно его не только испачкали грязью, но он и сам замарал себя. Он не должен был выслушивать все эти гадости. Нет, он должен был их выслушать, потому что не хотел потерять Зигрун, не зная, что уже потерял ее. Ему пришлось самому испачкать себя грязью. Теперь эта грязь вошла в его жизнь. Зигрун в его жизни больше не было, а грязь осталась.

За время знакомства с Бьёрном он научился мягче судить о нем. Каким бы жалким и убогим ни казался ему этот народнический национализм, это был его мир, и он хотел удержать в нем свою дочь Зигрун, которую любил. Так ведут себя все родители, любящие своих детей. Если же родители создали некий параллельный мир или антимир, они тем более стремятся удержать в нем своих детей, чтобы их труды не были напрасными. Что касается монолога Бьёрна, то, возможно, он давно уже ждал случая наконец-то высказать свои взгляды представителю другого мира.

Каспар пытался представить себе, как живется Зигрун в ее семье. Дом пастора, в котором он вырос, тоже был своего рода параллельным миром или антимиром, и в шестнадцать лет он выступал в роли мятежника, отказываясь от воскресного посещения церкви, от участия в работе Евангелической молодежной организации, от ежевечерних чтений из Библии, от нравственных воззрений матери. Пыталась ли и Зигрун отвоевать относительную независимость от националистского мира родителей? Храбрости ей было не занимать. Но какие у нее с ними были отношения? Насколько они были близки ей, а она им? Он видел Бьёрна «во всей красе» — устрашающе грозным и громогласным, — а Свеню суровой и безмолвной. Была ли эта ситуация исключением, или они всегда вели себя с дочерью настолько авторитарно, что у нее появилось действенное желание освободиться? Его родители еще были сторонниками авторитарного стиля воспитания, родители его знакомых и сотрудников уже иначе подходили к этому вопросу. Они не хотели подавлять волю своих детей, а стремились стать их друзьями, с пониманием относились к их желаниям и поступкам, помогали им делом и советом, но не требовали, не приказывали и тем более не наказывали их. Они принимали их сторону в конфликтах с учителями и всеми, на кого они жаловались по тому или иному поводу, проявляли сочувствие, поддерживали и утешали своих детей в их первых любовных муках, а если подружка сына оставалась у него на ночь, они встречали ее на следующее утро завтраком. Каспар часто думал о том, что постоянная

опека родителей, исполненная жертвенной любви и заботы о чадах, должна мешать детям, стеснять их свободу. Но это было не так. Дети охотно принимают любовь и заботу и ждут, что жизнь встретит их с такой же заботливой любовью, и чтобы жизнь не обманула их ожиданий, они не спешат расставаться с родительским кровом. Если Бьёрн и Свеня именно так обращаются с Зигрун, ей будет трудно от них оторваться. От громогласного, грозного, запрещающего и карающего отца с его национализмом она могла бежать в другой мир — к роялю, книгам, первой любви, предметом которой, возможно, стал бы совершенно другой, тонкий, чувствительный, мягкий юноша. Каспар видел Бьёрна громогласным и грозным и мог представить себе Свеню суровой и жесткой. Но он не исключал, что они могли иметь и проявлять другие стороны характера и свойства души и дорожили Зигрун, как дорожат своими детьми и все левые, и зеленые, и либералы, которых он знал.

Он то и дело представлял себе Зигрун. Увидев на улице девочку в юбке, он думал: «Интересно, Зигрун так и не носит джинсы?», а при виде девочки в джинсах: «Может, Зигрун теперь уже носит джинсы?» Разбирая в магазине новые поступления, он при виде книги для юных читателей думал: «Интересно, понравилась бы она Зигрун?» На концерте или в театре он теперь уже не мог не думать о том, как восприняла бы эту музыку Зигрун, а слушая фортепиано, молил Бога, чтобы Зигрун не бросила занятия музыкой. Он думал о ней в музее или в своем магазине, встречая Лолу, которую его сотруднице иногда приходилось

брать с собой на работу, на кухне, когда что-нибудь готовил, в гостиной, когда включал вечером музыку и в голове у него мелькало: уснула бы она под эту вещь?

Время от времени он спрашивал себя, не может ли он что-нибудь предпринять? Написать ей? Послать ей книги, ноты, компакт-диски? Подкараулить ее возле школы? Поговорить с ее учителями? Обзвонить учителей игры на фортепиано в Гюстрове? Спросить ее родителей, как ему быть со следующим траншем? Но если бы Зигрун хотела, чтобы он вновь появился на ее горизонте, ей достаточно было бы снять трубку телефона и набрать его номер. То, что она этого не делала, хотя это было так просто, лишало его надежды на то, что она вновь войдет в его жизнь, когда вырвется из-под родительской власти.

Паула тоже не знала, что ему посоветовать. Каспар навещал ее раза два в год, а когда они с мужем приезжали в Берлин на концерт или в театр, он присоединялся к ним, и они потом вместе ужинали. Практика перешла к Детлефу, Нина занималась фермерским хозяйством; они не поженились, но жили вместе. Паула несколько раз писала Свене, приглашала в гости, но та не отвечала на ее письма. Среди пациентов Детлефа не было национал-поселенцев, но было несколько жителей Ломена, и от них Паула узнала, что там появилось еще несколько ультраправых семей, а Ренгеры все еще копят деньги на усадьбу. О Зигрун было известно лишь, что утром она едет в школу и возвращается после обеда и ходит, как и другие девочки в Ломене, в юбке и блузке, а по праздни-

кам в дирндле. Играют ли в их доме на пианино, они сказать не могли, да и как они могли знать это, если Зигрун играла на электрическом пианино в наушниках.

Однажды Каспару показалось, что он видит Зигрун. Он ехал в автобусе, а она шла по тротуару. Он увидел ее со спины; потом, когда автобус поравнялся с ней, она уткнулась в какую-то витрину, а когда снова повернулась, автобус отъехал уже слишком далеко. Каспар вскочил, нажал на кнопку «стоп», вышел из автобуса и помчался назад, потом замедлил шаги, чтобы немного отдышаться. Они сблизилась и прошли мимо друг друга. Это была не она.

Это вообще была не девочка, а женщина, уже немолодая, хотя по фигуре и походке мало чем отличалась от подростка. Каспар почувствовал себя обманутым и разозлился. На эту женщину, которая имела наглость ввести его в заблуждение, на водителя автобуса, выпустившего его в неподобающем месте, на себя, за то что никак не мог выбросить Зигрун из головы, на Зигрун, за то что та исчезла из его жизни.

Часть третья

Она не исчезла из его жизни. Через два года она позвонила в его дверь. Каспар, который уже ложился спать, посмотрел на часы — половина двенадцатого. Он накинул халат поверх ночной рубахи, подошел к двери, накинул цепочку и приоткрыл дверь. Сначала он не узнал ее в черном пуловере с капюшоном, с черными волосами и в черных джинсах.

— Можно мне войти?

Он узнал ее голос и снял цепочку. Они прошли в кухню, Каспар поставил чайник, положил в чашки пакетики с чаем. С ромашковым.

— А у тебя нет чего-нибудь покрепче?

Каспар нашел виски, которое купила еще Биргит, поставил перед ней бутылку и стакан и налил чай. Только теперь он заметил, что Зигрун дрожит. Она перехватила его взгляд, налила себе трясущимися руками виски и выпила. Потом сунула руки в карманы свитера и опустила голову в капюшоне.

— Я могу у тебя сегодня переночевать? — И прежде чем он успел ответить, прибавила: — Но если придут легавые, ты должен сказать, что не знаешь, где я.

— А почему они должны прийти?

— Достали эти легавые! — Она рассмеялась и налила себе еще виски. — Может, они меня уже ищут. Наверное, уже побывали у Ирмтрауд и нашли мои вещи. А значит, и твой адрес.

— Это не ответ на мой вопрос.

— Твой вопрос... Я только на одну ночь. Все так по-дурацки получилось. Одному из них не повезло... Я еще не знаю, что буду делать, когда все стихнет. Можно я просто переночую у тебя и подумаю, что мне делать?

— Когда что — стихнет?

— Ну, шумиха из-за этого типа, которому не повезло. Легавые, пресса, политики — ясно, что шуму будет много.

Каспар сел.

— Сними капюшон и посмотри на меня. И расскажи наконец, что произошло.

Каспар был в ярости. Не потому, что Зигрун принесла в его дом серьезные проблемы. Что она там говорила? «Одному из них не повезло»? Неужели кто-то убит? Зачем? Сначала этот национал-поселенческий идиотизм, а теперь еще и уголовщина! Зигрун была умной, способной, музыкальной девочкой, читала и размышляла — зачем она перечеркнула свою собственную жизнь?

Зигрун выпрямилась и медленно сдвинула назад капюшон. Если бы они встретились на улице, он бы ее не узнал. Черные волосы и брови, черные тени для век, черная губная помада — это была совершенно не та девочка, которая осталась в его памяти. Он не мог сказать, что она выглядит злой, жестокой, устрашаю-

щей. Но она надела маску, чтобы выглядеть злой, жестокой и устрашающей.

Зигрун пожала плечами. Похоже, все сорвалось потому, что среди них завелась какая-то гнида — предатель. Иначе как эти придурки могли узнать о запланированной акции и подготовиться к ней? Они просто хотели спалить машину депутата окружного совета от левых, который опять приказал закрыть их пивную. У машины их встретили гориллы с бейсбольными битами и цепями. Они к этому не были готовы, и когда Йорга сбили с ног, Аксель достал пистолет и выстрелил. Зигрун не знала, что он взял с собой пистолет. Да, он был помешан на оружии, но до сих пор они никогда оружием не пользовались. Так, иногда случалось брать в руки камень, или бутылку, или пугач, но чтобы вытащить настоящую пушку — никогда. Один из них упал, второй закричал: «Врача! Врача! Скорее!» В доме депутата зажглись окна, открылась дверь. Тогда они с Ирмтрауд схватили Йорга и потащили прочь. Их никто не преследовал. Через пару минут их догнали Аксель с Хельмутом. Аксель был как пьяный. «Ну я им показал, где раки зимуют! Я им показал!» — твердил он. Потом послышались сирены.

— Может, он его только ранил?

— Нет, убил. Уже передавали по телевизору, я видела в мобильнике. Тот умер еще до того, как приехала «скорая».

Зигрун права, подумал Каспар. Это будет жуткий скандал не только на весь город, но и на всю страну. Поджоги машин левых политиков продолжались

уже несколько месяцев. Полиция так и не нашла злоумышленников, оказалась бессильной. Этот левый депутат решил не дожидаться своей очереди и прибегнул к помощи левых боевиков. Один из участников стычки погиб. Хорошая пища для прессы и для политиков, и у полиции не остается выбора: она должна найти преступника, чего бы это ей ни стоило. Если у убитого окажется интересное, располагающее лицо, накал страстей возрастет на порядок. Каспару стало жаль этого беднягу. В то же время он почувствовал отвращение ко всей этой истории, к поджогам, к насилию, к уличным битвам. И к Зигрун.

Потом он вдруг заметил, что она плачет. Слезы бежали по ее щекам, грязно-черные слезы. Изредка она тихо всхлипывала, словно вздрагивала. Каспар встал, подвинул к ней свой стул и обнял ее за плечи. Она положила ему голову на грудь.

— Я не хотела этого... — произнесла она через какое-то время сквозь слезы. — Я не хотела, чтобы кто-то умирал. Не хотела...

— Это вы поджигали все эти машины?

— Да что машины!..

Она заплакала еще сильнее, еще громче, безудержнее и безнадежнее. Словно надеясь выплакать, смыть слезами все, что случилось, все, что она натворила.

Каспар обнял ее уже обеими руками. Ей надо пойти в полицию и все рассказать. Перед этим они поговорят с адвокатом — есть у него один на примете; и с этим же адвокатом она может пойти в полицию. Но идти надо завтра же. Сказать ей об этом сейчас? Нет, пусть сначала выплачется, уснет и немного придет в себя.

— Почему ты меня бросил?

— Что?..

— Почему ты просто взял и исчез из моей жизни? Как моя бабушка из жизни матери? Почему ты не защитил меня от родителей? И не помог мне? И с музыкой, и с книгами тоже... Ты приучил меня к ним, а потом бросил...

Каспар застыл от возмущения и обиды, но совладал с собой, не отстранился от Зигрун, не обдал ее холодом, который она заслужила и который он чувствовал в себе. Как она могла упрекать его, что он исчез из ее жизни? Она сама без слов, одним взглядом умоляла его уйти. Что ему оставалось делать? И почему она ни разу не написала и не позвонила ему?

— А почему ты... — произнес он наконец и умолк.

Теперь уже было не важно, что произошло между ними тогда и чего они так и не дождались друг от друга за эти два года. Не важно, справедливыми или несправедливыми были ее упреки. Зигрун чувствовала себя брошенной на произвол судьбы, и она и в самом деле была одна в своем мире, от которого он ее вольно или невольно оторвал, так и не открыв ей при этом дверь в другой. Что бы ни было причиной, помешавшей ей обратиться к нему за помощью, — она осталась одна. Он прижал ее к себе.

— Прости, Зигрун! Прости. Я тебя больше не оставляю одну.

Он поменял в ее комнате постельное белье, положил на кровать одну из своих ночных рубаш. Она смыла с лица черную краску и лежала в постели, почти как та девочка, которой была два года назад. Он пожелал ей спокойной ночи, но она уже спала.

Каспар не мог уснуть. Может, она права? Может, он слишком поспешно сказал себе, что она всегда может с ним связаться, и если она этого не делает, значит не хочет контактов с ним? Может, это обидело его и он именно поэтому не стал ничего предпринимать? Может, он не стал подкарауливать ее у школы, потому что считал ниже своего достоинства стоять и ждать, рискуя быть намеренно незамеченным? Может, он от лени или из трусости не стал бороться с Бьёрном и Свеней за Зигрун? Почему он не писал ей писем и не посылал бандеролей? Ведь он ничем не рисковал, кроме того, что их могли непрочитанными и нераспечатанными выбросить в мусорное ведро. Может, он должен был более решительно критиковать националистическое мировоззрение Зигрун? Может, во время визита к Ирмтрауд надо было открыто сказать ей, что он думает об их борьбе с антифашистами и о стычках с полицией, вместо того чтобы интересоваться ее свастикой в ухе?

Он сел в кровати, прислонился спиной к стене и включил ночную лампу. А что, если Зигрун откажется идти в полицию? Потому что ее честь по-преж-

нему — верность и она никого не хочет предавать? Как ему тогда быть — идти самому? Не для того, чтобы полиция узнала, что произошло на самом деле — что произошло, то произошло, — а потому, что Аксель представляет собой опасность? И как быть с Зигрун, если она откажется идти с повинной? Выдавать ее?

В три часа он не выдержал, встал, пошел на кухню, убрал чайные чашки, накрыл стол для завтрака, насыпал кофе и налил воды в кофеварку — тихо, чтобы не разбудить Зигрун. После этого навел порядок в гостиной, хотя понимал, что порядок на кухне и в гостиной не заменят ему отсутствующий порядок в мыслях. Он написал электронное письмо в магазин и сообщил, что сегодня не придет. Потом открыл балконную дверь; воздух был по-весеннему мягким, и он вышел на балкон. До рассвета было еще далеко. Птицы еще спали. В кустах под балконом что-то зашуршало — может, крыса, а может, заяц или белка. Каспар прислушивался к ночным звукам — одинокие шаги, приближающиеся, а потом удаляющиеся, шум мотора на соседней улице, лай собаки.

Он уснул в кресле перед открытой дверью балкона. Разбудила его мусорная машина, около семи часов. В газете о случившемся еще ничего не было, а в новостях сообщали о попытке поджечь автомобиль депутата окружного совета, о стычке правых и левых активистов и гибели студента, одного из участников конфликта. Полиции пока никого не удалось задержать. Это означало, что информатор знал о планируемом поджоге, но не знал, кто будет участвовать в акции, или что Ирмтрауд, Аксель, Йорг и Хельмут

скрылись. А что, если кто-нибудь из тех, кто пытался предотвратить поджог, сфотографировал их? Зигрун, правда, ничего не говорила о фотовспышках. Можно ли будет узнать их лица на сделанных в темноте снимках? На чем они приехали, а потом уехали — на электричке или на метро? Помогут ли камеры видеонаблюдения их задержать?

Каспар уже сидел за столом в кухне, когда Зигрун тихо спустилась вниз и тоже села за стол. Она была подавлена.

— Ты наверняка слышал новости. Что говорили?

— Сказали только, что это был студент, активист левого движения.

Каспар налил ей кофе.

— Ты пойдешь в полицию?

— Мне кажется, я знаю, кто нас сдал. Тимо. На словах — крутой парень, а на деле — пустое место. Одни понты — я, типа, ничего не боюсь, я сделал то-то, я был там-то. Его никто не принимал всерьез. Надо было вовремя послать его подальше, а мы этого не сделали. Думали, пользы от него никакой, но и вреда тоже. Но мы почти никогда его с собой не брали. Боялись, что он все испортит.

— Как ты думаешь, он пойдет в полицию?

— Да нет, связываться с полицией он не собирался. Он просто хотел, чтобы мы без него обломались и увидели, что он нам нужен. Но он не учел, что мы его при этом расколем и узнаем, что он — крыса. — Зигрун задумалась. — А может, это и не он. Может, эти придурки сами сообразили, что мы захотим ото-

мстить их депутату, который опять приказал закрыть нашу пивную.

Каспар не стал повторять свой вопрос, пойдет ли она в полицию. Он спросил, что она собирается делать. Она сказала, что хотела бы какое-то время пожить у него. Хорошо бы забрать ее вещи от Ирмтрауд, но вдруг там ее уже ждет полиция? Это, конечно, маловероятно, но не исключено. Интересно, что обо всем этом думает Ирмтрауд — об Акселе и о трупе, и что говорить ей, Зигрун, и как вести себя по отношению к Акселю. Никаких ценных вещей у нее там нет; плохо только, что там адрес Каспара. Но никто не знает, что она у него, и если полиция придет и он скажет, что ее здесь нет, то они вряд ли будут обыскивать квартиру.

— Я считаю, что тебе надо обсудить ситуацию с адвокатом. Это останется между вами. Ты же должна знать, что тебе грозит.

— Я в полицию не пойду. Я — не предатель. Они бы меня не выдали, и я тоже не собираюсь их выдавать.

— Если Тимо рассказал про вас вашим врагам, они сдадут его полиции, а он, насколько я понял по твоим описаниям, сразу же заговорит. Послушай для начала, что скажет адвокат. Чтобы быть готовой.

— Значит, я могу пока остаться у тебя?

— Зигрун, ты должна бросить все это. Я понимаю, тебе надо подумать. Но если ты собираешься и дальше заниматься этим, а здесь просто хочешь отсидеться, то я в этом не участвую. Тебе придется уйти.

Она посмотрела на него. Ему показалось, что в ее взгляде он прочел облегчение, но и упрямство. Облегчение — потому что получила отсрочку, а упрямство — потому что не желала быть «крысой». Она закусила губу. Когда у нее появилась эта привычка? И что это означало? Неуверенность или глухую защиту?

— Я позвоню адвокату и приглашу его сегодня на ужин. Мы старые друзья. А сейчас я пошел в магазин. Тебе ведь нужны вещи? Что тебе нужно?

Он записал ее пожелания и размеры. Она проводила его до двери, обняла его и поцеловала в щеку.

— Спасибо, дед.

Когда он уже спускался по лестнице, она догнала его и сказала:

— Эмульсия! Принеси мне, пожалуйста, эмульсию для удаления краски с волос!

Походы по магазинам Каспару давно уже были в тягость. Он терпеть не мог эту духоту, эту музыку, сутолоку, примерочные, очереди в кассу и надеялся, что его костюмов, пальто и плащей ему хватит до конца жизни; разве что придется купить как-нибудь пуловер, вельветовые брюки, рубашку, туфли. Лучше сразу всего по паре штук, а рубашек — четыре или даже пять, чтобы лишний раз не ходить в магазин. Но покупать вещи для Зигрун ему было приятно, поэтому он заодно накупил еще и продуктов, из которых, по его мнению, она с удовольствием что-нибудь приготовит.

Открыв входную дверь, он услышал приглушенные звуки рояля. Зигрун положила на струны полотно.

— Я уже полгода не играла. И только сейчас поняла, как я соскучилась по клавишам.

За чаем в кухне Зигрун рассказала, что после окончания школы летом она еще съездила с другими ребятами в Данциг и в Кёнигсберг, но, в общем-то, ей все уже давно опостылело — все эти обычаи и песни, юбки и блузки, разговоры о земле, о рейхе и о чести,

отец, который наконец купил усадьбу, но продолжал считать каждый пфенниг и скряжничать, мать, которая и уважала, и в то же время презирала его или просто его боялась. Зигрун сказала им, что уходит, и ушла. Поселилась у Ирмтрауд, работала то официанткой, то уборщицей; ей было все равно, как зарабатывать на жизнь. Главное — что она наконец могла вместе с другими девушками, а иногда и с парнями вести борьбу, чтобы все видели: немцы никому не позволят навязывать им свои законы — ни продажным политикам и журналистам, ни черножопым, ни тем более антифашистам. Они избивали темнокожих наркоторговцев, которые калечат немецких детей, а те, зная, что легавые их тоже не ждут с распростертыми объятиями, не заявляли в полицию. Однажды они бросили коктейль Молотова в одну кальянную в расчете на то, что владелец подумает, что это работа его конкурентов из другого клана, и арабы сами перережут друг друга, но те почему-то не стали друг с другом воевать. Зная, что Каспар осуждает их действия, Зигрун говорила немного смущенно. И все же, когда она с горящими глазами рассказывала о сожженных автомобилях, в ее голосе звучала гордость.

— Ну и чего вы добились? Если не считать одного убитого?

— Журналисты, чьи машины мы сожгли, хвастались: типа, нас не запугаешь! Но можешь мне поверить: когда у тебя перед домом горит твоя машина, ты это запомнишь надолго. Это надо видеть!

— А убитый?

— Да, убитый...

Каспар боялся услышать: лес рубят — щепки летят — или: не рой другому яму, сам в нее попадешь. Но Зигрун опустила голову и умолкла, и даже если она не плакала, то во всяком случае выглядела такой же несчастной, как накануне вечером.

— По-твоему, пусть Аксель и дальше спокойно разгуливает по улицам?

— Я не знаю, что на него вчера нашло.

— То, что на него нашло вчера, может еще не раз на него найти. Его нужно остановить. Ты должна его остановить.

— Он хотел защитить Йорга.

— Чтобы все видели, что немцы никому не позволяют навязывать им свои законы? Вам ведь на самом деле плевать на политику, вам нужна движуха! Вам нужен кайф — что-нибудь поджечь, взорвать, забить кого-нибудь насмерть. — Каспара охватила злость. Ему уже не хотелось щадить Зигрун. Ему было плевать: пусть обижается, пусть уходит в глухую защиту. — Вы столько раз наезжали на других, а сами не любите получать по морде? Вы стреляете, чтобы Йорга не отлупили другие? Избалованные, изнеженные, жалкие ничтожества! Вы хотите снова сделать Германию великой? Деретесь с антифашистами, никак не наиграетесь в эту идиотскую игру! Но каждая игра имеет свои границы. Аксель представляет собой опасность, а опасности нужно устранять. Его место — за решеткой, а может, в психиатрической клинике, но не на улице. Он не должен разгуливать на свободе с оружием. Говоришь, был как пьяный? Ему обязательно захочется испытать это еще раз. А остальные,

благоразумные, такие как ты, значит, не стреляют? Они просто избивают до полусмерти какого-нибудь дилера из Нигерии, чтобы он наконец заметил, что его не любят в Германии? Ты думаешь, он этого не знает? А журналисты? Да, они этого не забудут. Я бы тоже этого не забыл, если бы моя машина сгорела прямо под моими окнами. Ну и что? Неужели ты думаешь, что после этого журналист станет писать по-другому? Или вообще не решится больше писать? Ты думаешь, если вы сожжете мою машину за то, что я торгую не теми книгами, я перестану это делать? Ах, Зигрун, какие это все глупости! Жизнь совсем не в этом. Жизнь — это музыка и работа. Закончи университет, учи детей или лечи больных, строй дома, давай концерты... Ты же умная, сильная. Выбери жизнь! Никто не вернет Восточную Пруссию и Силезию. Германия не станет более великой, чем она есть, но она не так уж мала и не лопнет по швам из-за иностранцев. А они здесь нужны. Кто будет резать спаржу, собирать виноград и забивать свиней? Когда твой отец наладит хозяйство, ему наверняка понадобится работник, и, если он не найдет немца, он возьмет иностранца. И тому придется выучить немецкий и соблюдать немецкие законы, как и всем другим. И если он все это будет делать, то в чем проблема? Какая разница, национал-поселенец ты, или просто немец, или немец иностранного происхождения? Заключаешь брак по древнему языческому обычаю, или венчаешься в церкви, или по еврейскому обычаю топчешь разбитое стекло бокала под балдахин? Оставьте вы людей в покое, пусть они живут как хотят!

Каспар и сам смутился от своего бурного монолога, но ему стало легче. Он посмотрел на Зигрун в надежде прочесть на ее лице одобрение или хотя бы неуверенность, но она опустила голову.

Он ждал реакции. Хоть какой-нибудь. Какого-нибудь «ну, не знаю», «все не так, как ты думаешь» или «ты не понимаешь», «тебе этого не понять», «ты так много всего наговорил, дед. Ты еще никогда так много не говорил. Я сначала должна все это переварить». Или таких аргументов, как «у них же были бейсбольные биты и цепи», или что ее отец никогда не нанял бы иностранца, или что Германия не обязательно должна быть такой разносторонней. Но она просто сидела молча, опустив голову и положив руки на стол, словно это были клавиши рояля и она только что преврала игру. Когда ее молчание стало уже почти невыносимым, она подняла голову, посмотрела на сумку с покупками, встала и, достав из нее эмульсию для удаления краски с волос, сказала:

— Ну ладно... пойду займусь волосами.

Она вышла из ванной с намотанным на голову полотенцем и села за рояль, струны которого все еще были приглушены. Было видно, что до того, как она бросила занятия музыкой полгода назад, она много работала. У нее был уже очень приличный уровень. Разогрев пальцы несколькими пьесами из «Нотной тетради», она принялась разучивать вариации ля-мажорной сонаты Моцарта, тщательно исправляя каждую ошибку, особое внимание уделяя трудным местам, не стремилась поскорее перейти к легким пассажам и то и дело останавливалась. Каспар, которому из соседней комнаты ее не было видно, подумал, что она, наверное, в этот момент мысленно проигрывает ту или иную музыкальную фразу.

В свое время он тоже играл эту тему, и вариации оказались ему не по зубам. Он прекрасно их помнил. Биргит любила их и учила несколько месяцев, пока не добилась легкости и непринужденности исполнения. У Зигрун здесь пока еще не было этой легкости и непринужденности. Но ей важна была не легкость, а осторожность и нежность звучания; время от времени она как бы на мгновение зависала в воздухе пе-

ред очередным поворотом мелодии, придавая музыке необыкновенную мягкость; в четвертой вариации жалоба у нее была лишена боли, а в ликующей радости шестой не было триумфа. Это растрогало Каспара. Он вспомнил, как их с Биргит собака брала с ладони кусочек сыра или колбасы — осторожно, бережно, чтобы не поранить зубами кожу. Зигрун работала и над переходами. Она хотела, чтобы вариации не просто следовали одна за другой, а воспринимались как единое целое. У нее было вполне определенное представление о том, как следует играть эту вещь, и Каспара это радовало еще больше, чем ее технические успехи. Он хотел заняться своими заказами и счетами, но вместо этого сидел и слушал Зигрун, счастливый оттого, что она так преуспела в музыке, и несчастный от сознания драматизма ее положения.

Они вместе приготовили ужин и накрыли стол к приходу адвоката, пожилого господина с наголо бритой головой, усами и брюшком, который поздоровался с Каспаром, как со старым другом, а Зигрун приветствовал как «фройляйн». Теперь она так и выглядела со своими рыжими волосами и в зеленом платье-рубашке, которое Каспар выбрал, ориентируясь на ее рыжие волосы, и которое она в этот вечер предпочла купленным им, кроме того, джинсам, футболкам и пуловерам; когда он сказал «худи» и тут же исправился — «свитер с капюшоном», — она закатила глаза.

Каспар, еще договариваясь с адвокатом о встрече, рассказал ему, что говорили в утренних новостях, и тот успел навести справки. Парни из антифашист-

ской организации вроде бы узнали одного из поджигателей — не того, который стрелял, а другого; имени его полицейский адвокату не назвал. Его допросили, но он заявил, что ничего не знает и что у него есть алиби. Это, конечно, не много, сказал адвокат, но есть еще баллистическая экспертиза и результаты видеонаблюдения с ближайших станций метрополитена и городской электрички; ведется работа со свидетелями, проверяется алиби, задействованы все тайные осведомители полиции. Потом он выслушал Зигрун.

— Если прокурор это узнает, он обвинит вас и ваших товарищей в убийстве, совершенном группой лиц. Не знаю, как отнесется к этому судья. Прокурор скажет, что, взяв с собой на акцию Акселя, вооруженного пистолетом, вы тем самым выразили согласие с тем, что он кого-нибудь застрелит. Вы возразите, что не знали о его намерении взять с собой пистолет. Но поверят ли вам? — Он сделал паузу. — Если вы сдадите стрелка — шокированные тем, что он взял с собой пистолет, что он выстрелил и убил человека, — ваше положение существенно улучшится, у вас появится шанс, что ваши действия будут квалифицированы всего лишь как попытка поджога автомобиля, и вы получите условное наказание. Если нет... Или вы боитесь? Может, вы не хотите выдавать стрелка, потому что опасаетесь за свою жизнь? Если вы все это убедительно изложите... — Он опять сделал паузу. — Я думаю, вы понимаете, *как* я советовал бы вам поступить. Рано или поздно полиция все это раскопает. Стрелку вы ничем не обязаны. А другим это

пойдет только на пользу, если вы сразу же заявите, что стрелок действовал автономно, вразрез с вашими планами.

Зигрун смотрела то на адвоката, то на Каспара; в глазах ее была неуверенность и в то же время упрямство, решимость действовать самостоятельно, не принимая чужой помощи и чужих советов. Каспар видел это и видел, что она не знает, какое принять решение. Конечно же, самостоятельное, но решение предполагает некое конкретное содержание, которого у нее не было, а принять помощь и совет — значит отказаться от самостоятельности. Что же ей делать? Рано или поздно полиция все это раскопает, сказал адвокат. Может быть. А может, и не раскопает. Она не хотела быть предательницей! Закусив губу, Зигрун встала с таким видом, будто приняла решение, но тут же опять села.

Она и после ужина осталась сидеть с мужчинами, пила красное вино и слушала их разговоры. Они предавались воспоминаниям, как это обычно бывает между старыми друзьями. Биргит несколько раз забывала подать заявку на проведение демонстраций, которые она организовывала; ее за это привлекали к суду, и адвокат выступал ее защитником.

— Она была упрямой. Я относился к ней с большой симпатией, но работать с ней было очень непросто. С ней вообще было непросто, и не только мне.

— Это правда, дед?

— Тебе бы с ней точно было непросто. Я не считаю себя вправе тебя воспитывать, а она бы себе это

право сама присвоила. С твоей матерью ей было бы сложнее, потому что она ее бросила, с тобой — совсем другое дело.

Перед сном она спросила, нельзя ли ей почитать записки Биргит, которые он однажды упоминал. Каспар обещал подумать. Сидя рядом с ее кроватью, он спрашивал себя, почему она не захотела вернуться к Ирмтрауд — теперь, когда выяснилось, что полиция ничего про Ирмтрауд не знает. Означало ли это, что она порвала с прежней жизнью? И выбрала его мир? Или ей просто было лень поздно вечером ехать в Кройцберг? Или она не знала, в каком виде предстать перед Ирмтрауд — с рыжими или черными волосами, одетой во все черное или в голубых джинсах и одной из разноцветных футболок, которые он ей принес?

— Что ты думаешь делать, когда все закончится?

— Не знаю, дед. Ты думаешь, я сама не ломаю себе над этим голову? Еще как ломаю. То, что говорил твой друг, конечно, интересно. Из нашей тусовки постоянно кого-нибудь тащат в суд. Я понимаю, тебе в это трудно поверить — потому что я полгода не играла на пианино, — но это правда: больше всего мне хочется заниматься музыкой. Я была бы рада играть каждый день, целый день — пока самой не надоест. У меня такой возможности еще никогда не было. Дома все время нужно было что-то делать, помогать, а у тебя я не хотела мучить тебя и твоих соседей. Мне надо было привезти с собой электропианино. С наушниками я бы никому не мешала. — Она грустно улыбнулась. — Великие пианисты начинают в четыре года.

Ну или в пять лет. Ты слышал про Джульярдскую школу? Это консерватория в Нью-Йорке. Я читала про нее. Вот куда бы я хотела поступить! Но туда берут всего пять процентов из всех желающих, и ля-мажорной сонатой Моцарта там никого не удивишь. Да и стоит это удовольствие пятьдесят тысяч долларов в год.

Каспар не знал, в каком возрасте начинают великие пианисты, но вполне мог себе представить, что и в самом деле в четыре года. И что для поступления недостаточно сыграть ля-мажорную сонату Моцарта. А может, достаточно? Она считалась легкой, но в семье Моцарта ее относили к особым и сложным сонатам, и экзаменаторы не могли этого не знать. Что, если Зигрун сыграет ее так, как ее еще никто не играл?

— Можешь завтра играть сколько хочешь. Я буду в магазине, соседи сверху на работе, а внизу ничего не слышно. Включить тебе что-нибудь на ночь?

Она кивнула, Каспар поставил ей первую часть Лунной сонаты и крикнул:

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Дать ей записки Биргит? За последние два года он несколько раз перечитывал их и даже хотел начать писать продолжение. Он не знал, получится ли у него, но думал, что Биргит была бы счастлива, если бы ее роман был завершен и опубликован. Пока не понял, что завершать нечего. Сколько бы он ни сочинял и ни рассказывал, как Биргит искала и нашла Свеню,

ее рукопись не стала бы романом, который она хотела написать. Этого романа не было. Биргит на самом деле не хотела его писать. Она не хотела искать и найти себя через поиски Свени и рассказ об этом. Она хотела признать себя не способной ни на поиски и достижение цели, ни на создание романа. Вот в чем заключалась ее неудача, а не в самой работе над романом. Поймет ли это Зигрун?

Они вместе позавтракали, и Каспар ушел в магазин. Зигрун собиралась позвонить Ирмтрауд, а потом играть на рояле до полного изнеможения.

Но уже в одиннадцать часов она пришла к нему в магазин. Каспар почувствовал движение воздуха, когда открылась входная дверь, поднял голову и увидел Зигрун, взволнованную, растерянную. Ни с кем не поздоровавшись, она сразу направилась прямо к нему.

— Он застрелил Тимо! — сказала она и застыла перед ним, словно ожидая от него каких-то указаний.

Каспар отвел ее в сторону, в уголок, где складывались и распаковывались посылки с книгами, и она рассказала ему все, что узнала из разговора с Ирмтрауд. Тимо обнаружила его подружка и позвонила сначала в полицию, а потом Ирмтрауд. Она была совершенно невменяема, рыдала и кричала, проклинала всех — убийцу, друзей Тимо, которые не помогли ему, не защитили его, — и вообще весь мир, полный злобы. Она явно не знала о том, что они подозревали Тимо в предательстве. Может быть, потому что он и сам этого не замечал, а может, потому что ему было стыдно и он скрывал это от нее. Ирмтрауд и Зигрун

нисколько не сомневались в том, что Тимо убил Аксель, считая его предателем. Они понимали, почему он мог так подумать, но были в шоке от его самоуправства.

— Он должен был обсудить это с нами, и мы бы его отговорили.

Подружка Тимо не знала и не догадывалась, что это дело рук Акселя. Но, возмущенная тем, что они не защитили Тимо, она наверняка назвала имена его друзей, и теперь полиция, конечно же, всех их, одного за другим, вызовет и допросит. И потом еще и узнает, что Тимо и тот парень из антифашистов застрелены из одного и того же оружия.

— Подруга Тимо знает тебя?

— Мы с ней ни разу не встречались. Она не участвовала в наших делах, а я здесь всего полгода. Но она знает Ирмтрауд и ее общину и тех, кто уже давно в ее организации.

Каспар вдруг с ужасом поймал себя на том, что ему безразличны обе жертвы, и устыдился. Эти юноши сбились с пути, запутались, но у них впереди была вся жизнь, и они еще могли образумиться и приносить пользу себе и людям. Но он ничего не мог с собой поделать — их гибель не трогала его. Он испытывал злость к этому неадекватному, помешанному на оружии, кровожадному Акселю, а с ним была связана злость к Зигрун, которая его защищала и готова была из-за него предстать перед судом и сесть за решетку. Зигрун — за решеткой! Не один и не два года! Даже если ей разрешат взять с собой электропианино... Как это нелепо, бессмысленно и отвратительно!

— Тянуть больше нельзя. Ты должна пойти в полицию или в прокуратуру, — мы спросим адвоката, к кому лучше обратиться. Может, он и сам с тобой пойдет. Неизвестно, что еще может выкинуть твой Аксель, если его не остановить.

Зигрун знала, что ей не переубедить Каспара. Она и сама понимала его правоту, и все же возразила, робко, но с упрямством в голосе:

— Аксель сделал свое дело. Теперь он успокоится.

— А если нет? Ты несешь ответственность за все, что он еще может сделать и что ты могла бы, но не хочешь предотвратить. Тебе мало того, что ты не предотвратила смерть Тимо?

Она заплакала. Слезы опять бежали по ее щекам, и она тихо всхлипывала, словно вздрагивала. На этот раз Каспар не стал обнимать ее за плечи.

— Я знаю, дед, знаю... Может... может, Тимо был бы сейчас жив. Этот предатель. Я знаю, что надо идти в полицию.

Но она не встала и не попросила Каспара позвонить адвокату.

— Сегодня я буду заниматься на рояле. А завтра сама стану предателем и пойду в полицию и все расскажу. Но не сегодня. Сегодня я буду заниматься, пока не устану. — Она прочитала на лице Каспара недовольство. — Ты можешь меня выгнать из квартиры. Тогда я не смогу заниматься. Но все равно сегодня в полицию не пойду.

Каспар достал из кармана мобильный телефон и позвонил адвокату. Зигрун слушала их разговор. Адвокат согласился пойти вместе с ней в прокурату-

ру и попросил ее прийти к нему завтра в половине десятого; им надо сначала все обсудить.

Зигрун кивнула.

— Ты храбрая девочка, Зигрун. Ты поступаешь правильно, хотя тебе не хочется этого делать и ты предпочла бы найти другой выход. Ты сейчас сама себя освобождаешь, чтобы обрести свою собственную жизнь. Это не в моих правилах, но я горжусь тобой.

— Интересно, что бы сейчас сказали родители?

Это интересовало и Каспара — что бы сказали родители Зигрун, если не сейчас, то потом, что ответила бы Зигрун, есть ли у них еще власть над ней, насколько она свободна от них? Как они отнеслись к ее берлинской жизни в среде автономных националистов? Как к неизбежной фазе, когда человеку нужно перебеситься, как когда-то перебесились они сами? Ожидали ли они, что, перебесившись и успокоившись, она вернется к национал-поселенческой жизни, возьмет на себя заботу об усадьбе, найдет себе арийского мужа и нарожает с ним кучу детей? Возможен ли такой вариант для Зигрун? Не сейчас, а когда она разочаруется в жизни? Он готов был ей помочь: денег, которые он выделил для нее, хватило бы на два года учебы в Джульярдской школе, не говоря уже о любой другой консерватории. Но если из этого ничего не выйдет?

Каспар не пошел вместе с Зигрун домой. Ей надо было побыть одной за роялем. Но и оставаться в магазине он тоже не мог. Он пошел в парк. Весна уже окрасила первой бледной зеленью деревья и кусты, на игровых площадках копошились дети, по газонам носились собаки, а на скамейках сидели пожилые

люди. В мире царил привычный порядок. С каждой неделей будет все больше тепла и зелени, здесь и там расцветут цветы, по утрам и вечерам он будет ходить через этот парк, вдыхая запах земли и деревьев и ароматы цветов.

Почему бы Зигрун не учиться здесь, в Берлинской консерватории? Ее учитель музыки наверняка знает, как подготовиться к экзаменам. С ее любовью к роялю и необыкновенной работоспособностью успех на вступительном экзамене ей гарантирован. Если не в этом году, то в следующем. Она могла бы жить у него, они бы вместе завтракали или ужинали, иногда ходили бы на концерты, а в остальном она жила бы своей жизнью, он бы не стал ей мешать.

Каспар опустился на скамейку рядом с пожилой парой, молча сидевшей рука в руке. Неужели в его жизни этого больше никогда не будет — сидеть на скамейке с женщиной рука в руке, молча или беседуя? Попытавшись представить себе это, он увидел рядом с собой Биргит. Биргит, которой ему все еще так не хватало. По утрам, когда он вставал и вспоминал, что ему не надо стараться не шуметь, что он никого не разбудит, по вечерам, когда он возвращался домой и ему некому было рассказывать о том, как прошел день, за завтраком или ужином, когда он видел напротив себя не занятый стул, ночью, когда, машинально протянув руку, натыкался на пустоту. Но иногда перед сном он замечал, что целый день не вспоминал о ней. А бывало даже, что это приходило ему в голову лишь на следующее утро. Он хотел сохранить ее в своей жизни, но она все больше отдалялась.

Он попытался представить себе на скамейке рядом с собой другую женщину. Два года назад он взял в магазин ученицу, веселую, толковую девушку, непосредственную в общении, непринужденную даже в объятиях, в прикосновениях. Она нравилась ему, ее полные губы и стройное тело манили его, она добилась его любви. Но он не хотел ни юной красавицы в качестве трофея, ни роли шефа, прибранного к рукам хорошенькой ученицей. Он не верил в то, что и в самом деле мог быть интересен Лауре и что она могла в него влюбиться. Может, это было ошибкой? Может, она была уже не девочкой, а молодой женщиной, а молодая женщина — это прежде всего молодая женщина? Он не знал. Во всяком случае, он положил конец этой связи.

Год назад он проходил медицинское обследование, в том числе проверку сосудов. Женщина-невропатолог была моложе его, но не слишком молода для него, как и он был не слишком стар для нее, и ему показалось, что он ей понравился. У нее были светлые волосы, голубые глаза, чувственный рот, ровные белоснежные зубы, а под белым халатом угадывалась роскошная фигура. Если бы не морщины на лбу и складки у рта, Каспар назвал бы ее красоту ослепительной. Но у нее были морщины на лбу и складки у рта. Она подошла к нему с улыбкой, свидетельствовавшей о добром сердце и жизненном опыте.

Она поднесла к его шее какой-то прибор, он услышал, как бежит кровь по его жилам, пульсирующий шум, стук сердца. Она принялась объяснять ему, о чем ей говорит этот шум, еще до того, как посмотрела на

диаграмму. Закончив, она на секунду положила ему руку на плечо.

Его вдруг прорвало.

— Мне бы очень хотелось встретиться с вами еще раз. Может, мы поужинаем как-нибудь вместе? Простите, я даже не посмотрел, носите ли вы обручальное кольцо. Я редко обращаюсь к женщинам с подобными разговорами. Вернее, я еще никогда этого не делал.

Под ее спокойным взглядом он тоже успокоился.

— Теперь я вижу, что вы носите даже не одно, а целых два кольца. Вы потеряли мужа. Приношу вам свои соболезнования. Вы его любили, иначе бы не носили два кольца. Я... Впрочем, я слишком много говорю. Я только хотел сказать, что был бы рад, если бы вы приняли мое приглашение...

Так это началось. На его взгляд, очень хорошо, хотя он был неловок и беспомощен, или наоборот — потому что он был неловок и беспомощен и она, заметив это, все же приняла приглашение. Первая встреча получилась живой и доверительной. Но дальше этой живости и доверительности в первые недели дело не пошло. Ни у него, ни у нее не оказалось достаточно терпения, чтобы проникнуться жизненными перипетиями другого. Это требовало душевного труда, а они еще не настолько пострадали от одиночества, чтобы взять на себя этот труд.

На что ему еще было надеяться, кроме присутствия в его жизни Зигрун? Время от времени совместный завтрак или ужин, совместный поход на концерт — ему этого вполне хватило бы. А еще были бы звуки рояля, наполняющие квартиру.

Зигрун приготовила ужин и накрыла стол. Она была веселой и вела себя непринужденно, словно принятое решение сняло с нее тяжелый груз и дало ей чувство освобождения. Она не говорила ни о случившемся, ни о предстоящей встрече с прокурором, охотно обсуждала с Каспаром его предложения: поговорить с учителем музыки и, конечно же, продолжить с ним занятия, начать подготовку к вступительному экзамену. Да, действительно, это неплохая идея, говорила она.

— Ты же знаешь: я не собираюсь ограничивать твою свободу. Живи как хочешь, делай что хочешь.

— Да, дед, я знаю. Мы бы с тобой классно ужились. Я бы ходила с тобой на все концерты и оперы. Мне хочется лучше знать музыку.

— Ты вот говоришь: интересно, что бы сейчас сказали родители?

— Мои родители! Отец не простит мне, что я не хочу никакой усадьбы. Я должна хотеть только то, чего хочет он. Но рано или поздно он найдет подходящего соседа, который купит усадьбу, и успокоится. Главное — чтобы дело национал-поселенцев жило

и развивалось. Матери, конечно, будет тяжело. Она столько лет ишачила на эту усадьбу, и у нее одна мечта: чтобы я вышла замуж, нарожала кучу детей, а она жила бы рядом и баловала их так, как никогда не баловали ее.

Каспар хотел сам убрать со стола и вымыть посуду, но она не позволила ему даже помогать себе. В этот вечер она все хотела делать сама.

За чашкой эспresso Каспар завел разговор о деньгах.

— Я хочу, чтобы ты получила деньги, которые я не выплачивал твоим родителям последние два года. Кроме того, ты получишь то, что тебе принадлежит со дня твоего восемнадцатилетия. Это сто двадцать пять тысяч евро. Перевести эту сумму на твой счет? Или ты предпочитаешь получать их частями?

Она покачала головой.

— Мать сказала, что ты предложил эти деньги только для того, чтобы подобраться к нам — к ней и ко мне. Так что эти деньги не мои.

— Какая разница, для чего я их предложил? Раз я сказал, что это твои деньги, значит они твои.

— Ах, дед, — улыбнулась она. — У меня даже нет своего счета. Когда мне понадобятся деньги, я тебе скажу. Классно, что хватит даже на Джульярдскую школу, хотя я туда в жизни не поступлю. Но может, поступлю куда-нибудь в другое место, где тоже недешево учиться. — Она помолчала немного, явно что-то обдумывая, и наконец продолжила: — Тогда летом... на празднике с канатом и с костром... Вы с матерью так хорошо стояли вместе. Видно было, что вы нашли общий язык. Ты не мог бы ей изредка звонить?

Каспара удивил этот вопрос.

— Она мне больше не доверяет.

— Я ей сказала, что это не ты тогда положил мне в чемодан книгу. Отцу я этого не говорила, а ей смогла сказать. Правда, не сразу, через год. Она была довольна тем, что мы с тобой больше не видимся, но обрадовалась, когда узнала, что ты ее не обманул.

— А тебе не кажется, что было бы лучше, если бы ты сама ей изредка звонила?

— Она была бы рада твоим звонкам. Хотя сначала бы не показала этого, но точно была бы рада. И еще: что там писала твоя жена о себе и о матери? Ты сказал, что подумаешь, можно ли мне это читать. Так можно? Сегодня ночью? Я думаю, матери тоже было бы интересно прочитать это.

Почему сегодня ночью? Потому что она приняла решение, которое поставило точку на ее прежней жизни и открыло ей дверь в новую, и ей хотелось знать, как совершила этот переход из прежней жизни в новую ее бабушка? Потому что она решила сегодня ночью стать по-настоящему взрослой? Судя по ее виду — по ее серьезному и уверенному взгляду, — она ею уже стала. Она так твердо выразила просьбу звонить Свене и желание прочесть записки Биргит, словно не сомневалась, что он не сможет ей отказать. Она заколола свои рыжие волосы, что всегда придавало ее облику некоторую строгость, а ее рот напоминал Каспару рот Биргит, когда ее лицо выражало уверенность. Имела ли она право на записки Биргит? Нет, конечно, но он обещал ей никогда больше не бросать ее, и у него было такое чувство, что он бросит ее, если не даст ей записки.

Они встали из-за стола, Каспар все же составил ей компанию и чисто символически ассистировал ей при мытье посуды, а потом приготовил записки и долго стоял перед дисками, выбирая для нее музыку. Она подошла, взяла соль-минорный клавирный концерт Баха и сунула ему в руку.

— Проиграй его весь, пожалуйста. — Она поцеловала его в щеку. — Можешь не подниматься ко мне. Спокойной ночи!

В десять в магазин позвонил адвокат. Он так и не дождался Зигрун. У прокурора они должны были быть в половине двенадцатого, но до этого им обязательно нужно все обговорить. Каспар поспешил домой, с каждым шагом все больше тревожась и нервничая. Он сегодня встал рано, стоя выпил чашку кофе и ушел. Его немного удивило, что Зигрун еще не спускалась; обычно она вставала раньше его. Но ей предстоял тяжелый день.

Он шел не парком, а по улицам и то и дело пускался в галоп, но долго такого темпа не выдерживал и снова переходил на шаг, тяжело дыша и морщась от покалывания в груди. Может, с Зигрун что-нибудь случилось? Упала с крутой лестницы в квартире? Или на рельсы в метро? А может, ее сбил какой-нибудь пьяный водитель? Звук его шагов — только что оглушавший его на тротуаре — мгновенно поглотил ковер в подъезде, и когда он перешагнул порог своей квартиры и немного отдышался, в квартире царил тишина. Несколько мгновений он надеялся, что Зигрун так увлеклась игрой на рояле, что позабыла обо

всем на свете, но он и сам понимал, что эта надежда — самообман.

— Зигрун! — позвал он, зная, что не получит ответа.

Возвращение домой, поиски, комната за комнатой, и наконец страшная находка в ванной — в его памяти ожил тот вечер, когда он обнаружил мертвую Биргит, и он был не в состоянии сделать ни шага. Он стоял в прихожей и боялся пройти в кухню, в гостиную или в столовую, боялся подняться наверх. Ему хотелось только одного — стоять и не двигаться.

Из ступора его вывел телефонный звонок. Адвокат спрашивал, нашел ли он Зигрун. Нет, промямлил он, еще не нашел, он перезвонит. Только теперь он обошел все комнаты и поднялся наверх. На столе лежало письмо. Без конверта. Просто листок бумаги, исписанный с двух сторон. Каспар взял его и сел на кровать.

Дорогой дед!

Я не могу этого сделать. Я знаю, что Акселя надо остановить, что его должны судить. Но Ирмтрауд, Хельмут, Йорг и Аксель были моими друзьями, и я не могу их выдать. Я не предатель. Я больше не вернусь к ним, но не хочу, чтобы между нами встал прокурор. Я ухожу.

Ты же понимаешь: я знаю, где у тебя что лежит. Деньги ты хранишь в деревянной шкатулке на своем письменном столе, вместе с ПИН-кодом на бумажке. Ночью, когда ты спал, я взяла деньги из шкатулки

и кредитную карту из твоего портмоне. Карту ты можешь заблокировать. Но я не собираюсь тратить деньги на всякие глупости и постараюсь как можно скорее найти работу. А карта твоя все равно действует только до сентября.

Вчера я тебе не врала. Я была бы рада жить у тебя и играть на рояле, а через год поступить в консерваторию. Но мои автономы все равно не оставили бы меня в покое, в хорошем или в плохом смысле. Да и родители не дали бы жить спокойно.

Ты бы, конечно, старался мне помочь. Но как ты мне можешь помочь? Ты, наверное, думаешь, что я должна была выстоять в этой борьбе и с автономами, и с родителями. А зачем? Я поняла бабушку, прочитав ночью ее записки. Иногда нужно признаться самому себе, на что ты способен или не способен. Иногда нужно спастись бегством.

Я тебя люблю, дед! Спасибо за рояль. Я имею в виду — за музыку вообще. И за электропианино! Мне надо было не оставлять его в Ломене, тогда бы я сейчас могла взять его с собой. Я куплю себе на твою карту новое. Не очень дорогое. Главное — чтобы его можно было носить в чемодане или футляре, как скрипачи носят скрипку.

Кстати, я взяла твой чемодан, маленький черный на колесиках. Вещей у меня немного, так что мне его вполне достаточно. А еще я взяла в дорогу три книги. Ты сам увидишь какие.

Я поняла все, что ты мне говорил. Когда я вчера осталась дома одна, я слушала Шопена, Дворжака

и Рахманинова. Когда-нибудь я бы хотела играть Третий концерт Рахманинова. А еще больше — ля-мажорную сонату, так, как ее еще никто не играл. Я даже знаю как. Но пока еще не могу. Не решаюсь.

Пожелай мне счастья, дед! Обнимаю тебя.

Зигрун

Каспар позвонил адвокату. Тот попросил его приехать к нему. Но что он мог ему сказать? От него теперь было мало толку. Он мучительно переживал уход Зигрун, то, что она исчезла из его жизни и обрекла его на одиночество, что она сделала то, что и должна была сделать, что он сам желал ей поскорее повзрослеть и обрести свободу, и вот теперь сбылось и то и другое; что его печаль была закономерна и на излечение от нее потребуется время и что печалиться ему надо было лишь о себе, а не о ней.

Адвоката вся эта лирика не интересовала. Он хотел знать все, что знал Каспар, и тот рассказал ему, что услышал от Зигрун о Тимо. Адвокат обещал не упоминать Зигрун в разговоре с прокурором. Аксель с другими сообщниками из окружения Тимо уже, вероятно, попал в поле зрения полиции. Адвокат ограничится предположением, что при обыске на квартире у Аксея будет обнаружен пистолет, из которого были застрелены два человека. Источник этих сведений он раскрывать не обязан.

Так все и произошло. На следующий день вечером адвокат узнал об успешном обыске на квартире у Ак-

селя и сообщил об этом Каспару. Тот с облегчением вздохнул: Аксель был обезврежен, и Зигрун больше не несла ответственности за возможные дальнейшие убийства. Если ее имя до сих пор нигде не упоминалось, значит оно и не будет упоминаться, и Зигрун, если захочет, может со спокойной совестью пойти к прокурору. Эта мысль тоже принесла Каспару облегчение. Но это облегчение было лишним подтверждением того, что она ушла.

Прежде чем он решился выполнить просьбу Зигрун и позвонить Свене, та сама явилась к нему. Ирмтрауд сказала ей, что Зигрун теперь живет не у нее, а у Каспара, и она, не застав его дома, пришла после обеда к нему в магазин.

Он повел ее к себе домой. Еще в парке она пристала к нему с расспросами.

— Где она? Что она делает? У нее все в порядке?

Когда он ответил, что не знает, она пришла в ярость.

— Почему ты ее выгнал? Что ты с ней сделал?

Эти вопросы разозлили Каспара, ему стоило немалых усилий, чтобы не потерять самообладание. Сев с ней на скамейку, он начал рассказывать.

Свеня слушала, комкая в руках носовой платок.

— Этого мы и боялись. Что эти автономы ее до добра не доведут. Да, без насилия не обойтись, оно необходимо, чтобы Германия проснулась, говорит Бьёрн. Но не эти детские глупости, а революция. А пока нужно запастись терпением. Он ведь все это объяснял Зигрун!

— Почему Зигрун вдруг решила уйти от вас и приехала в Берлин?

— Когда Зигрун была маленькой, они с Бьёрном были не разлей вода, и когда она подросла и захотела идти своей дорогой, он не смог с этим смириться. — Она рассмеялась. — Если бы все получилось так, как мы мечтали — чтобы она вышла замуж и поселилась со своим мужем в соседней усадьбе, — я думаю, Бьёрн взбесился бы от ревности. — Она беспомощно взмахнула рукой. — Что я могла сделать?

— Зигрун говорила, что ты чуть ли не молишься на Бьёрна и в то же время презираешь его. Или просто боишься его.

— Зигрун сама нас презирала. Это твоя работа. Ты ей внушил, что мы необразованные, что нам не нужны ни книги, ни музыка. Ты скажешь: пианино — это, мол, было всего лишь пианино. Но оно пришло к ней не от нас, а от тебя, извне, и это все испортило.

Каспар хотел возразить ей. Но может, она была права? И он не стал говорить ей ни о Гансе Франке с его Шопеном в краковском замке, ни о том, что Зигрун провела с ним в общей сложности считанные недели. Пианино стало для Зигрун особым, ее собственным миром, не имевшим никакого отношения к национал-поселенческому миру ее родителей.

— Нет, я не презираю Бьёрна. И не молюсь на него. И не боюсь его. — Она рассмеялась. — Ты спросишь: а что же это тогда? Без него я... Я была бы бездомной алкоголичкой и наркоманкой. И лучше не думать о том, чем бы я зарабатывала себе на жизнь. И это была бы короткая жизнь. Меня бы уже давно не было в живых. Я обязана Бьёрну жизнью. И я уже говорила тебе: я могу на него положиться, я доверяю

ему. Ты, наверное, думаешь: своей жизнью ты обязана и Вайзе и его жене, а ты, несмотря на это, вообще не хочешь с ними иметь дело. Рождение, родители, дети — это совсем другое. Хотя кому я это говорю? Твоя жена, моя мать, знала это лучше, чем кто-либо другой.

— А не могло у Зигрун возникнуть чувство, что Бьёрн тебе ближе, чем она?

— Не знаю.

Каспару было трудно в это поверить. Может, она не хотела этого знать? Ирме Вайзе муж был ближе, чем дочь, и Свеня, конечно же, не хотела быть такой же матерью. А прозвучавшего в его вопросе упрека ей принимать не хотелось. Он не должен был спрашивать ее об этом.

— Вечером, накануне своего ухода, Зигрун говорила о тебе. Она желает тебе добра. — Каспар посмотрел на Свеню, но по ее лицу было не понять, рада ли она слышать это или нет. — Если ты что-нибудь о ней услышишь, позвонишь мне? А я тебе?

Она покачала головой.

— Не думаю, что я о ней что-нибудь услышу.

— Но если все-таки... когда-нибудь...

Он на секунду задумался, говорить ли ей о просьбе Зигрун. С тех пор как он познакомился со Свеней, она чаще была с ним осторожной и неприступной, но несколько раз между ними возникали почти доверительные отношения. Он не знал, есть ли у него шанс достучаться до нее. Он робел перед ней.

— Я был бы рад как-нибудь еще раз повидаться с тобой, — собрался он наконец с духом. — Мы оба

любим Зигрун, нам обоим ее не хватает. Кстати, ты не могла бы прислать мне ее фото? Я не фотографирую, и у меня нет ни одного ее снимка.

Свеня открыла сумку, достала портмоне и вынула из него фото Зигрун, в том возрасте, когда Каспар впервые ее увидел. Она стояла на скале в праздничном платье, похожем на дирндль; ветер трепал ее волосы и платье. Она смеялась.

— Можешь оставить себе. — Свеня встала. — Ну, я пойду.

Каспар думал, Зигрун исчезла бесследно и, если она сама не выйдет на связь, он никогда не узнает, где она.

Но в начале следующего месяца он получил выписку из счета своей кредитной карты. Зигрун улете-ла в Австралию, сняла в Сиднее небольшую сумму со счета, остановилась в хостеле, несколько раз дешево пообедала в китайском ресторане и купила электропианино. Потом поехала на автобусе в Брисбен. Может, у нее там были друзья, у которых она остановилась? Во всяком случае, она не тратилась на хостел и не снимала сумм, похожих на плату за жилье. Потом был обед или ужин в ресторане, явно на несколько персон. За последнюю неделю она ни разу не воспользовалась картой.

Так он отслеживал Зигрун месяц за месяцем до сентября. Она осталась в Брисбене, купила себе подержанную мебель в какой-то благотворительной организации, матрас, кухонный комбайн, книги, ноты и регулярно покупала продукты в супермаркете. Она явно нашла работу, потому что почти не снимала деньги со счета. Только в сентябре ее активность

опять повысилась — видимо, в связи со скорым истечением срока годности карты. Каспар давно уже получил новую кредитную карту, но активировал ее лишь в конце сентября, как можно позже.

Свеня в первые месяцы тоже была в курсе дел Зигрун: каждый раз, получив очередную выписку, он звонил ей и отчитывался. Кроме того, Свеня еще раз приезжала в Берлин, чтобы еще раз услышать в подробностях, что произошло перед отъездом Зигрун в Австралию. От нее Каспар узнал, что паспорт, без которого она не могла улететь в Австралию, Зигрун получила для поездки в Кёнигсберг.

— То, что должно было связать ее с немецкой землей, и оторвало ее от немецкой земли, — зло рассмеялась Свеня.

Она говорила о нескончаемой работе в новой усадьбе, о Бьёрне, который чувствовал себя преданным дочерью и не желал больше слышать даже ее имени и за все, что случилось, — за Биргит, за Каспара, за предательство Зигрун — винил ее, Свеню. Каспар предложил ей почитать записки Биргит, но она отказалась, заявив, что ей незачем их читать, она и так может себе представить, что в них написано.

Они опять сидели на скамейке в парке. Свеня не захотела идти ни к Каспару, ни в ресторан. Она не хотела задерживаться в Берлине. У нее был отсутствующий вид, и на ее лице Каспар не мог прочесть ни печали о том, что Зигрун была далеко, ни радости по поводу того, что та не потерялась, а благополучно устроилась в Австралии. В глазах ее застыли усталость и горечь. Каспару было жаль ее. Он хотел до-

биться дружбы с ней, которой желала им Зигрун, и обнял ее за плечи. Она не отстранилась, но и не приняла этого жеста.

— Ну, я пойду, — сказала она через некоторое время, как в прошлый раз.

При этом она улыбнулась, но ее улыбка ничего не обещала.

Каспар много читал. Он изучал историю Австралии, австралийское общество, австралийскую литературу и живопись. Он узнал, что был австралийский импрессионизм и постимпрессионизм и австралийский лауреат Нобелевской премии по литературе, что многие известные актеры и музыканты были австралийцы, что Австралия — одна из богатейших стран мира. Ему все было интересно. Какие прекрасные картины родились в Гейдельбергской импрессионистской школе в Мельбурне! Какие своеобразные, живые современные романы были написаны австралийскими авторами! Он наслаждался октябрьским солнцем, садился с очередной книгой об Австралии на балкон, и ему казалось, будто расстояние между Берлином и Брисбеном с каждым днем уменьшалось.

В Интернете он узнал, что в Брисбене есть две консерватории: Квинслендская и Школа музыки при Квинслендском университете. В следующем году Зигрун будет поступать, в этом он был убежден. И он полетит в Австралию и найдет ее в одной из двух консерваторий. А если не в Брисбене, то в каком-нибудь другом городе — было еще двенадцать консер-

ваторий, это не так уж много, он разыщет ее. И когда будет проходить концерт студентов, как это было принято в Берлине, он придет и сядет в зале. Или просто спросит, где она занимается, — он хотел бы послушать. Привратник ответит, что это не положено, что это не проходной двор, а он ответит, что он — ее дед, и привратник улыбнется и проведет его к внучке.

Оглавление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	143
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	363

Шлинк Б.

Ш 69 Внучка : роман / Бернхард Шлинк ; пер. с нем. Р. Эйвадаса. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — 416 с. — (Большой роман).

ISBN 978-5-389-21459-0

«Внучка» — последний роман Бернхарда Шлинка, автора прославленного «Чтеца», пронзительная история о столкновении поколений, о невозможности забыть свое прошлое, о парадоксах любви и времени.

Каспар и Биргит прожили вместе всю жизнь. Много лет назад она бежала к нему из Восточного Берлина в Западный, навстречу любви и свободе. Однако лишь теперь, на склоне лет, Каспару суждено было узнать о цене, которую Биргит пришлось заплатить за свое бегство. Однажды, вернувшись домой, Каспар обнаруживает жену в ванной. Она покончила с собой. В поисках ответов Каспар погружается в прошлое женщины, которую, как ему казалось, он хорошо знал. Одни вопросы порождают другие, расследование Каспара приводит его в странные, мрачные места, где прошлое вновь возрождается к жизни...

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

Литературно-художественное издание

БЕРНХАРД ШЛИНК

ВНУЧКА

Ответственный редактор Кирилл Красник
Редактор Серафима Васильева
Художественный редактор Вадим Пожидаев
Технический редактор Татьяна Раткевич
Корректоры Маргарита Ахметова, Валентина Гончар

Подписано в печать 15.08.2023. Формат издания 60 × 88 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 26.
Заказ № 4629/23.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака ИНОСТРАНКА®
115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
пер. Партийный, д. 1, к. 25

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



У-ВРН-30486-03-Р



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
АЗБУКА-АТТИКУС

В состав Издательской Группы
входят известнейшие российские издательства:
«Азбука», «Махаон», «Иностранка», «КоЛибри».

Наши книги — это русская и зарубежная классика,
современная отечественная и переводная
художественная литература, детективы, фэнтези,
фантастика, pop-fiction, художественные
и развивающие книги для детей,
иллюстрированные энциклопедии по всем отраслям
знаний, историко-биографические издания.

Узнать подробнее о наших сериях и новинках
вы можете на сайте

www.atticus-group.ru

Здесь же вы можете прочесть отрывки из новых книг,
узнать о различных мероприятиях и акциях,
а также заказать наши книги через интернет-магазины.

 ИНОСТРАНКА

 АЗБУКА

 КоЛибри

 Махаон

**ПО ВОПРОСАМ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

————— **В М О С К В Е** —————

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,
факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;
info@azbooka-m.ru

————— **В С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г Е** —————

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,
факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru
www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей
и творческого сотрудничества
размещена по адресу:
www.azbooka.ru/new_authors/

Бернхард Шлинка — один из самых значительных современных писателей Германии. Всемирную известность ему принес роман «Чтец», который был переведен на 55 языков, занял первое место в списке самых популярных книг газеты «Нью-Йорк таймс», получил престижные литературные премии как в Европе, так и в Америке. По роману был снят оscarоносный фильм с Кейт Уинслет в главной роли. «Внучка» — последний роман Шлинки, пронзительная история о столкновении поколений, о невозможности забыть свое прошлое, о парадоксах любви и времени.

